

3

САМОЗВАНЦЫ

Л. Юзефович



Л. Юзефович

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ

САМОЗВАНЦЫ

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ САМОЗВАНЦЫ



МОСКВА



СОВРЕМЕННИК

1999

**Обложка В. Митурич-Хлебниковой
Рисунки Р. Кондакова**

Юзефович Л. А.

Ю 20 Самые знаменитые самозванцы: Ист. очерки. — М.: Олимп, Современник, 1999. — 400 с. — (Самые знаменитые).

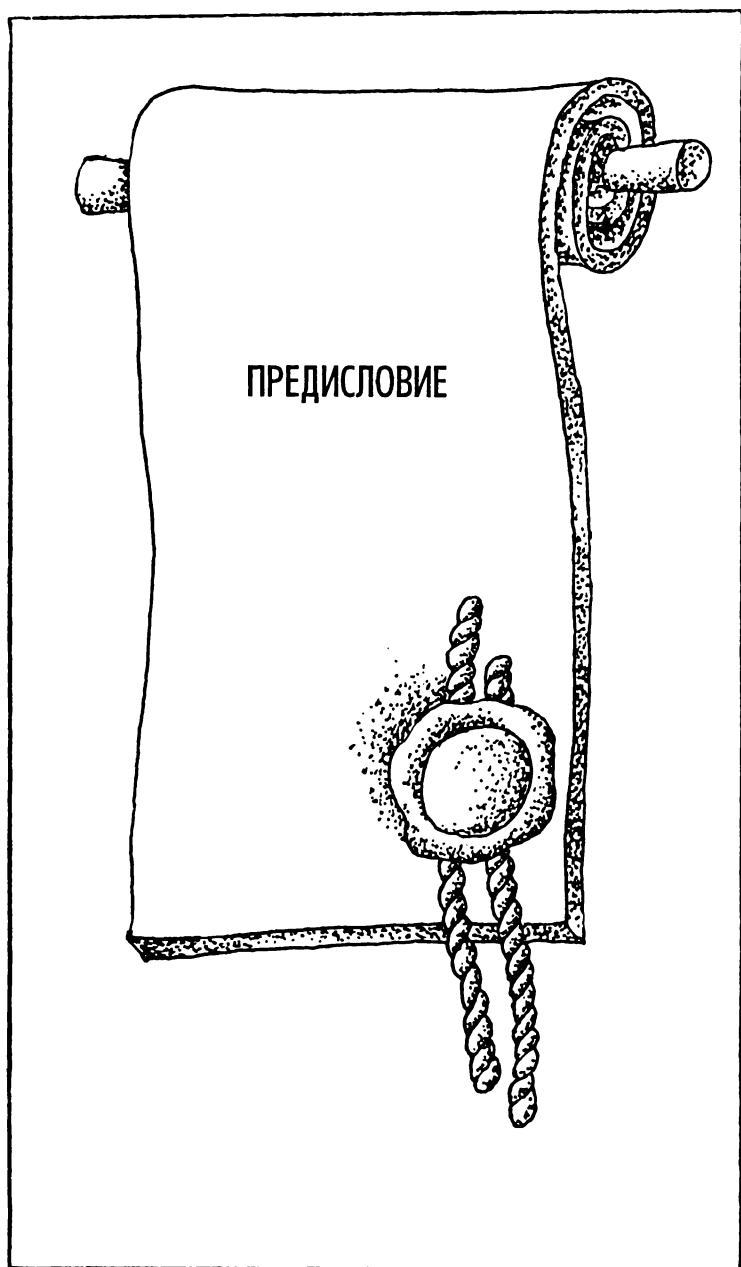
ISBN 5—7390—0492—4 («Олимп»)

ISBN 5—270—01279—0 («Современник»)

Кто впервые в истории взошел на престол под именем мертвеца? Каким образом русский император Петр III после своей смерти сумел стать повелителем Черногории? Почему сын французского короля Людовика XVI поднимался из могилы 32 раза? Кому и зачем нужны были якобы спасшиеся от гибели в Екатеринбурге в 1918 году цесаревич Алексей и великая княжна Анастасия Романовы? Для чего одна из лже-Анастасий понадобилась такому человеку, как Берия? Обо всем этом и о многом другом рассказывает настоящая книга, содержащая биографии самых знаменитых во всемирной истории самозванцев — от Древней Греции и Рима до наших дней.

ББК 63.3 (0)

© «Олимп», 1999



Они существуют с тех пор, как существует человечество.

Чаще всего они появляются в годы смут и народных бедствий, когда надежда торжествует над здравым смыслом, и выдают себя за чудом избежавших гибели царственных мертвецов или их детей, которые тоже давно умерли, а то и вовсе не рождались на свет.

Обычно каждый из них присваивает себе чужое имя, а вместе с именем — чужую жизнь, питаюсь ею, как ворон — трупами павших на поле битвы.

Но отнюдь не каждый — ворон. Попадают и орлы.

«Человек по имени Араха восстал в Вавилоне. Он обманывал народ, говоря так: я — Навуходоносор, сын Набонида», — сообщает надпись на Бехистунской скале вблизи древней столицы Персии, высеченная по приказу «царя царей» Дария I в конце VI века до н. э.

За прошедшие с тех пор два с половиной тысячелетия мир перевидал несчетное множество самозванцев — героев и жуликов, мужчин и женщин, «детей лейтенанта Шмидта» и народных вождей, корыстолюбцев и бессребреников. Одни из них были талантливыми политиками и ловкими авантюристами, другие — всего лишь игрушками в руках тех, кто их создал.

Они были, есть и, наверное, будут всегда, пока люди жаждут чуда, верят в лучшее будущее и при этом считают, что всякая новая власть хуже прежней.

Совсем недавно, 24 января 1997 года, многие газеты поместили сообщения типа следующего:

«Вчера во второй половине дня в Грозном распространились слухи, что первый президент Ичкерии Джохар Дудаев жив. На одном из митингов на площади Шейха Мансура не-

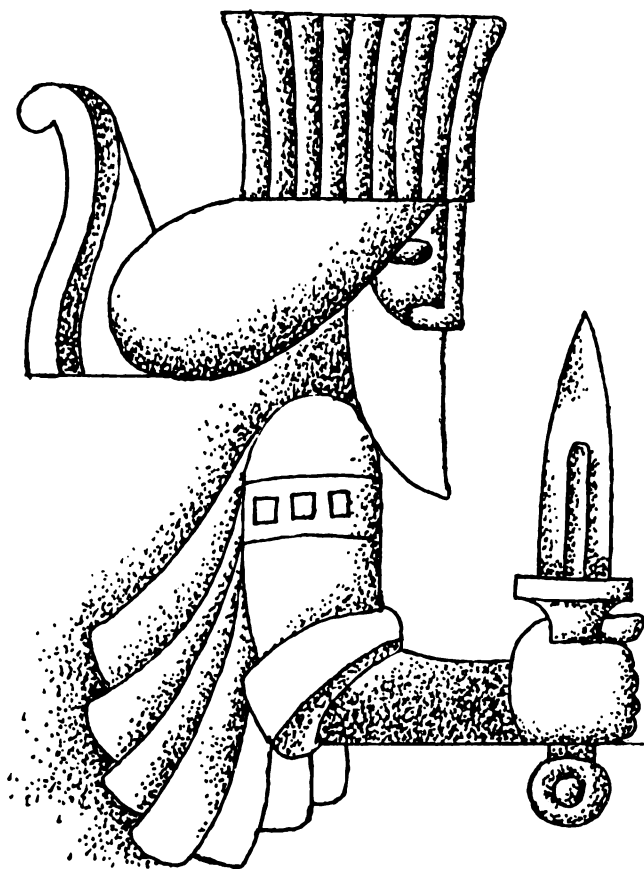
безызвестный полевой командир Салман Радуев продемонстрировал толпе стоящего за его спиной человека с окладистой бородой и в темных очках, назвав его Джохаром Дудаевым».

Не исключено, что Дудаев действительно жив.

Если же нет, он легко может воскреснуть, ибо есть тайна, покрывающая обстоятельства его смерти, есть легенда о его спасении и, наконец, есть люди, в собственных интересах готовые найти и поддержать человека, который осмелится возложить на себя его имя.

Именно в таких ситуациях и возникали самозванцы в разные времена и в разных странах.

Самым знаменитым из них посвящена эта книга.



МАГ НА ТРОНЕ АХЕМЕНИДОВ

Об этом древнейшем из всех известных нам самозванцев рассказывает греческий историк Геродот, живший в V веке до н. э. Мы последуем за ним, но легендарное имя героя заменим на подлинное, которое не знал «отец истории», а также дополним его рассказ кое-какими соображениями современных исследователей.

1

В 530 году до н. э. в сражении со скифами-массагетами погиб царь Кир из династии Ахеменидов, основатель великой Персидской державы, раскинувшейся к концу его царствования от Каспийского моря на севере до границ Египта на юге. У Кира было две дочери — Атосса и Роксана и два сына — Камбис и Бардия (по Геродоту — Смердис). Камбис был старшим, он и занял отцовский престол. Это был типичный деспот — жестокий, подозрительный, сумасбродный до безумия. Однако характер его раскрылся не сразу. В полной мере он проявил себя спустя пять лет после гибели отца, когда персы завоевали Египет.

Камбис выбросил из гробницы мумию своего врага, фараона Амасиса, велел бичевать мертвое тело, а затем сжечь его. Это потрясло египтян и возмутило самих же персов, поклонявшихся огню и в сожжении мертвеца увидевших святотатство, осквернение божества. Он смертельно ранил священного египетского быка Аписа,

поразив его мечом в бедро, и совершил множество других подобных поступков, столь же диких, сколь и бессмысленных. Так, во всяком случае, рассказывает Геродот, хотя есть основания сомневаться в достоверности этих сведений.

Второй сын Кира, Бардия, оставался на родине, и будто бы Камбису приснилось, что брат восседает на царском троне, а его голова касается небес. Чтобы истолковать этот сон, прорицатели не требовались. Опасаясь, что в его отсутствие брат захватит престол, Камбис поручил некоему Прекаспу отправиться в Персию и убить его. По другим известиям, царь расправился с братом еще до похода в Египет, но так или иначе, Бардия был убит.

В египетском походе Камбиса сопровождали его сестры — Роксана и Атосса. Одновременно они были его женами (брак с родной сестрой у персов считался не только допустимым, но и почетным). Вначале Камбис женился на младшей и любимой сестре, Роксане, чем нанес Атоссе страшное оскорбление. Позднее, тоже став женой царя, она интриговала против младшей сестры, и, видимо, в результате этих интриг Роксана была убита самим же Камбисом. Однако существовали две легенды, связывавшие ее смерть со смертью Бардии.

Согласно первой из них, однажды Камбис и Роксана развлекались, глядя схватку щенка со львенком. Когда щенок стал ослабевать, другой щенок, его брат, сорвался с цепи, пришел ему на помощь, и вдвоем они одолели львенка. Вдруг Роксана заплакала. На вопрос о причине ее слез она ответила, что вспомнила Бардию, с которым родной брат поступил совершенно иначе. Якобы за эти слова Камбис и приказал ее умертвить. Вторая легенда гласит, что Роксана, сидя вместе с царем за трапезой, ошипала пучок салата и спросила, какой салат кажется Камбису красивее — ошипанный или с листьями. Само собой, ответ был, что с листьями красивее. Тогда, намекая на убийство Бардии, Роксана сказала: «Ты поступил с домом Кира, как я — с этим салатом!» Взбешенный таким сравнением, царь будто бы стал избивать сестру, а та была беременна и умерла от преждевременных родов.

Камбис провел в Египте три года, тем временем в северных районах его царства обострилась давняя вражда между персидской и мидийской знатью. Среди мидян

важную роль играли жрецы-маги, выходцы из небольшого, но влиятельного племени магов (не каждый маг был жрецом, но каждый жрец в Мидии был магом). Сам Кир был перс по отцу и мидянин по матери, при нем старое соперничество утихло, но после его смерти вспыхнуло с новой силой. Племенная рознь усиливалась тем, что среди персов начала распространяться новая религия — зороастризм. Воспользовавшись отсутствием большинства персидских вождей, которые вместе с Камбисом находились в Египте, мидяне решили захватить власть в стране. Во главе заговора встал маг Патизиф, оставленный в Сузах в качестве управляющего царским дворцом.

У Патизифа был родной брат по имени Гаумата, внешне будто бы похожий на убитого Бардию. Впрочем, если даже между ними и было какое-то внешнее сходство, это не имело решающего значения: древние владыки Мидии редко выходили из дворца, и лишь ближайшее окружение знало их в лицо. В апреле 522 года до н. э. Гаумата был провозглашен царем под именем Бардии. Это, разумеется, был государственный переворот, но сама фигура нового царя поначалу не вызывала подозрений. Убийство настоящего Бардии хранилось в глубочайшей тайне, о его смерти знали немногие, да и те предпочитали помалкивать.

Все прошло гладко. Камбис был далеко, к тому же своими непомерными военными поборами успел заслужить всеобщую ненависть. Братья жрецы на то и рассчитывали. Чтобы закрепить успех и сделать имя лже-Бардии популярным, во все провинции необъятной Персидской империи разосланы были вестники из Суз. Всюду, сообщив сначала о воцарении второго сына Кира, они затем объявляли, что царь на три года освобождает подвластные ему народы от податей и воинской повинности.

Один из таких вестников прибыл и в Египет.

Узнав новость, Камбис решил, что Прекасп, которому поручено было убить Бардию, на самом деле оставил его в живых, и брат завладел престолом. Но Прекасп твердо стоял на своем: приказ царя исполнен, Бардия мертв, он сам предал погребению его тело. Допросили вестника; тот рассказал, что никогда не видел Бардию, а в Египет его отправил не царь, а маг Патизиф, управитель царского дома в Сузах. Этого оказалось достаточно, чтобы установить имена заговорщиков: Патизиф и его

брат Гаумата. Вместе с войском Камбис двинулся в Персию, но случайность помешала ему вернуть себе отцовский трон. В дороге, когда он однажды сажился на коня, у висевших на его поясе ножен отпал наконечник, и обнаженный меч рассек царю бедро. Через двадцать дней он умер от гангрены, не оставив после себя детей.

Перед смертью Камбис призвал нескольких знатных персов, признался в совершенном братоубийстве, рассказал о самозванце и его покровителе и заклинал не допустить, чтобы власть в стране снова перешла к мидянам. Но соратники царя ему не поверили, заподозрив, что Камбис их обманывает, что, не в силах отомстить брату при жизни, он хочет сделать это хотя бы после смерти. Характер умирающего давал все основания для подобных подозрений. Да и Прекасп, который должен был подтвердить смерть настоящего Бардии, решительно все отрицал: теперь для него было опасно признаваться в убийстве сына Кира.

Время шло, Патизиф продолжал управлять страной от имени лже-Бардии, а тот не покидал своих покоев и на людях не показывался. Согласно обычаю, к нему перешел весь гарем Камбиса, и жены умершего царя, не зная в лицо настоящего Бардию, полагали, что их новый муж и есть тот, за кого себя выдает. Роксана была мертва, и единственной, кто мог бы разоблачить обман, оставалась Атосса, дочь Кира, после смерти Камбиса также ставшая женой самозванца. Уж ей-то было понятно все, однако ее не то изолировали, не то запугали, не то она сама помалкивала, предпочитая быть не вдовой, а супругой пусть даже и подложного, но живого царя. Для властной и честолюбивой Атоссы это был способ сохранить за собой влияние на государственные дела.

Тем не менее какие-то слухи просачивались, видимо, за стены царского дворца, внутри которого явно творилось что-то странное. Царь-невидимка, окруживший себя жрецами-магами и скрывающийся от всех остальных своих подданных, начинал внушать все большее недоверие. Беспредельное могущество Патизифа, равно как и его политика, тоже не могли не настораживать персов. Очень скоро они почувствовали, что власть в стране ускользает из их рук, привыкших к мечу и поводьям, и переходит в цепкие руки жрецов и старой мидийской знати.

Если верить Геродоту, одним из первых, кто заподозрил неладное, был знатный и влиятельный перс по имени Отан. Его дочь Федима раньше была женой Камбиса, потом вместе с другими женами прежнего царя перешла к новому, и Отан, не имея возможности увидеться с дочерью, послал к ней спросить, с кем она делит ложе — с Бардией, сыном Кира, или с кем-то другим. Федима отвечала, что знать этого не может, поскольку никогда не видела второго сына Кира до того, как стала его супругой. Отан посоветовал дочери справиться у Атоссы, но получил такой ответ: «Я не могу спросить Атоссу и вообще не вижу никого из царских жен. Этот человек, кто бы он ни был, отделил нас одну от другой».

Теперь Отан окончательно утвердился в своих подозрениях. Ему не оставалось ничего иного, кроме как допустить, что Камбис перед смертью не солгал: Бардия действительно убит, престолом завладел Гаумата. Зная, что несколько лет назад Камбис приказал за какую-то провинность отрубить этому Гаумате оба уха, Отан предложил дочери следующее: дождаться своей очереди делить ложе с супругом и, когда он заснет, проверить, есть ли у него уши. Дело было довольно рискованное, ведь маг, проснувшись, мог заметить, что жена ощупывает ему голову под волосами, и сообразить, зачем она это делает, но Федиме хватило мужества последовать родительскому совету. Ушей, само собой, не оказалось, о чем она и сообщила отцу.

Получив записку от дочери, Отан пригласил к себе двух знатных персов, самых преданных своих друзей, открыл им правду, и они постановили, что каждый из троих вовлечет в заговор еще по одному верному человеку. В итоге их стало шестеро, но тут как раз в Сузы прибыл перс Дарий, сын Гистаспа, бывшего наместника собственно персидских областей, представитель боковой ветви династии Ахеменидов, к которой принадлежали Кир, Камбис и Бардия. Его трудно было заподозрить в симпатиях к мидянам вообще и к магам в частности, поэтому с общего согласия он тоже вошел в число заговорщиков.

Собравшись на совет, все семеро единодушно решили, что Патизиф и Гаумата должны быть умерщвлены.

Затем, однако, начались разногласия. Дарий настаивал на немедленных действиях, осторожный Отан считал, что семь человек, даже самых отважных, не способны перебить стражу и проникнуть во дворец, поэтому сначала необходимо навербовать побольше сторонников. Дарий возразил, что, чем больше участников заговора, тем вероятнее, что среди них отыщется предатель. «Знайте, — заявил он, — если мы упустим сегодняшний день, я сам пойду к магу с доносом на вас, чтобы никто не успел меня опередить!»

Еще один из заговорщиков, Гобрий, воззвал к гордости персов, напомнив собравшимся, что над ними властвует мидянин, маг, и к тому же безухий. Это ли не позор? «Я за то, — сказал Гобрий, — чтобы принять совет Дария и не расходиться, а прямо с нашего собрания идти против мага!»

В конце концов решено было вооружиться, спрятать кинжалы под одеждой и тотчас же отправиться к царскому дворцу. Отан подчинился решению большинства. Расчет был на то, что стража, увидев столь известных и знатных людей, какими были все семеро, не посмеет их задержать.

К этому времени слухи о подмененном царе настолько взволновали народ, что узурпаторы попытались их опровергнуть и вступили в переговоры с Прекаспом, на которого всеведущая молва указывала как на убийцу настоящего Бардии. Ему пообещали громадные деньги, и он согласился принести публичную клятву в том, что Бардию не убивал. Собрался народ, Прекасп взошел на башню, чтобы сказать требуемое перед собравшейся внизу толпой, но сделал прямо противоположное тому, чего от него ждали маги: он принародно поклялся в совершенном убийстве, а затем бросился с башни, таким образом покончив с собой.

Заговорщики, услышав об этом на полпути ко дворцу, опять начали совещаться. Отан предлагал выждать, пока утихнет волнение, вызванное словами и смертью Прекаспа; Дарий был против любых отсрочек. Мнения разделились, но тут в небе появились семь пар ястребов, на лету терзающих две пары коршунов. Такое знамение сулило благоприятный исход дела, заговорщики двинулись дальше.

Когда семеро знатных персов приблизились к дворцовым воротам, стража, ничего не заподозрив, почтиительно пропустила их во двор, но там они были задержаны царскими евнухами. Эти евнухи начали расспрашивать посетителей о цели визита, а одновременно бранить стражников, что те пропустили их без разрешения. Тогда, подав друг другу знак, заговорщики выхватили из-под одежд кинжалы. Евнухи были убиты на месте, все семеро бегом устремились на мужскую половину дворца.

Услышав шум и крики, Патизиф и Гаумата выбежали во двор, чтобы узнать, что случилось, и тут же все поняли. Они бросились назад, один из них (Геродот не сообщает, кто именно) схватил лук, второй — копье. Началась рукопашная схватка. Заговорщики уже подступили к магам вплотную и теснили их, так что выстрелить из лука не удавалось. Тот маг, что вооружился копьем, храбро защищался, ранив двоих нападающих, а второй бросил бесполезный лук и попытался спастись во внутренних покоях дворца. Дарий и Гобрий вдвоем преследовали его и наконец настигли в каком-то темном помещении. Гобрий схватился с ним, а Дарий стоял в нерешительности, боясь пустить в ход свой кинжал, чтобы нечаянно не попасть в друга. Понимая, почему он бездействует, Гобрий крикнул: «Рази нас обоих!» Дарий повиновался. Он в темноте наугад нанес удар и, по счастью, поразил мага.

Умертвив обоих братьев, заговорщики отрубили им головы, затем вышли со своими трофеями к собравшимся возле дворца персам. Возбужденная толпа рассыпалась по городу, убивая подряд всех соплеменников лже-Бардии, и, по словам Геродота, «если бы не наступила ночь, ни одного мага не осталось бы в живых».

Спустя пять дней, когда страсти улеглись, заговорщики вновь собрались вместе, чтобы обсудить вопрос о новом царе. Все семеро принадлежали к знатнейшим персидским фамилиям, так что само собой подразумевалось, что престол должен занять один из них. Отан, как всегда, проявил благоразумие, отказавшись от борьбы за власть; остальные шестеро сошлись на следующем решении: царем станет тот, чей конь заржет первым, когда завтра на рассвете они выедут за городские ворота. Это был своего рода жребий, но Дарий предпочел положить-

ся не на благосклонность богов, а на собственного конюха. С наступлением ночи тот вывел за ворота кобылицу, которую больше других любил конь Дария, привязал ее и пустил к ней этого коня. Утром, как только шестеро претендентов на трон выехали из ворот и подъехали к тому месту, где ночью была привязана кобылица, конь Дария рванулся вперед и громко заржал. По другому известию, конюх просто сунул руку в половые части кобылицы, потом спрятал ее в карман штанов, чтобы не выветрился запах, и, едва всадники показались за городскими воротами, поднес эту руку к морде хозяйского жеребца, которого, очевидно, вел под уздцы. Результат был тот же самый: конское ржание сделало Дария царем, преемником Кира и Камбиса, а заодно — мужем перешедшей к нему от лже-Бардии все той же Атоссы.

«И могущество его, — замечает Геродот, — было беспредельно».

3

Если отбросить чисто сказочные мотивы, к которым питал пристрастие Геродот (хитрая жена, ночью разоблачающая обманщика-мужа по имеющимся у него на теле тайным приметам, в данном случае — по отсутствию ушей; ловкий конюх, подобно коту в сапогах делающий своего хозяина царем, и т. д.), вся история выглядит вполне правдоподобно. За исключением, пожалуй, эпизодов с предсмертным раскаянием Камбиса и самоубийством Прекаспа. В убийствах Бардии совесть просыпается так внезапно, и вообще оба эпизода настолько нравоучительны, что возникают сильные сомнения в их достоверности.

Но будем буквалистами и внесем два уточнения.

Во-первых, не исключено, что в действительности лже-Бардия был провозглашен царем не до, а после смерти Камбиса, который по возвращении на родину умер при невыясненных обстоятельствах.

Во-вторых, точно известно, что описанные Геродотом события разворачивались не в Сузах, а в мидийской крепости Сикайавати на западе страны. Там лже-Бардия жил, там он и был убит после восьмимесячного правле-

ния, 29 сентября 522 года до н. э. Вероятно, оставаться в Сузах для него небезопасно, и те, кто стоял за спиной самозванца, на всякий случай решили убрать своего ставленника из столицы.

Современные историки часто не доверяют Геродоту, но в данном случае его рассказ подтверждается так называемой Бехистунской надписью Дария. Высеченная на скале в память и назидание потомкам, она была составлена от имени самого «царя царей».

Вот отрывок из нее:

«Говорит Дарий царь. Сын Кира, Камбис из нашего рода, был царем здесь. У этого Камбиса был брат Бардия, от одной матери, одного отца с Камбисом. Затем Камбис убил этого Бардию. Когда Камбис убил Бардию, народ не знал, что Бардия убит. Затем Камбис отправился в Египет. После этого народ стал мятежным, и много лжи стало в стране, в Персии и в Мидии, и в других странах.

Говорит Дарий царь. Затем один человек, маг по имени Гаумата, народу лгал так: «Я — Бардия, сын Кира, брат Камбиса». Затем весь народ стал мятежным и от Камбиса к нему перешел: и Персия, и Мидия, и другие страны. Он захватил царство. После этого Камбис умер своей смертью.

Говорит Дарий царь. Не было ни одного человека — ни перса, ни мидянина, ни из нашего рода, кто отнял бы царство у мага Гауматы. Народ очень боялся его, думая, что он казнит много людей, которые прежде знали Бардию. Он стал бы казнить людей, чтобы никто не узнал, что он не Бардия, сын Кира. Никто не осмеливался сказать против мага Гауматы что-либо, пока я не прибыл. Затем я помолился Ахурамазде¹. Ахурамазда мне помог. Я с немногими людьми убил мага Гаумату и тех, кто был его виднейшими сторонниками. Я отнял у него царство. Милостью Ахурамазды я стал царем...»

Надпись — подлинная, и если содержащиеся в ней сведения совпадают с рассказом Геродота, значит, казалось бы, нет никаких сомнений в том, что самозванец Гаумата — реальная историческая фигура.

¹ Ахурамазда (Ормузд) — верховное божество в зороастризме.

Однако сомнения есть.

Некоторые современные историки предполагают, что, пока Камбис находился в Египте, престол захватил вовсе не самозванец, выдававший себя за Бардию, а самый настоящий Бардия, сын Кира. Он-то и был убит заговорщиками во главе с Дарием, который сам стремился к царской власти.

То есть никакого лже-Бардии не существовало, а вся история с подмененным царем была выдумана позднее с единственной целью — оправдать совершенный Дарием государственный переворот. Ведь одно дело — убить мага-самозванца, и совсем другое — сына самого Кира. Легенда о мнимом самозванце стала официальной легендой династии Ахеменидов, она-то и дошла до легковерного Геродота.

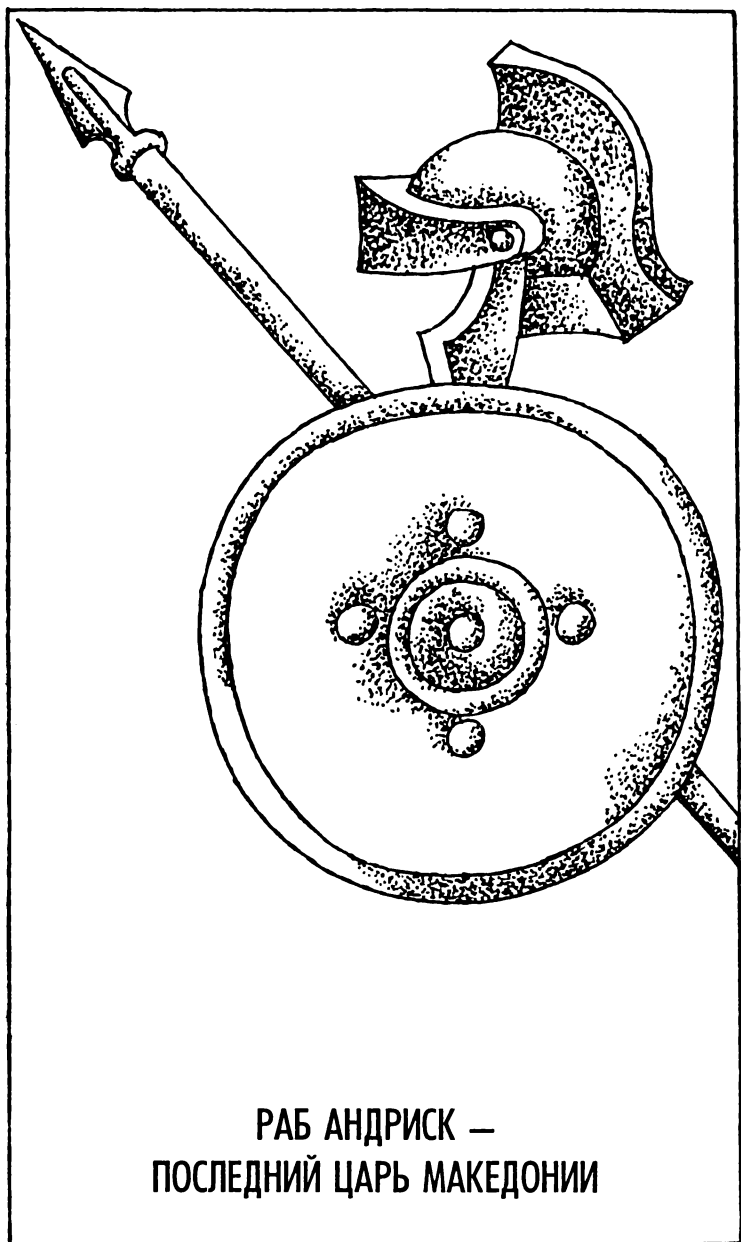
Словом, мы так и не знаем, кто был убит заговорщиками в крепости Сикайавати — лже-Бардия или Бардия настоящий. И, наверное, не узнаем уже никогда.

Но если даже сомневающиеся правы и Гаумата — фигура мифическая, то сразу же после вступления на престол Дарию пришлось иметь дело с несколькими абсолютно реальными самозванцами. Самый известный из них появился в Вавилоне.

В той же Бехистунской надписи говорится:

«Говорит Дарий царь. Пока я был в Персии и Мидии, вавилоняне восстали против меня. Человек по имени Араха восстал в Вавилоне. Он обманывал народ, говоря так: «Я — Навуходоносор, сын Набонида». Тогда вавилонский народ поднял мятеж против меня и перешел на сторону этого Арахи. Он захватил Вавилон и стал царем в Вавилоне».

Араха был армянин и выдавал себя за сына последнего вавилонского царя Набонида, свергнутого с престола Киrom и умершего еще в 539 году до н. э. С тех пор Вавилон управлялся персидскими наместниками. Лже-Навуходоносор явился спустя почти двадцать лет, но его правление продолжалось недолго: скоро полководцы Дария штурмом взяли великий город. Отважный самозванец, пытавшийся вернуть Вавилону свободу, попал в плен и был посажен на кол.



РАБ АНРИСК —
ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ МАКЕДОНИИ

Армянин Араха, выдававший себя за сына последнего вавилонского царя Набонида, был казнен в 521 году до н. э. Прошло три с половиной столетия, и раб Анд-риск точно так же провозгласил себя сыном Персея, свергнутого римлянами последнего царя Македонии.

Совпадение не случайно, ведь оба действовали в одной и той же ситуации. Когда в обеих великих империях древности правящие династии были уничтожены завоевателями, вавилоняне и македоняне попробовали вернуть себе независимость с помощью самозванцев. Это была столь же героическая, сколь и безнадежная попытка переломить ход истории.

1

Знаменитая битва при Пидне, в результате которой Македония стала римской провинцией, началась неожиданно для обоих полководцев — царя Персея и консула Эмилия Павла. Всею виной был какой-то свое-нравный мул. Утром 4 сентября 168 года до н. э. обозные из римского лагеря повели его на водопой, но мул от них ускользнул и поплыл к другому берегу реки, где находился македонский лагерь. Само собой, македоняне схватили этого мула, римляне бросились его отнимать; прямо в воде завязалась драка, солдаты с того и другого берега устремились выручать своих. Скоро оба огром-

ных войска пришли в движение и под пение флейт начали выстраиваться в боевые порядки. Македонский царь и римский консул, положившись на судьбу, решили начать битву, которая все равно была неизбежна.

Римляне располагали двумя легионами по 6 тысяч бойцов в каждом, а вместе с отрядами союзников общая численность римской пехоты достигала 37 тысяч. Конницы было 3 тысячи.

Войско Персея насчитывало чуть меньше 40 тысяч пехотинцев, из них около половины тяжеловооруженных, и 4 тысячи всадников. «Все хорошо понимали, — пишет римский историк Тит Ливий, — что после того войска, которое переправил в Азию великий Александр, ни один из македонских царей никогда не имел таких полчищ».

Хотя это явное преувеличение, Персею действительно удалось привести к Пидне такие силы, что у римлян не было уверенности в победе. Когда македонская фаланга выстроилась на равнине, образовав сплошную стену щитов и торчащих между ними длинных тяжелых копий, которыми несколько передних рядов одновременно могли поражать противника, Эмилий Павел испытал невольный трепет. Он никогда прежде не имел дела с настоящей фалангой и сам позднее признавался, что не знает строя «грозней и ужасней».

И хотя римляне имели меньше пехоты и конницы, но за ними оставалось одно важное преимущество: у них были боевые слоны. Персей знал об этом и заранее приказал изготовить несколько деревянных слонов в натуральную величину. Они стояли в македонском лагере; царь надеялся, что люди и, главное, лошади, привыкнув к виду этих чудовищ, не будут пугаться их во время битвы. Кроме того, был создан особый отряд «слоноборцев» — пеших воинов, чьи шлемы и щиты были снабжены длинными и острыми железными шипами.

Сражение начали легковооруженные римские пехотинцы — пелтасты. Они попытались атаковать фалангу в лоб, но напоролись на копья и отступили, понеся большие потери. Затем двинулись вперед слоны и быстро смяли левое крыло македонян. Лошади не боялись деревянных слонов, но испугались живых, а железные шипы на щитах и шлемах «слоноборцев» в бою оказались совершенно бесполезны.

«Вообще людские выдумки чаще бывают хороши лишь на словах, — не без иронии замечает описавший эту битву Тит Ливий. — Если же попробовать их на деле — там, где надобно их применить, а не рассуждать об их применении, то они не оправдывают ожиданий. Так в тот раз вышло со «слоноборцами» — оказалось, что это только пустое слово».

Вслед за слонами отряды союзников обрушились на фалангу слева, один легион ударил по ее правому крылу, второй — по центру. Битва рассредоточилась, теперь сражались повсюду, македонянам приходилось отбивать натиск с разных направлений, чего и добивался Эмилий Павел. Неодолимая сила фаланги — ее плотный, ошетилившийся копьями строй, единственный способ борьбы с ней — нападать с боков и с тыла, а не только с фронта. Чтобы отразить врага, македонянам приходилось постоянно поворачивать копья, что нелегко быстро сделать при их длине и тяжести. Слитный строй нарушился, римляне же не упускали случая вклиниться всюду, где возникали хоть малейшие промежутки. Наконец им удалось разорвать фалангу в центре; она заколебалась, а затем и рассыпалась, разом утратив всю свою грозную мощь.

Слоны и конница довершили разгром, началось истребление тех, кто еще сражался или был оттеснен к берегу моря и предпочел не утонуть, а умереть от оружия. Половина македонского войска осталась лежать на поле боя, свыше 10 тысяч попали в плен, но сам Персей невредимым бежал в свою столицу — Пеллу. Эта крепость считалась неприступной, однако оборонять ее было некому: беглецы рассеялись по стране, на призыв царя не откликнулся никто из его сподвижников. Все было кончено, с ним оставалась лишь почетная свита из отроков знатнейших македонских фамилий.

Осознав масштаб катастрофы, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, Персей помышлял теперь только о спасении собственной жизни и жизни своих сыновей. С ними и с несколькими спутниками он собирался отплыть на Крит, но его обманули корабельщики: взяв плату вперед, они не прибыли в условленное место на берегу. Уже приближалась погоня, Персей укрылся в храме, где ему предлагали принять яд, но он, не решившись покончить с собой, сдался на милость победителей.

За победу над ним Эмилий Павел был удостоен триумфа, и Персей в цепях вместе с сыновьями прошел по ликующему Риму перед колесницей триумфатора. Наследник славы тех, кому некогда «судьба даровала власть над земным кругом», он до дна испил чашу позора. Затем его отправили в тюрьму, где он и умер через шесть лет после поражения под Пидной, в 162 году до н. э. Рассказывали, что царь не вынес издевательств приставленных к нему сторожей и уморил себя голодом.

Македония превратилась в одну из римских провинций, отныне ей остались лишь воспоминания о былом величии. Казалось, только чудо способно возродить из праха древний престол македонских царей.

И чудо произошло.

2

Спустя десять лет после того, как Персей, отказываясь от пищи, умер в темнице, в Рим прибыли послы сирийского царя Деметрия Сотера и под стражей привезли с собой некоего молодого человека, утверждавшего, что он — Филипп, сын последнего царя Македонии.

Ему, разумеется, не поверили, поскольку настоящий Филипп, старший сын Персея, к тому времени давно был мертв. Его захватили в плен вместе с отцом, вместе с ним провели в триумфальной процессии перед колесницей Эмилия Павла, затем содержали в тюрьме города Альбы Фуцинской неподалеку от Рима. Там он и умер или был удушен стражниками. В заточении окончил жизнь и его брат, чье имя мы не знаем. Лишь младший из троих сыновей Персея, Александр, после смерти отца получил свободу, но был совершенно сломлен перенесенными унижениями. Всякие честолюбивые порывы были ему чужды. Воспитанный в почтении к завоевателям родины, он остался жить в столице империи, выучился латинскому языку и грамоте и служил писцом у должностных лиц, считаясь, как пишет Плутарх, «прекрасным знатоком своего дела». Это давало ему возможность заработать себе на пропитание, а римские чиновники, вероятно, с удовольствием держали у себя на службе писца, который был не кем иным, как

отпрыском династии македонских царей, да к тому же еще и Александром.

В общем, четвертому сыну Персея, вдобавок тоже Филиппу, взяться было неоткуда. Ведь не мог же царь двоих своих сыновей назвать одним и тем же именем!

Хотя этот юноша, доставленный в Рим сирийскими послами, упорно выдавал себя за македонского царевича, одни считали его «человеком темного происхождения», другие — беглым рабом. Впоследствии выяснилось его настоящее имя: Андриск.

О себе он рассказывал следующее.

Его отцом был Персей, матью — одна из царских наложниц. Родился он как раз в то время, когда Македония вступила в войну с Римом¹, поэтому отец не оставил ребенка ни в Пелле, ни в каком-нибудь другом из подвластных ему городов, а отправил на Крит. Причиной тому была предусмотрительность царя: Персей предвидел, что в превратностях начавшейся войны погибнуть или попасть в руки римлян может не только он сам, но и его законные сыновья, и хотел, чтобы «сохранилось хоть семя от царского корня». В глубокой тайне младенца увезли на Крит, где он воспитывался в доме одного критянина, связанного с Персеем узами гостеприимства. Мальчик жил в Адрамиттии и до двенадцати лет не знал о своем происхождении, считая воспитателя своим родным отцом. Но однажды тот заболел и, предчувствуя близкий конец, перед смертью открыл воспитаннику, кто он на самом деле такой. Этот человек, умирая, также передал ему, Филиппу, грамоту с печатью Персея, которую царь наказал вручить сыну, когда тот станет взрослым. Помимо того что грамота раскрывала тайну его происхождения, она была замечательна еще и другим: в ней указывались два места, где Персей зарыл свои сокровища. Об этих кладах никто не знал, они предназначались одному ему, царскому сыну, и должны были оставаться в земле до тех пор, пока он не вырастет. Но судьба сложилась так, что он, Филипп, узнал обо всем этом в возрасте двенадцати лет.

Продолжение истории, которую рассказывал о себе Андриск, до нас не дошло. Сохранилось лишь ее окон-

¹ То есть в 171 году до н. э., и теперь, следовательно, ему было 19—20 лет, если он правильно указал свой возраст.

чание. Неизвестно, что именно говорил он о своих дальнейших приключениях, о том, удалось ли ему разыскать «отцовские» сокровища, и если нет, то почему. Мы знаем только, что, по его словам, уже юношей он почему-то оказался во владениях пергамского царя Евмена. Здесь какая-то женщина, знавшая о его происхождении, посоветовала «сыну Персея» поскорее бежать из этих мест, пока слухи о нем не дошли до Евмена и тот не подал к нему убийц.

Очевидно, Андриск неплохо знал историю взаимоотношений своего «отца» с соседями: Евмен был злейшим врагом Персея. Еще до начала войны с Римом их вражда накалилась до такой степени, что, когда пергамский царь совершал паломничество в Дельфы, к оракулу Аполлона, Персей попытался покончить с ним при помощи наемных убийц. Засада была устроена в ущелье, над узкой тропой, которая вела к святилищу. Это уже само по себе являлось чудовищным святотатством и возмутило всю Грецию. Заговорщики сбросили с утеса два огромных камня на проходившего внизу Евмена, тяжело его ранили, но не убили. Он, естественно, сразу понял, чьих это рук дело, и в начавшейся вскоре войне Персея с римлянами принял сторону последних.

Словом, рассказу Андриска нельзя отказать в логике. Действительно, Евмен не упустил бы возможности расправиться с сыном своего врага. Поэтому, говорил самозванец, он последовал совету доброй женщины и, не дожидаясь от Евмена каких-нибудь каверз, бежал ко двору сирийского царя Деметрия Сотера. Там, надеясь на его поддержку, он впервые открыто объявил о своем происхождении.

Последнее — уже не легенда. В то время Деметрий сверг с престола своего соседа, каппадокийского царя Ариарата, а его владения присоединил к своим. Но из-за этого он поссорился с римлянами. Свергнутый Ариарат обратился к ним за помощью, и они его поддерживали, как всегда в таких конфликтах поддерживали слабейшего, чтобы сильнейший не стал еще сильнее. Андриск, по-видимому, рассчитывал, что если Деметрий решится на войну с Римом и захочет привлечь на свою сторону македонян, то «сын Персея» может ему пригодиться. Однако Деметрий, полжизни проведенный залож-

ником в Риме, хорошо представлял себе его силу. Увидев, что дело принимает скверный для него оборот, он пошел на попятную, вернул Ариарату царство, а самозванца арестовал и отправил в Рим. Этой услугой Деметрий хотел купить себе прощение, дабы вновь, как прежде, считаться «другом римского народа».

Итак, лже-Филипп, он же Андриск, оказался в Риме. Его посадили в тюрьму, началось расследование. Вероятно, следователи предполагали использовать самозванца как свидетеля против Деметрия, поэтому до поры до времени ему сохранили жизнь. Он провел в заточении около двух лет. За эти годы о нем не то забыли, не то просто ослабили надзор, не ожидая от него особых неприятностей, но каким-то образом ему удалось бежать из-под стражи. Скоро он объявился в Македонии.

Похоже, этот беглый раб, этот неведомо откуда взявшийся двадцатилетний юноша был замечательным оратором. Он обладал даром зажигать сердца слушателей и подчинять толпу своей воле. Былая слава македонского оружия и притеснения римлян — вот единственная тема его пламенных речей. Люди верили всему, что он говорил о себе, а чтобы внушить такую веру, нужно было быть человеком незаурядным. Без средств, без связей, с одним лишь присвоенным им громким именем, право на которое требовалось еще доказать, юный Андриск сумел сплотить вокруг себя всех недовольных римским владычеством.

А таких было большинство.

Мало того что римляне лишили Македонию независимости, они еще и разделили ее на четыре части. Живое тело страны было рассечено, чтобы не дать ей восстановить силы, народ — разъединен, чтобы над ним легче было властвовать. Эти четыре части завоеватели превратили в отдельные области. Всякие хозяйственные, а не только политические связи между ними были запрещены. Житель Пеллы, например, не имел права купить дом или участок земли в соседнем Амфиполе, не мог даже взять себе оттуда жену. Жениться и выходить замуж можно было лишь в пределах собственной области.

Римляне сделали все для того, чтобы подорвать экономику страны. Запрещалось валить и продавать корабельный лес, которым издавна славилась Македония, строить корабли, добывать серебро на местных рудни-

ках, вывозить на продажу соль и т. д. Наконец, вместо собственных старинных законов македоняне получили новые, написанные для них лично Эмилием Павлом. Все это мало кому нравилось, и призывы Андриска к восстанию пали на благодатную почву. Начавшись совершенно неожиданно для римлян, восстание в считанные дни охватило всю страну.

Немногочисленные римские гарнизоны были перебиты или бежали, собранное Андриском войско увеличивалось с каждым днем. К нему примкнули и те вооруженные отряды, которые македонянам разрешено было держать на севере, на границах с племенами варваров, чтобы защищаться от их набегов. Теперь оружие этой пограничной стражи было обращено внутрь страны. Почти все города добровольно открыли ворота перед «сыном Персея», лишь в некоторых пришлось применить силу. Это было похоже на чудо. В том же самом 149 году до н. э., когда он бежал из римской тюрьмы, этот недавно еще никому не известный юноша с триумфом вступил в Пеллу.

Вот как Тит Ливий описывает древнюю столицу македонских царей:

«Стоит Пелла на холме, глядящем на зимний закат¹; вокруг нее болота, непроходимые ни летом, ни зимой, — их питают разливы рек. Крепость Фак возвышается, как остров, посреди болот, в том месте, где они подходят к городу всего ближе; стоит она на громадной насыпи, способной выдержать тяжесть стен и не страдать от влаги облегающих ее болот. Издали кажется, что крепость соединена с городской стеной, хотя на самом деле их разделяет ров с водой, а соединяет мост — так, чтобы врагу было не подступиться...»

Даже если грозные укрепления Пеллы к тому времени были скрыты римлянами, все равно она оставалась для македонян священным городом. Овладев Пеллой, Андриск окончательно утвердил свою власть над Македонией и стал шестым в ее истории царем, носившим имя Филипп. Первым был отец Александра Македонского.

Момент для восстания Андриск выбрал на редкость удачно. Еще в то время когда он сидел в тюрьме, началась 3-я Пуническая война, римская армия высадилась

¹ То есть на юго-запад.

в Африке, но на первых порах не сумела добиться особых успехов. Осада Карфагена затянулась, на помощь африканскому экспедиционному корпусу римлян отправлялись все новые подкрепления, и собрать войско для борьбы с восставшей Македонией удалось не сразу. Наверняка, приступив к исполнению своего замысла, Андриск все это учитывал. Он действовал точно так же, как его «дед», Филипп V, который выступил против римлян, когда те вели войну с Ганнибалом и вынуждены были сражаться на два фронта.

Андриск решил не ждать, пока Рим соберется с силами, и сам перешел в наступление. Правда, его попытка вступить на территорию соседней Фессалии оказалась неудачной. Несколько стычек с римлянами и их греческими союзниками закончились не в пользу македонян, и им пришлось отступить.

Тем временем римское войско во главе с претором Публием Ювентием уже двигалось к границам Македонии. Андриск выступил ему навстречу. После своих недавних успехов в Фессалии римляне были уверены в победе, но потерпели сокрушительное поражение. Сам Публий Ювентий пал в бою, его войско было уничтожено.

«Сын Персея» оказался талантливым полководцем и дальновидным политиком. Он понимал, что в одиночку Македония не выстоит против римской мощи, нужно искать союзников. Разумеется, не стоило и мечтать о том, чтобы поднять против Рима всю Грецию. Объединить греков ради чего бы то ни было не удавалось еще никому. Это было задачей столь же непосильной, как попытаться заставить все ветры дуть в одном направлении. Тем не менее, проявив недюжинные дипломатические способности, Андриск сумел привлечь на свою сторону часть греческих городов, входивших в Ахейский союз. Присланные ими отряды пополнили македонское войско.

Лишь теперь в Риме осознали всю серьезность положения. Стало ясно, что мятеж, поднятый беглым рабом и самозванцем, превратился в 3-ю Македонскую войну¹. Были собраны значительные силы, командование которыми сенат поручил консулу Квинту Цецилию Метеллу.

¹ Первую римляне вели с Филиппом V, вторую — с Персеем.

Вскоре он пересек границу Македонии и занял несколько крепостей. Андриск вновь двинулся навстречу римлянам, но на этот раз удача ему изменила.

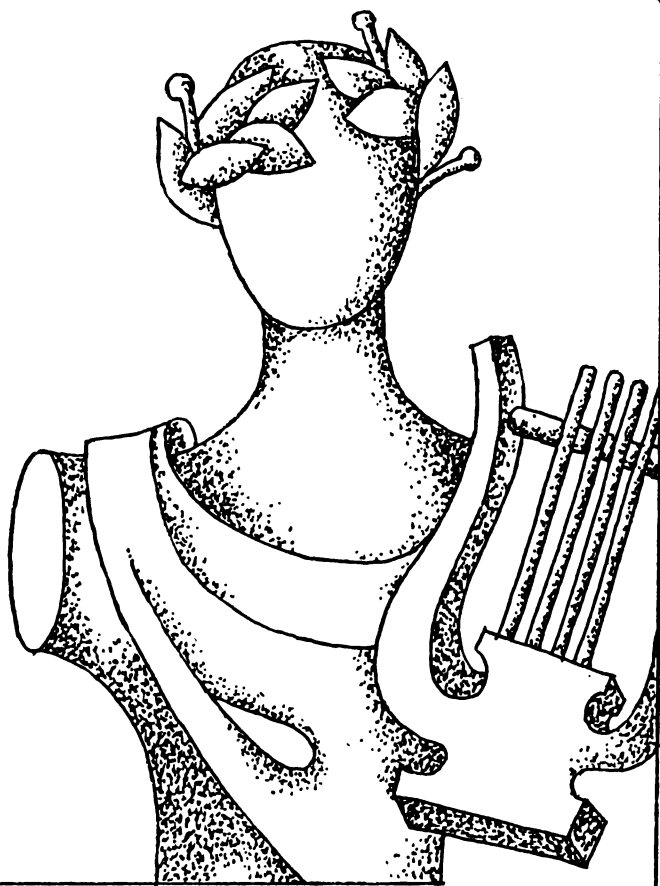
Решающее сражение произошло осенью 148 года до н. э., спустя двадцать лет после битвы при Пидне. Мы не знаем ни соотношения сил противников, ни места, где разыгралось это сражение, ни его подробностей, но, по-видимому, случилось то же самое, что и двадцать лет назад: римляне растерзали фалангу, набросившись на нее с разных сторон, как свора псов на медведя. Македонское войско было разбито, сам Андриск попал в плен.

Его опять привезли в Рим, посадили в тюрьму и продержали там около двух лет. Пленника не казнили, а сохранили ему жизнь исключительно для того, чтобы он мог украсить собой триумфальную процессию. Сенат позволил Квинту Цецилию справить триумф, и уже одно это свидетельствует, что победа над Македонией далась римлянам нелегко. Однако саму церемонию решили отложить до тех пор, пока не будет взят Карфаген.

Наконец, Сципион Африканский Младший, с крепостной башни глядя на гибнущий в огне великий город, произнес свою знаменитую фразу: «Так проходит слава земная!» После этого усмиритель Македонии справил долгожданный триумф, и Андриск точно так же, как его «отец», в цепях прошел перед колесницей Квинта Цецилия по ненавистному, непобедимому Риму. Затем он был задушен в тюрьме.

Андриск умер, но униженная, разграбленная Македония жаждала чуда и не желала верить в смерть «царя Филиппа». Начали распространяться слухи о том, что он жив, что ему вновь удалось бежать. Вера в его спасение была всеобщей и настолько страстной, что кто-то должен был ею воспользоваться.

Новый самозванец явился через три года после гибели Андриска. Македония немедленно признала его царем, римские гарнизоны оказались бессильны удержать страну, но правление лже-Филиппа II продолжалось недолго: македоняне были разгромлены армией квестора Луция Тремеллия, второй «сын Персея» пал на поле битвы, а третьего уже не нашлось.



ИМПЕРАТОР-АКТЕР
И АКТЕРЫ В РОЛИ ИМПЕРАТОРА

Многие римские императоры после смерти были причислены к лику богов. Но лишь единственный из них, причем тот, кого сенат не удостоил чести считаться бессмертным божеством, сумел несколько раз воскреснуть и продолжить свою земную жизнь в разных концах империи, под разным обликом, но под одним и тем же именем — *Нерон*.

1

Узнав, что все потеряно, что мятежные легионы Гальбы уже недалеко от Рима, тридцатидвухлетний император Нерон решил бежать в какое-нибудь укромное место, где можно собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу в трех милях от города. Нерону советовали поторопиться. Накинув плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, он вскочил на коня. С ним было всего четверо спутников.

С первых же шагов удар грома и вспышка молнии бросили его в дрожь. До него доносились крики легионеров, желавших ему гибели, а Гальбе — удачи. Конь шарахнулся от запаха лежавшего на дороге трупа, лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной солдат преторианской гвардии узнал императора и отдал ему честь.

Едва они добрались до усадьбы Фаона, гонец принес известие, что Нерон объявлен врагом римского народа: его разыскивают, чтобы предать казни «по обычаю предков». Он спросил, что это за казнь. Ему объяснили: преступника раздевают донага, голову зажимают в колодку и бичуют до тех пор, пока он не умрет. Нерон пришел в ужас. Окружающие умоляли его поскорее уйти от грозящего позора, то есть покончить с собой, но он медлил. То требовал заранее вырыть для него могилу по мерке, то просил, чтобы кто-нибудь из друзей собственным примером помог ему решиться на самоубийство, то бранил и уговаривал самого себя: «Не к лицу Нерону, не к лицу! Ну же, мужайся!» Между тем уже приближались всадники, которым поручено было захватить его живым. Стук копыт слышался все ближе. Тогда Нерон продекламировал строку из «Илиады» Гомера: «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает» — и с помощью одного из приближенных вонзил меч себе в горло.

Перед смертью он еще успел воскликнуть: «Какой великий артист погибает!»

Это не шутка, продиктованная обычным для римлян желанием сказать острое словцо на краю могилы. Это было сказано всерьез.

Нерон с юности начал обучаться искусству пения и игры на кифаре. Он подражал лучшим кифаредам своего времени, он применял все средства, какими пользуются мастера для укрепления голоса: лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, и хотя от природы голос у него был слабый и сиплый, он все же добился кое-каких успехов. Наконец он пожелал выступить на сцене. Первое выступление состоялось в Неаполе, и, естественно, подданные вознаградили императора бурными рукоплесканиями. С той поры Нерон окончательно уверовал в свой выдающийся артистический талант.

Он стал выступать часто, ездил даже с гастрольями по Греции, считая, что тамошняя публика лучше способна оценить его искусство. В льстецах недостатка не было, судьбы неизменно увенчивали его венками на всех состоя-

заниях кифаредов. Если же он не был уверен в победе, то прямо со сцены переходил в судейское кресло и сам провозглашал себя победителем. Он отличался непомерным честолюбием, требовал восторгов и радовался, когда в городах ему воздвигали статуи не как императору, а как актеру. Статуи других любимцев театральной толпы, побеждавших на прежних состязаниях, он приказывал опрокидывать и сбрасывать в отхожие места, дабы от его соперников не осталось ни следа, ни памяти.

Иногда он пел по многу часов подряд, и во время его выступления никому, ни при каких обстоятельствах не позволялось выходить из театра. Рассказывали, что некоторые зрители, не в силах больше выдерживать его пение, украдкой перебирались через стены, ибо ворота были заперты, или притворно падали в обморок, чтобы служители вынесли их на носилках.

В то же время Нерон хотел чувствовать себя настоящим актером, которого награждают за мастерство и талант, а не за то, что он — император.

«Как робел и трепетал он, выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить, — пишет римский историк Светоний. — Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку, порой осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался даже подкупать».

На сцене он выступал не только как кифаред, но и как драматический актер. Когда однажды, исполняя роль в какой-то трагедии, нечаянно выронил свой жезл, то очень боялся, что за это судьи исключат его из состязания. Успокоился он не раньше, чем партнер сумел внушить ему, что среди рукоплесканий и восторженных криков его оплошность никем не была замечена.

Астрологи как-то предсказали ему, что он будет низвергнут и лишится императорской власти. «Прокормимся ремеслишком», — ответил Нерон, имея в виду, что искусство кифареда не даст ему пропасть с голоду.

И вот теперь, готовясь вонзить в себя меч, он с не-

поддельной горечью воскликнул: «Какой великий артист погибает!»

Кровь хлынула из раны; затем, как пишет Светоний, «глаза его остановились и выкатились, на них ужасно было смотреть».

Тело Нерона сожгли целиком, как он о том просил, опасаясь, что его голова попадет в руки врагов и над ней надругаются. Урну с пеплом захоронили, но почти сразу после того, как было официально объявлено о его смерти, в народе начали поговаривать, что ему удалось бежать, что он спасся, где-то скрывается и скоро вернется в Рим на страх врагам. Мертвым его никто не видел, кроме нескольких приближенных. Обстоятельства, при которых он умер, способствовали возникновению слухов о его спасении. Многие полагали, что сенаторы, объявив о смерти ненавистного им императора, выдали желаемое за действительное. Несколько раз неизвестные ночью выставляли его статую, из рук в руки передавались указы, составленные кем-то от его имени.

Кто же были эти люди? Откуда они взялись? Чем он их так пленил? Ведь все знали о его чудовишной жестокости, о том, что он убил собственную мать и совершил множество других отвратительных преступлений. Молва обвиняла Нерона даже в поджоге Рима. Или, может быть, верность ему сохранили поклонники его актерского таланта?

Вряд ли таковые имелись вообще. Один из современников заметил, что искусством кифареда Нерон владел хуже, чем каким-либо другим, и лишь искусством царствовать он владел еще хуже, чем искусством кифареда.

Нерон мало занимался государственными делами. Но, в отличие от своих предшественников, не желал соблюдать даже видимость республиканских обычаев. Он хотел властвовать, как восточный тиран, и, подобно всякому тирану, заискивал перед чернью: проводил хлебные раздачи, устраивал пышные представления вроде спектакля с «падением Икара», которого изображал какой-то смертник с привязанными к рукам кры-

льями, — с громадной высоты его сталкивали на цирковую арену, где он разбивался насмерть, забрызгивая все вокруг своей кровью. Римская толпа об этом помнила и была благодарна императору.

Кроме того, после смерти Нерона по империи прокатилась полоса кровопролитных гражданских войн, так что его относительно спокойное правление воспринималось как «хорошее время», а он сам — как «мудрый государь». Наконец, в восточных провинциях к нему относились как к величайшему из монархов, царю вселенной, и не верили, что он способен умереть бесславной смертью самоубийцы. Словом, самозванец, который осмелился бы выдать себя за Нерона, мог рассчитывать на успех, особенно на Востоке.

И такие люди нашлись.

Будучи императором, Нерон считал себя профессиональным актером. Поэтому именно актеры и решили, что роль императора будет им вполне по плечу.

2

Еще при жизни Нерона прорицатели предсказали ему, что, низвергнутый в Риме, он сохранит власть над Востоком, а затем вернет себе прежнее положение. Такова легенда, возникшая, по-видимому, одновременно с появлением самозванцев, которые использовали ее в собственных интересах. Не случайно все они действовали не в европейских, а в азиатских провинциях империи.

Первый из них объявился на побережье Малой Азии вскоре после гибели Нерона. Был он не то рабом, не то вольноотпущенником. Его настоящее имя неизвестно. «Он хорошо пел и играл на кифаре, — пишет Тацит, — и это вселило в него уверенность, что ему удастся выдать себя за Нерона, на которого он к тому же походил лицом. Наобещав великое множество всяческих благ каким-то нищим бродягам из беглых солдат, он увлек их за собой и вместе с ними пустился в плавание».

Самозванец завладел несколькими военными кораблями; его флотилия миновала Босфор, Дарданеллы, вошла в Средиземное море, но из-за шторма вынуждена была встать на якорь в гавани острова Цитн, или Термия. Последнее название указывает на то, что здесь имелись горячие источники. Недаром сюда направляли на отдых солдат-отпускников из восточных легионов. Когда корабли лже-Нерона причалили к Цитну, тут находилось немало таких отдыхающих от походов и сражений легионеров. Часть этих «курортников» самозванец распропагандировал и привлек на свою сторону — возможно, выступая перед ними с кифарой и исполняя что-нибудь из репертуара Нерона. Те легионеры, что отказались признать в нем императора, были убиты его приверженцами. Убиты и ограблены были также богатейшие из местных жителей, а наиболее сильным и крепким из рабов роздано оружие. В течение нескольких дней лже-Нерон подчинил себе весь остров и начал рассылать своих людей на другие острова Кикладского архипелага. Его сторонники грабили корабли, готовясь к дальнейшим действиям. На Цитн стекались многие из тех, кто поверил в самозванца или из корыстных побуждений готов был действовать с ним заодно, притворяясь, будто верит ему.

«С этого момента, — рассказывает Тацит, — паника стала распространяться все шире; славное имя Нерона привлекало многих — и любителей перемен, и недовольных существующим. Успех смутьянов ширился день ото дня, пока случай не положил ему конец».

Еще до всех этих событий Гальба, ставший императором после Нерона, назначил некоего Кальпурния Аспрената наместником двух расположенных в Малой Азии провинций — Галатии и Памфилии. Тот направился к месту назначения с почетным эскортом из двух трирем¹, с которыми и прибыл на Цитн. Здесь, на острове, командиров обоих кораблей пригласили на обед к «императору», то есть лже-Нерону. Те приняли приглашение, и самозванец, изображая глубокую печаль по

¹ Т р и р е м а — военный корабль с тремя рядами весел.

поводу того, что он пал жертвой измены, стал взывать к чувству долга своих гостей, убеждая их примкнуть к начатому им делу. Триерархи (капитаны трирем) не то в самом деле поддались на уговоры, не то из хитрости обещали соответствующим образом настроить своих солдат. Но, вернувшись к начальнику, честно во всем признались. Тот, недолго думая, двинул обе триремы к тому месту, где стоял корабль самозванца, и неожиданно взял его на абордаж. В короткой схватке лже-Нерон был убит. «Голову его, — завершает свой рассказ Тацит, — поражающую дикостью взгляда, косматой гривой и свирепым выражением лица, отправили в Азию, а оттуда — в Рим».

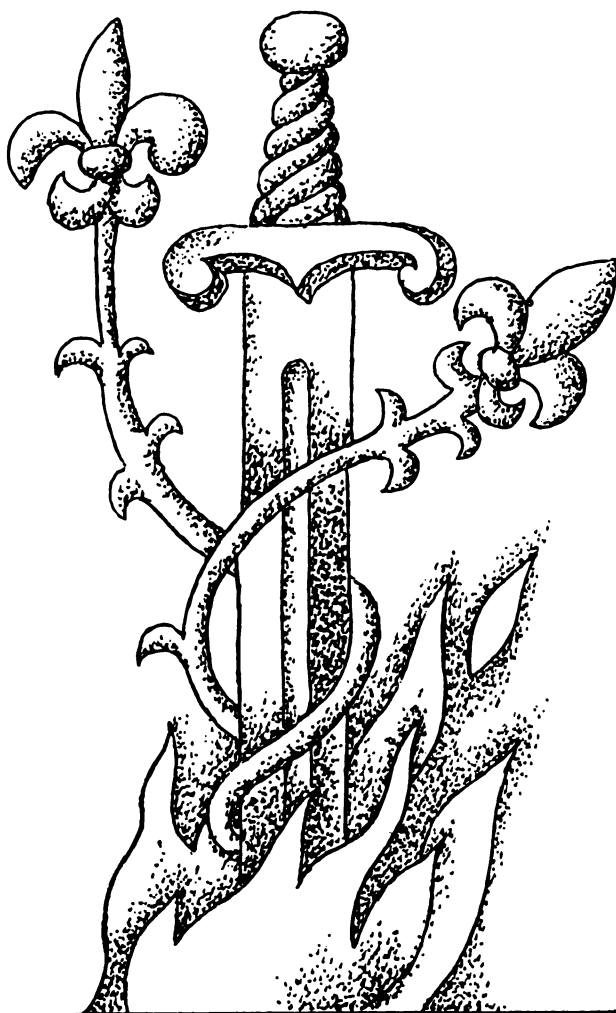
Тацит пишет: «В дальнейшем ходе моего повествования я расскажу о судьбе самозванцев, пытавшихся выдавать себя за Нерона». Вероятно, он сдержал свое обещание и рассказал о них, но, увы, эти части его «Истории» до нас не дошли. Правда, из сочинений других римских историков мы кое-что знаем еще об одном лже-Нероне. Он появился тоже на Востоке, но позднее, во времена императора Тита, правившего в 79—81 годах, спустя десять с лишним лет после смерти императора-актера. Это был римлянин по имени Теренций Максим, походивший на Нерона «видом и голосом» и, разумеется, умевший «хорошо играть на кифаре». Не владей он искусством кифареда, ему не на что было рассчитывать.

К сожалению, о втором лже-Нероне нам известно еще меньше, чем о первом, хотя он добился больших успехов. Как актер он вжился в роль, приобрел широкую популярность, захватил даже несколько городов в провинции Азия. Ему деятельно помогали парфяне, надеясь ослабить Рим внутренней смутой. Поэтому, когда фортуна повернулась к нему спиной, Теренций Максим бежал не куда-нибудь, а за Евфрат, к парфянскому царю Артабану. Тот вполне серьезно отнесся к претензиям «шута, надевшего личину Нерона», как охарактеризовал его Тацит. Едва ли царь искренне поверил беглецу, но потребовал, чтобы сенат признал его гостя императором и вернул ему власть, в случае отказа угрожая войной. Он прекрасно понимал, какие выгоды сулит ему появление

самозванца. Еще бы! Ведь «славное имя Нерона» могло облегчить парфянам завоевание восточных римских провинций.

Затем, однако, Артабан охладел к этой затее. В конце концов он сторговался с римлянами, самозванец был выдан им на расправу, подвергнут пыткам и казнен.

Тем не менее у Теренция Максима нашлись последователи: лже-Нероны продолжали появляться на востоке империи вплоть до 20-х годов II века. Все они, надо полагать, хорошо умели играть на кифаре, но кончили так же плохо, как первые двое.



ЖАННА Д'АРК ВОССТАЕТ ИЗ ПЕПЛА

Имя Жанны д'Арк, Орлеанской Девы, еще при жизни было окружено легендами — «скрыто за цветущим кустом легенд», как писал Анатоль Франс. Рассказывали, что ангелы хранят ее и отводят направленные на Деву мечи и стрелы; что за ее знаменем всюду следует рой чудесных белых бабочек, скрывающих Жанну в сражениях и делающих ее невидимой для врагов; уверяли, что однажды, когда крестьяне требовали у нее дать им оружие, она привела их на кладбище, и все могильные кресты превратились в пары скрещенных мечей. Поэтому, когда 30 мая 1431 года взятую в плен и объявленную еретичкой Жанну сожгли на базарной площади в Руане, почти сразу же начали распространяться слухи, что она спаслась, что вместо нее англичане сожгли какую-то другую женщину.

Автор «Бретонской хроники» записал: «В конце концов решено было сжечь Жанну д'Арк или ту женщину, которая была на нее похожа».

«В канун праздника Причащения, — пишет другой аноним, — Деву сожгли в Руане или только приговорили к сожжению».

А по словам хрониста из Лотарингии, все обстояло еще более таинственным образом: «Орлеанская Дева, приведя королевскую армию к стенам Руана, внезапно исчезла, и никто не знает, что с ней случилось дальше».

Разве можно было допустить, что Бог и Пречистая Дева отступились от Девы земной и позволили ей уме-

реть на костре, как колдунье? Люди просто не в силах были этому поверить.

Все ждали возвращения Жанны, и она вернулась спустя пять лет после того, как ее тело обратилось в пепел, который затем собрали и бросили в Сену, чтобы никто не вздумал воспользоваться им для какого-нибудь чародейства.

1

В мае 1436 года в Лотарингии, родной провинции Жанны д'Арк, объявилась неизвестная девица, утверждавшая, что она и есть Орлеанская Дева, якобы сожженная англичанами в Руане. Объясняя, почему сожжение не состоялось, девица рассказывала туманную и довольно невразумительную историю о том, как она была чудесно спасена ангелом, похитившим ее из пламени костра. Куда она девалась потом и где пропадала целых пять лет, девица то ли не могла сообщить ничего определенного, то ли на радостях никто этим не поинтересовался, то ли ее рассказ просто до нас не дошел как не слишком содержательный.

Она заявила, что прибыла в Лотарингию с целью разыскать своих братьев — Пьера и Жана, которых еще при жизни сестры король Карл VII возвел в дворянское достоинство и сделал кавалерами д'Арк дю Ли. Братьев уведомили, и скоро они примчались в город Мец в той же Лотарингии, куда перед тем доставили их восставшую из пепла «сестру». Девица прибыла на свидание в женском платье, в сопровождении нескольких дворян, уже успевших поверить в нее, и, если верить канонику церкви Сен Тибо из Меца, встреча была невероятно трогательная. «Едва, — пишет он, — братья дю Ли увидели перед собой девицу, как тотчас признали в ней свою сестру».

На следующий день они повезли ее в расположенный неподалеку от Меца город Вокулер, где были встречены с большой радостью. Даже, можно сказать, с восторгом. Рыцарь Николь Ло публично подтвердил, что эта девица — подлинная Жанна д'Арк, которую он раньше неоднократно видел и теперь узнал по маленькой родинке за левым ухом. Николь Ло подарил ей бое-

вого коня и пару ботфортов; другой рыцарь, по имени Николь Гранье, преподнес девице меч; третий, Обер Буллэ, вручил ей шлем и пожелал, чтобы для нее вновь наступили дни счастья и побед. Рыцарям доставило огромное удовольствие видеть, как она обрадовалась, получив коня, с какой ловкостью и сноровкой вскачила в седло, демонстрируя всем, что это для нее дело привычное. Затем она во всеуслышание объявила, что продолжит начатое дело и навсегда изгонит из Франции проклятых англичан, но сейчас, прежде чем отправиться на новые подвиги, ей необходим месячный отдых. Мол, она бы и рада была немедленно отправиться на войну, но, увы, небесная благодать осенит ее только после дня Иоанна Крестителя, то есть 24 июня.

Из Вокюлера девица отправилась в соседний Марвиль. Там ее посетили несколько рыцарей из Меца, также признавших в ней истинную Орлеанскую Деву. Они тоже осыпали ее подарками, а один из них, некий Жоффри д'Экс, привел ей в дар второго коня.

Весть о ее чудесном спасении скоро облетела всю Францию. Насторожились враги Девы, обвинявшие ее в ереси и колдовстве, забеспокоились ее тайные недоброжелатели, хотевшие приписать себе честь одержанных ею побед, зато бывшие соратники и приверженцы Жанны воспряли духом. Все ждали, что она, как пять лет назад, развернет свое победоносное знамя, на котором были изображены Иисус Христос и ангел с королевской лилией в руке, и поведет французское войско к новым триумфам. Прошел месяц, назначенный ей себе для отдыха, миновал день Иоанна Крестителя, но, видно, с небесной благодатью что-то не заладилось. Девица не торопилась принять участие в сражениях с англичанами и их союзниками бургундцами. Вместо того чтобы в подаренном ей рыцарском снаряжении отправиться на войну, она по приглашению Елизаветы Люксембургской уехала в Арлон, где могущественная герцогиня, выслушав ее историю, обласкала гостью и заявила, что отныне они станут подругами.

Наслаждаясь праздниками и развлекаясь в блестящем Арлоне, девица свела знакомство с одним из гостей герцогини, двадцатипятилетним графом Ульрихом Ван-ненбергским. Тот мгновенно в нее влюбился, подарил

ей не что-нибудь, а опять же такую необходимую для девы-воительницы вещь, как рыцарские доспехи, и не расставался с предметом своей страсти ни днем, ни, как уверяли, ночью. Наконец он увез возлюбленную к себе в Кельн. Здесь, в Германии, девица продолжала с ним сожительствовать, принимала участие в пирах, охотно и с удовольствием танцевала на балах, но одевалась по-прежнему в мужское платье, утверждая, что она — Орлеанская Дева и находится под небесным покровительством. Самое странное, что это, похоже, ни у кого не вызывало сомнений. Молодой граф Ванненбергский слепо верил, что на его любовнице воистину почит благодать, что она обладает даром ясновидения, и в затруднительных случаях обращался к ней за советом и помощью. Однажды он даже доверил ей разрешить затянувшийся спор между двумя претендентами на кафедру кельнского архиепископа.

Это переполнило чашу терпения местного духовенства. Главный инквизитор Кельна, профессор теологии Генрих Кальтейзен, отправивший на костер изрядное число ведьм, начал наводить справки о сожительнице графа Ванненбергского. Выяснилось, что эта молодая особа ведет себя далеко не так, как подобало бы целомудренной деве, носит мужской костюм, что уже само по себе являлось преступлением, к тому же занимается явным колдовством: будто бы как-то раз при гостях она разорвала скатерть, но скатерть оказалась целой, потом бросила об стену стеклянный бокал, но тот не разбился. Разумеется, такие штуки невозможно совершить без содействия дьявола! Всего перечисленного было вполне достаточно, чтобы удостовериться в сношениях этой девицы с нечистой силой. Графу Ванненбергскому объяснили, кто она есть на самом деле, а связываться с инквизицией не посмел даже он. Конечно, в Руане ангел спас его любовницу из пламени костра, но вторично испытывать судьбу она не захотела и предпочла побыстрее покинуть Кельн с помощью своего покровителя: тот вначале укрыл ее в надежном месте, а позднее тайно переправил обратно в Арлон.

Там, под крылом верной подруги, герцогини Люксембургской, она почувствовала себя в безопасности и в конце того же 1436 года совершила то, чего ей как Ор-

леанской Деве уж никак не следовало делать, — вышла замуж. Надо отдать ей должное, партия была сделана блестящая. Ее законным супругом стал потомок древнего и весьма известного дворянского рода, граф Робер Армуаз де Тишемон, владелец замка Жолни в Мен-и-Мозеле, где после пышной свадьбы и обосновались счастливые новобрачные. В главном зале этого замка до сих пор можно видеть на стене два соединенных воедино герба — графов Армуаз и Жанны д'Арк, поскольку владелец Жолни был убежден, что взял в жены Орлеанскую Деву, и чрезвычайно гордился выпавшей ему великой честью.

Его собственный герб представлял собой серебряный щит, отделанный золотом и ляпис-лазурью, с двумя открытыми львиными пастьями; герб Жанны, дарованный ей Карлом VII, имел серебряный меч на золотом поле, увенчанный короной в обрамлении двух золотых лилий. Союз этих двух гербов оказался прочным и скоро ознаменовался появлением на свет сына, за ним — второго. Их мать была бы совершенно счастлива, если бы не одно обстоятельство: Карл VII, ее любимый король, который был ей обязан всем, в том числе и коронацией в Реймсе, проявил черную неблагодарность и не только не пригласил свою благодетельницу ко двору, как она неоднократно о том просила, но даже не соизволил ответить на ее письма. Зато Орлеан, некогда спасенный ею от англичан, помнил все, что она для него сделала. Ежегодно, в день мученической кончины своей освободительницы, орлеанцы служили восемь месс за упокой ее души, устраивали траурную процессию и торжественно проносили по городу четыре свечи, украшенные гербом Девы, и принадлежавший ей меч. Неизвестно, отменили они эти церемонии, узнав, что Жанна жива, или оставили все как было, но ее несколько запоздалое намерение посетить город своей славы горожане встретили с энтузиазмом.

Графиня Армуаз, хотя уже и была к тому времени матерью двоих сыновей, по-прежнему величала себя Орлеанской Девой. Эта почтенная матрона порой не отказывала себе в удовольствии потряхнуть стариной, надевала мужское платье, а то и рыцарские доспехи и верхом объезжала окрестности замка Жолни, наведывалась в

Арлон и Мец. Теперь, три года спустя после встречи с братьями, она вместе с ними прибыла в Орлеан, с нетерпением ее ожидавший, и верхом, в рыцарском облачении, въехала в город, встреченная ликующей толпой. Горожане, само собой, тотчас же узнали Жанну. Да, за десять лет она изменилась, но как же было ей не измениться после стольких испытаний! Сомнений быть не могло, ведь родная мать Орлеанской Девы, Изабелла д'Арк, жившая тогда в Орлеане, со слезами счастья на глазах обняла свою дочь, которую все так долго считали погибшей на костре.

Может быть, ее приветствовали только простые горожане? Много ли нужно, чтобы возбудить легковерную чернь, всегда жаждущую чуда! Но нет, городские власти тоже не остались в стороне, в честь дорогой гостьи был устроен пышный прием и угощение, причем не одно. Празднества продолжались в течение двух недель. В застолье наверняка вспоминали события десятилетней давности, когда она, Жанна, ныне графиня Армуаз, точно так же среди всеобщего ликования через Бургундские ворота въехала в осажденный англичанами Орлеан и предсказала, что осада будет снята на девятый день после ее прибытия, как то и случилось. Теперь, в 1439 году, в память тех славных дней орлеанцы преподнесли Деве солидную сумму в 200 ливров парижской чеканки — «за все хорошее, что она сделала для них», как значился этот расход в городских финансовых документах.

В конце второй недели пребывания в гостеприимном Орлеане графиню Армуаз пригласили принять участие в очередном народном гулянии, где ей собирались подарить восемь бочонков лучшего вина, но она пренебрегла этим подношением и накануне праздника совершенно неожиданно покинула город. Вероятно, по чистой случайности ее внезапный отъезд совпал с тем, что в этот же день в Орлеан прибыл королевский портной Жан Люилье, по поручению Карла VII когда-то шивший платье для Жанны д'Арк и, надо думать, как все профессиональные портные, хорошо помнивший особенности фигуры своей необычной клиентки.

Из Орлеана графиня Армуаз направилась в Тур, где ей тоже устроили помпезное чествование, оттуда — в Пуату. Это было своего рода турне по местам ее боевой

славы. Муж и дети, по-видимому, оставались дома, сейчас они ей были ни к чему и могли только испортить дело. Для чего было лишний раз напоминать, что Жанна уже не та, что прежде? Она старательно берегла своих поклонников от ненужных разочарований.

В Пуату жил тогда один из самых верных сподвижников Жанны д'Арк — рыцарь Жиль де Рэ. Восемь лет назад он вместе с другим ее соратником, не менее знаменитым Ла Гиrom, храбро пытался пробиться к Руану, чтобы спасти Орлеанскую Деву из плена, но потерпел неудачу. Правда, за эти годы блестящий полководец неузнаваемо преобразился. Битвы и походы его уже не интересовали, он всей душой отдался новому увлечению — занимался черной магией, вызывал демонов и устраивал настоящие сатанинские шабаши, во время которых будто бы даже убивали и ели младенцев. Перед кровавыми оргиями, проходившими в его замках Тиффож и Машкуль, трепетала вся округа, инквизиция уже обратила свой взор на их грозного хозяина. О Жиле де Рэ ходило множество самых невероятных слухов, но, какова бы ни была правда, вскоре ему предстояло умереть на виселице, чтобы после смерти превратиться в ужасного героя французских сказок и легенд по имени Синяя Борода.

Неизвестно, при каких обстоятельствах состоялась его встреча с восставшей из пепла Орлеанской Девой, но, очевидно, он тоже признал ее, потому что немедленно передал ей командование своим рыцарским отрядом. Сам Жиль де Рэ был слишком занят общением с демонами и служением сатане, ни до чего другого у него просто руки не доходили. Впрочем, и графине Армуаз недосуг было заниматься военными хлопотами. За ней числилось уже столько подвигов, что теперь она имела полное право почивать на лаврах, собирая дань признательности с благодарных соотечественников. Поэтому она передала командование некоему Жаку де Сиканвилю, а сама отбыла в Париж, где у нее тоже имелось немало приверженцев, готовых осчастливить ее разнообразными, в том числе и вполне материальными, проявлениями своей к ней любви. Почему было не получить еще толику обожания, а заодно и некоторое количество «ливров парижской чеканки»?

Однако решение отправиться в Париж было, пожалуй, чересчур смелым. Дело в том, что там сильна была бургундская партия, выступавшая против Карла VII и заключившая союз с англичанами. Девять лет назад богословы Парижского университета даже одобрили приговор инквизиционного трибунала в Руане, согласно которому Жанну отправили на костер как еретичку и колдунью. В общем, когда графиня Армуаз, предвкушая ставшие для нее уже привычными сцены народного поклонения, подъехала к столице, вместо депутации от городских властей увидела перед собой отряд стражников, которые под конвоем доставили ее в вероломный Париж.

Графиню посадили под замок и предложили добровольным признанием и покаянием облегчить свою участь, дабы не было нужды прибегать к пыткам. Понимая, что дело худо, она вняла этим увещаниям и рассказала всю правду о себе сначала в тюрьме, следовательно, а затем во всеуслышание повторила свой рассказ на заседании королевского суда в августе 1440 года.

Как выяснилось, звали ее Клод, или Клодиной, родилась она в 1411 году, на год раньше настоящей Жанны д'Арк, но сведения о том, откуда она была родом и кто были ее родители, до нас не дошли. Ясно только, что это была девица не из трусливых, предприимчивая, по-своему даровитая, и отнюдь не с ангельским характером. В юности она в пылу ссоры случайно убила собственную мать, после чего решила отправиться в Рим, к папе Евгению IV, чтобы тот отпустил ей этот великий грех. В то время дальние путешествия и вообще-то были опасны, для девушки — тем более, поэтому Клодина переоделась в мужское платье. Она благополучно добралась до Рима, сумела добиться аудиенции у папы и получить от него отпущение совершенного ею греха матереубийцы, но за время странствий настолько свыклась с мужской одеждой, что расставаться с ней не захотела. Не то в Италии, не то по возвращении во Францию она поступила на службу к какому-то рыцарю, научилась ездить верхом, владеть мечом и даже принимала участие в сражениях, причем лично убила «двоих неприятелей».

В конце концов ей пришлось на ум, что она ничем не

хуже Жанны д'Арк, о которой много слышала и на которую, как ей говорили, была похожа внешне. О том, есть ли между ними хоть малейшее внутреннее сходство, храбрая Клодина думала меньше всего. Она, по-видимому, искренне полагала, что умение держаться в седле и носить доспехи и есть то самое главное, благодаря чему пастушка из лотарингской деревни Домреми стала Орлеанской Девой.

Словом, Клодина отправилась в Мец, разыскала братьев Жанны, а уж дальше у нее все пошло как по маслу.

Но не странно ли это?

Как так могло случиться, что из множества людей, близко знавших настоящую Жанну, никто не вывел плутровку на чистую воду? Неужели все они не сумели распознать самозванку? Ведь абсолютно похожих людей не бывает, при любом внешнем сходстве мать все равно узнает родную дочь, братья — сестру. Каким образом Клодине удалось одурачить сначала их, а потом чуть ли не всю Францию?

Может быть, мы имеем дело с повальным безумием? С какой-то неразрешимой психологической загадкой?

Или, может быть, как предполагали некоторые историки, графиня Армуаз была все-таки истинной Жанной, сумевшей избежать сожжения? Что, если ее под пытками вынудили назваться Клодиной и сочинили для нее подходящую биографию?

Попробуем ответить на эти вопросы.

2

Начнем с братьев.

Да, кавалеры дю Ли при первой же встрече признали самозванку своей сестрой. Но вот ошиблись ли они? Вряд ли. Разумеется, обоим с одного взгляда стало ясно, что перед ними кто угодно, только не Жанна, однако не в их интересах было громогласно заявлять об этом. Живая сестра могла принести им куда больше пользы, чем мертвая, о которой, увы, начали уже потихоньку забывать. Клодина оказалась достаточно сообразительна, чтобы заранее это понять и не бояться разоблачения. Иначе она попросту не решилась бы подвергнуть себя

такому испытанию. Но все прошло благополучно, на глазах пока еще немногочисленных зрителей была разыграна первая сцена спектакля, обещавшего впоследствии делать хорошие сборы. Все трое показали себя недурными актерами.

Старший из братьев, Жан, незадолго перед тем избран был цеховым старшиной в Вокулере и хотел поднять свой престиж, напомнив, чей он, собственно говоря, брат. Недаром сразу после встречи Жан повез «сестру» не куда-нибудь, а в Вокулер, где и было публично объявлено о ее спасении.

Что касается младшего, Пьера, он лишь недавно освобожден из бургундского плена, в качестве выкупа отдав приданое своей жены, и теперь сильно нуждался в деньгах. Расчет был на то, что при живой «сестре» ему проще будет выйти из финансовых затруднений.

Возможно, Клодина и кавалеры дю Ли заключили между собой взаимовыгодное соглашение. Во всяком случае, братья с удовольствием взяли на себя роль курьеров, доставляющих письма «сестры» по тем адресам, где можно было надеяться на вознаграждение за радостную весть.

В этом деле инициативу перехватил Жан, и его ожидания отчасти оправдались. Когда он явился в Орлеан с сообщением, что Жанна жива, город ее славы не поспешил на угощение по случаю такой приятной новости. В честь Жана дю Ли и сопровождавших его четырех рыцарей был устроен пир, на котором, как зафиксировано в городских книгах, гости съели дюжину цыплят, дюжину голубей, несколько кроликов и выпили десять пинт вина. Кроме того, брату Орлеанской Девы пожаловали 12 ливров золотом все той же «парижской чеканки».

Затем Жан поспешил в Лион, куда на время переехал двор Карла VII, и там оповестил короля о спасении сестры. Впрочем, эта новость не произвела большого впечатления ни на придворных, ни на самого монарха, явно не желавшего лишний раз вспоминать о том, кому он обязан короной. Известие, что Жанна жива, Карл VII воспринял вполне равнодушно, хотя и приказал выдать кавалеру дю Ли 100 ливров. Это была приличная сумма, Жан мог бы быть доволен, если бы получил ее. Однако ему так ничего и не досталось. Неожиданно

данная для скуповатого Карла VII щедрость объяснялась очень просто: казна была совершенно пуста, и король, ничем не рискуя, мог награждать своих верных слуг лубыми суммами, поскольку денег все равно не было.

Правда, чуть позже Жан сопровождал свою «сестру» в Арлон, ко двору Елизаветы Люксембургской, которая, вероятно, не осталась в долгу перед ним, ибо при его содействии обзавелась такой замечательной подругой.

Надо полагать, братья провели предварительные переговоры и с матерью, Изабеллой д'Арк, внушив бедной женщине, что семейные интересы требуют от нее признать самозванку своей дочерью. Должно быть, ход их рассуждений был приблизительно таков: мол, Жанна умерла, ее уже не воскресишь, а они, Жан и Пьер, слава Богу, живы, и матери следует прежде всего подумать о своих живых детях.

Тут уместно будет вспомнить, что через шестнадцать лет после Клодины, в 1452 году, объявилась еще одна самозванка, тоже выдававшая себя за Жанну д'Арк. Двоюродные братья Жанны незамедлительно признали в ней свою кузину. Оба оказались весьма сговорчивы, потому что эта особа за свой счет выставила им хорошее угощение — «их кормили и поили всласть совершенно даром», как потом показал на суде один из свидетелей, местный священник.

В той игре, которую затеяли родные братья Жанны, ставки были гораздо выше, чем у двоюродных, но суть дела от этого не менялась.

Что же до простых орлеанцев, они видели свою героиню в течение недолгого, в общем-то, времени при осаде города в 1429 году. За десять лет, прошедших до того, как она вновь их навестила, ее облик успел изгладиться из памяти большинства горожан. Да и тогда ореол вокруг Девы был столь ослепителен, что мешал разглядеть и запомнить ее реальные черты. Люди хотели верить, что она спаслась, и легко в это поверили. Как же было не верить, если Жанну признали ближайшие родственники? Начался массовый психоз, немногие сомневающиеся уже не осмеливались вслух высказывать свои подозрения, чтобы не навлечь на себя гнев толпы.

Несколько сложнее обстояло дело с признавшими самозванку рыцарями, бывшими соратниками Жанны

вроде Жия де Рэ. Многие, наверное, искренне заблуждались, видя, как лихо она управляется с конем, как естественно чувствует себя в мужской одежде и даже в боевом снаряжении. Что ни говори, а для женщины в те времена это было чем-то из ряда вон выходящим. Но иные, очевидно, сознательно поддерживали этот обман, считая его полезным как для Франции, так и для себя лично. По разным причинам они хотели, чтобы вялотекущая война с англичанами велась бы более энергично, и надеялись, что с появлением Жанны, пусть и ненастоящей, это произойдет скорее, нежели без нее.

К тому же Клодина была девица неглупая и со всеми вела себя так, как им того хотелось. Перед рыцарями в Марвиле она выступала в роли поборницы войны и пламенной ненавистницы англичан, с Елизаветой Люксембургской держалась как подруга, на равных, что мало кто позволял себе в отношениях с могущественной герцогиней. Юного графа Ванненбергского она сумела пленить своей раскованностью и женскими прелестями, которые казались тем соблазнительнее, что скрыты были не под женским нарядом, а под рыцарскими доспехами. Можно предположить, что и граф Армуаз попался на один из ее крючков, женившись на ней не только из тщеславного желания стать супругом Орлеанской Девы.

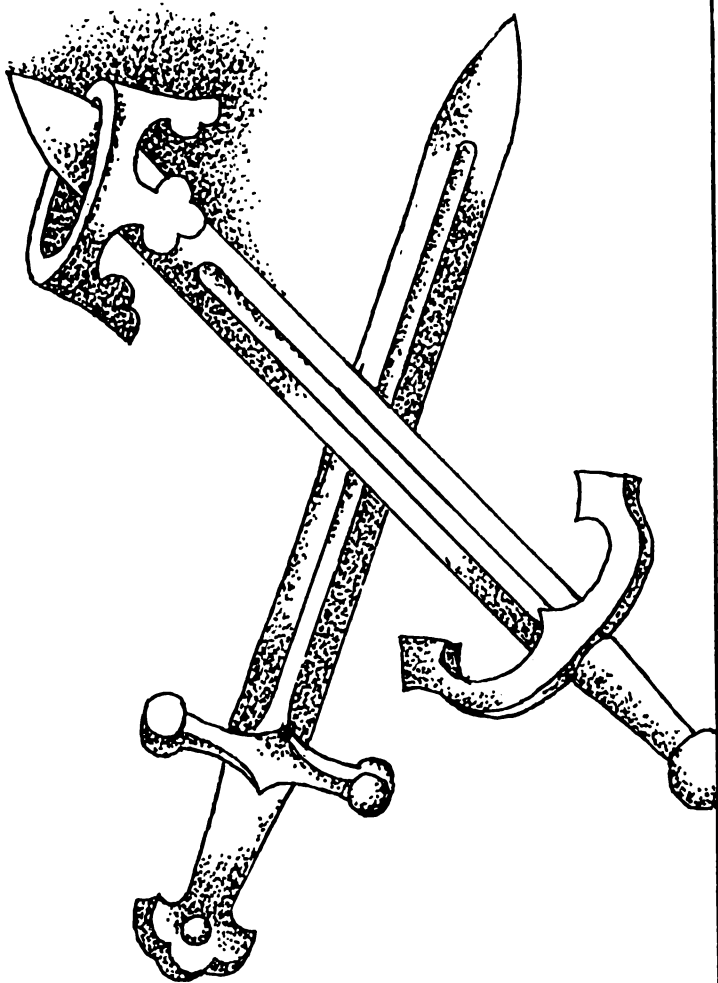
В общем, все было относительно просто, и чем проще, тем печальнее, что у трагической и прекрасной судьбы Жанны д'Арк оказался такой эпилог.

Но что же произошло дальше с нашей Клодиной?

Да ничего особенного. Она стала чуть ли не единственной из всех знаменитых самозванцев и самозванок, чья эпопея завершилась довольно благополучно.

Из парижской тюрьмы ее вскоре выпустили, она вернулась к мужу, несмотря на все, по-прежнему называя себя Жанной д'Арк. Позднее, овдовев, Клодина вторично вышла замуж за некоего Жана Дулье и, как видно, принялась за старое, поскольку в 1457 году ей пришлось опять три месяца отсидеть в тюрьме в Анжу.

Это последнее, что мы знаем о ее жизни.



ВОСКРЕСШИЙ ПРИНЦ РИЧАРД

В 1831 году, в Париже, Генрих Гейне увидел знаменитую впоследствии картину французского художника Поля Делароша «Дети Эдуарда IV» и так описал впечатления от нее:

«Картина представляет двух принцев, убитых в Тауэре по приказанию Ричарда III. Юный король со своим младшим братом сидят на старинной кровати, а их маленькая собачка бросается к дверям, лаем изобличая приближение убийц. Молодой король, полуребенок-полуюноша, — чрезвычайно трогательная фигура. Пленный король, как справедливо заметил Стерн, уже сам по себе есть печальное зрелище, а тут он еще и почти ребенок, беспомощный, отданный во власть коварного негодяя. Несмотря на нежный возраст короля, видно, что он уже много перестрадал: на его бледном, болезненном лице лежит печать трагического величия; его ноги в длинных голубых бархатных туфлях спущены с кровати, но не касаются пола, что придает ему сходство с сорванным цветком».

Эти двое — двенадцатилетний английский король Эдуард V и его младший брат Ричард. Деларош изобразил их за несколько мгновений до смерти, но если первому из них суждено умереть раз и навсегда, как большинству смертных, то второй принадлежал к числу тех немногих, кто встает из могилы, чтобы прожить еще одну жизнь в чужом теле, но под собственным именем.

В 1483 году умер английский король Эдуард IV, человек ленивый, всецело поглощенный развлечениями, не подозревавший о том, что французский король Людовик XI, этот, по выражению современника, «всемирный паук», подкупил всех его министров и фаворитов и платит им тайную пенсию. Полной противоположностью Эдуарду IV был его младший брат Ричард, носивший титул герцога Глостера, прирожденный государственный деятель и полководец. После смерти короля он и стал регентом при своем двенадцатилетнем племяннике Эдуарде, занявшем трон по праву престолонаследия.

Эдуард V был коронован в Йорке — цитадели йоркской ветви династии Плантагенетов, имевшей белую розу в гербе (алая роза — герб ланкастерской ветви той же династии). В мае 1483 года он торжественно въехал в Лондон и поселился в Тауэре, который в то время был еще отнюдь не тюрьмой, а королевской резиденцией. Вскоре сюда же прибыл и его младший брат Ричард.

Спустя несколько недель оба брата были убиты по приказу Ричарда Глостера, который сам стремился к верховной власти и ролью регента довольствоваться не желал. Организацию убийства взял на себя один из его приближенных, некий Джеймс Тайрелл. С тремя подручными он ночью проник в покои, где спали сыновья Эдуарда IV. Стражу заблаговременно удалили, убийцы мгновенно набросили на братьев огромные подушки, под которыми те и задохнулись, не издав ни крика. В ту же ночь тела обоих мальчиков не то зарыли, не то замуровали здесь же, в Тауэре, под одной из лестниц.

С этого преступления началось, по словам Роберта Льюиса Стивенсона, «короткое царствование и вечный позор» герцога Глостера, ставшего королем Англии под именем Ричард III.

Действительно, его правление длилось недолго. Война между Алой и Белой розой — Ланкастерами и Йорками — вспыхнула с новой силой и велась беспощаднее, чем в былые годы. Были пролиты потоки крови, Ричард лишился своего единственного сына, но все его жертвы оказались напрасны, все усилия — тщетны; в соперничество двух роз вмешался находившийся

во Франции герцог Ричмонд из семейства Тюдоров. Уже в 1485 году он с большим войском высадился на английском побережье, в Милфорде, и в решающем сражении наголову разгромил королевскую армию. Сам Ричард, мастерски владеющий мечом, несмотря на свой горб¹, сражался как простой рыцарь, до конца находясь в гуще битвы и едва не переломив ее ход личной отвагой и бешеной энергией. Если верить Шекспиру, сделавшему его героем самой знаменитой из своих исторических хроник, в бою под Ричардом была убита лошадь, тогда он вскричал: «Коня! Коня! Венец мой за коня!» (Или в другом переводе: «Полцарства за коня!») Но было уже поздно; Ричард пал под ударами; корона, слетев с его головы, покатилась по земле, но ее тут же подхватили сторонники герцога Ричмонда и возложили на своего предводителя, будущего короля Генриха VII. Последнее, впрочем, сомнительно: вряд ли Ричард сражался не в шлеме, а в короне.

Как бы то ни было, английская корона досталась Тюдорам, сумевшим удержать ее целое столетие, а Ричард III, последний король из династии Плантагенетов, всего на два года пережил несчастных сыновей Эдуарда IV, убитых по его приказу.

До недавнего времени эта версия их гибели была общепринятой, романисты и художники не жалели мрачных красок, чтобы с должным эффектом воссоздать происшедшую в Тауэре трагедию. Вот одно из таких описаний:

«Настала глубокая тихая полночь... В эту-то полночь совершились убийство и предательство — преступления, которые бегут света и ищут тьмы. Подобно кошке подкрался Тайрелл с тремя товарищами своими — Слэттером, Дигтоном и Форребером. Не раздалось ни звука, ни стога; ничто не нарушило мертвенную тишину ночи, а ужасные эти люди, совершив свое злодеяние, в страхе разбежались в разные стороны, словно за ними уже гналась неумолимая Немезида».

Написано, конечно, впечатляюще, но так ли все об-

¹ По одним сведениям, Ричард III был горбун, по другим — левая половина туловища была у него короче правой.

стояло на самом деле? У историков это вызывает серьезные сомнения.

Да, об этом пишет Томас Мор, прославленный автор «Утопии», однако можно ли ему доверять? Ведь он жил много позже и в своей хронике стремился доказать, что все Тюдоры — ангелы во плоти, а их последний противник из династии Плантагенетов, Ричард III, — сущий дьявол.

Да, спустя двести лет после смерти братьев при ремонтных работах в Тауэре нашли каких-то два детских скелета. Но почему они обязательно должны были принадлежать сыновьям Эдуарда IV? Как так вообще могло случиться, что останки Эдуарда V, коронованного короля Англии, и его брата были замурованы или закопаны под лестницей, а не погребены с подобающими почестями?

Во всей этой истории есть и другие загадки, но о них — чуть позже.

2

В 1492 году, вскоре после того как начались военные действия между армиями Генриха VII и французского короля Карла VIII, в ирландский порт Корк прибыл с континента некий молодой человек лет восемнадцати, прекрасно одетый, но сопровождаемый всего двумя-тремя слугами. Поселившись в городе, он некоторое время сохранял инкогнито, однако его спутники разными способами давали понять любопытствующим, что этот красивый юноша — человек не простой. Как многие самозванцы, приезжий, по-видимому, был неплохим психологом и сумел окружить себя атмосферой таинственности, стремясь вызвать интерес к собственной персоне, но в то же время старательно уходя от прямых ответов на прямо поставленные вопросы о том, кто он, в сущности, такой. Подобная тактика вообще типична для самозванцев, точнее — для наиболее из них дальновидных и проницательных: разного рода умалчиваниями и многозначительными намеками они всячески провоцируют любопытство окружающих, однако сами никогда не открывают своего «подлинного имени», стараясь,

чтобы за них это сделал кто-нибудь другой, желатель-но — лицо совершенно постороннее. Их обычная цель — создать такую ситуацию, в которой им пришлось бы назвать свое «настоящее имя» как бы вынужденно, под давлением обстоятельств, и тем самым вызвать большее доверие к себе и своей легенде.

Именно так вел себя поселившийся в Корке загадоч-ный незнакомец.

Очевидно, с подсказки кого-то из его спутников го-рожане обратили внимание, что приезжий необычайно похож на покойного короля Эдуарда IV, еще не оконча-тельно забытого за девять лет, прошедших после его смерти. Кто-то предположил, что, может быть, в их го-роде поселился герцог Кларенс, племянник Эдуарда IV, но юноша решительно отверг это предположение.

Следующая догадка была такова: сходство этого мо-лодого человека с Эдуардом IV настолько разительно, что он мог бы быть сыном короля, если бы оба его сына не были мертвы. Тут же, вероятно, последовало возра-жение: мол, еще не известно, мертвы они или нет, слухи ходят разные — по крайней мере, о младшем из братьев поговаривают, будто он жив.

И вот тогда-то, якобы неохотно, якобы подчиняясь настойчивым требованиям, а то и угрозам городских властей, юноша подтвердил, что да, он — не кто иной, как Ричард, герцог Йоркский, младший сын Эдуарда IV.

Рассказанная им история тоже весьма напоминает другие известные нам самозванческие легенды, в кото-рых спасенного принца прячут безымянные спасители, увозят куда-то далеко, а потом, после их смерти, возму-жав, он возвращается на родину или, наоборот, бежит за границу¹.

Будто бы он, Ричард Йоркский, должен был умереть от руки подосланного регентом убийцы, который уже проник ночью в его спальню, но в последний момент в сердце убийцы закралась жалость, и он пощадил невин-ного ребенка. Правда, при одном условии: принц дол-жен скрыться и никому, ни при каких обстоятельствах

¹ Очень похожую историю рассказывал, например, Григо-рий Отрепьев, выдававший себя за сына Ивана Грозного, ца-ревича Дмитрия.

не объявлять своего имени. Затем мальчик был тайно выведен из Тауэра и передан двум каким-то людям, чьи имена так и остались ему неизвестны. Они увезли его в Европу и перевозили из страны в страну, пока не очутились в Португалии. Там один из этих двоих умер, второй куда-то уехал. Он, Ричард, несколько месяцев ждал его возвращения, наконец сел на корабль и приплыл в Ирландию.

На самом деле, как выяснилось позднее, история загадочного молодого человека была далеко не столь сентиментальной, хотя не менее интересной.

Его подлинное имя было Перкин Уорбек. Родился он в 1474 году во Фландрии, в городе Турне, мальчиком попал в Антверпен, жил в доме какого-то купца из Англии, где выучился английскому языку. Затем Уорбек поступил в услужение к одной знатной англичанке, горячей стороннице Йорков, от которой, кажется, и услышал о печальной участи сыновей Эдуарда IV, а также о том, что сам он имеет сходство с их отцом. В результате этих разговоров у него родилась мысль выдать себя за чудом спасшегося младшего из братьев принца Ричарда, поскольку он подходил ему по возрасту. Денег на поездку в Англию у Уорбека не было, тогда он нанялся на службу к некоему купцу из Бретани, на его корабле добрался до Корка и там начал свои похождения.

По другим сведениям, все было не совсем так.

Самозванца действительно звали Перкин Уорбек, но родился он не во Фландрии, а в Лондоне, в семье богатого купца-еврея, принявшего христианство. Юношей Уорбек очутился в Антверпене, приехав туда, вероятно, по торговым делам вместе с отцом. Здесь он случайно попался на глаза кому-то из шпионов или, может быть, придворных Маргариты Бургундской, родной сестры Эдуарда IV, много лет назад выданной замуж за бургундского герцога. Этот человек первым обратил внимание, что сын лондонского торговца удивительно похож на покойного английского короля, брата герцогини. Уорбека доставили во дворец Маргариты Бургундской, отсюда и потянулись нити хитроумной интриги, опутавшие вскоре Англию и чуть ли не половину Европы.

Маргарита, представительница Йоркской династии, ненавидела вообще всех Тюдоров, а Генриха VII — в

особенности. Она-то и уговорила Уорбека принять имя ее племянника, принца Ричарда, и объявить себя претендентом на английский престол.

Само собой, ему обещана была всемерная поддержка, а он в свою очередь поклялся сохранить в тайне имя покровительницы. Вряд ли Маргарита всерьез рассчитывала, что самозванцу удастся занять трон. Но, учитывая, что Йоркская династия пала всего семь лет назад и в Англии оставалось множество ее тайных приверженцев, он, во всяком случае, вполне способен был попортить Генриху VII немало крови.

Вторая версия кажется более правдоподобной, чем первая, утверждающая, что самозванец начал игру на свой страх и риск. Купеческий сын Уорбек попросту не смог бы стать тем, кем он стал, если бы с самого начала за его спиной не стояли могущественные покровители, прежде всего — Маргарита Бургундская. В ее антверпенском дворце и вылупился этот чудесный птенец.

Отсюда его выпустили в Ирландию, причем не раньше, чем началась англо-французская война, и Генрих VII вместе с войском покинул Англию. Очевидно, Маргарита хотела проверить, годится ли Уорбек на выбранную для него роль, а заодно поглядеть, поверят ли ему, найдутся ли сочувствующие, так ли уж верны ненавистному Тюдору его подданные. К Уорбеку наверняка были приставлены соглядатаи, которые, надо полагать, донесли Маргарите, что ее подопечный блестяще справился с ролью принца Ричарда и ее затея имеет шансы на успех.

Как только это выяснилось, Уорбек отплыл обратно на материк, не дожидаясь, пока вести о нем дойдут до Лондона и оттуда поступит приказ о его аресте.

Поездка в маленький провинциальный Корк была не более чем пробной вылазкой. Настоящая интрига началась потом.

3

Спустя некоторое время Уорбек объявился во Франции. Там его приняли с большим почетом, Карл VIII официально признал законные права «принца Ричарда»

на английский престол и поселил его в замке Амбуаз. Однако военные действия складывались неудачно для французов. В мирном договоре, ознаменовавшем собой конец этой короткой войны, имелся особый пункт, согласно которому Карл VIII брал на себя обязательство не помогать английским эмигрантам, выступающим против короля. Разумеется, этот пункт метил прежде всего в «герцога Йоркского», и тому пришлось покинуть гостеприимную Францию.

Он вновь нашел приют в Антверпене, под крылом своей «тетушки», Маргариты Бургундской. Теперь она открыто признала его «племянником», младшим сыном своего брата и законным претендентом на английский престол. Резиденцией Уорбека стал Малинский дворец, его охраняли стражники с алебардами, его слуги были одеты в цвета дома Йорков. Последнее, между прочим, тоже было вызовом Генриху VII, ведь тот строго-настро-го запретил английским дворянам одевать слуг в свои фамильные цвета. Этим подчеркивалось, что все они, независимо от происхождения, не более чем королевские подданные.

Уорбек отправил послов в Вену, к императору Максимилиану I, и в Эдинбург, к шотландскому королю Якову IV. Оба они не питали никаких дружеских чувств к Генриху VII, поэтому также признали правомерность притязаний «герцога Йоркского» на престол. Власть Максимилиана I распространялась на часть бывшего герцогства Бургундского — Нидерланды, где сидела «тетушка» Уорбека, поэтому император внял ее просьбам и начал собирать войско, с которым тот смог бы отвоевать «отцовский» трон. Генрих VII всерьез обеспокоился столь неожиданным оборотом событий, тем более что сторонники Белой розы начали поднимать голову и к северу от Ла-Манша. Правда, войско для Уорбека собрали не бог весть какое — около полутора тысяч наемников, то есть всякого сброда из разных стран Европы, но самозванец не побоялся высадиться с ним в Англии. Расчет был на то, что, едва он ступит на английскую землю, к нему начнут присоединяться все недовольные Генрихом VII, который за десять лет правления не сни-скал большой любви своих подданных. Этого, однако, не произошло. Вернее, не успело произойти. Как только

наемники сошли на берег, они, как обычно, не надеясь на неверное военное счастье, принялись разбойничать и грабить близлежащие деревни. Возмущенные крестьяне организовали ополчение и нанесли такой удар своему «законному государю», прибывшему освободить их от власти узурпатора, что тот с остатками своей доблестной армии вынужден был спасаться бегством. Уорбек отплыл в Ирландию, где также ничего не добился. Наемники разбежались; потеряв большую часть кораблей, он в том же, 1495 году взял курс на север, к берегам Шотландии.

Зато уж здесь его встретили по-королевски. Под колокольный звон и гром пушечного салюта Уорбек въехал в Эдинбург, король Яков IV обещал ему помощь и поддержку. Он был молод, почти одних лет с Уорбеком, которому шел тогда двадцать второй год; ровесники подружились, вместе пировали, ездили на охоту и даже, демонстрируя взаимную любовь, одевались в одинаковое платье, как близнецы. Наконец, Яков IV выдал за Уорбека замуж Екатерину Гордон, дочь графини Гентли, в чьих жилах текла кровь династии Стюартов. Этот сказочный для купеческого сына брак ясно показывает, что Яков IV ничуть не сомневался в истинно королевской родословной своего гостя.

Как все Стюарты, он был заклятым врагом английских королей, завладевших частью исконно шотландских земель на юге его страны. Почти сразу же после прибытия к нему Уорбека, готового сражаться против Генриха VII в союзе с кем угодно, Яков IV двинул свои войска против англичан, пытаясь вернуть себе несколько городов, некогда принадлежавших его предкам. Уорбек с радостью принял участие в этом походе. Однако война ограничилась пограничными стычками, затем начались мирные переговоры, и под давлением Генриха VII шотландский король вынужден был отказать в покровительстве своему «брату» — «герцогу Йоркскому».

Уорбек вернулся все к той же Маргарите Бургундской, которая неумоимо плела свою интригу, не жалея денег на то, чтобы создать ему опору в самой Англии. Островное дворянство все еще не могло успокоиться после долгого периода смуты и гражданских войн, у Йорков еще имелись многочисленные сторонники, а Ген-

рих VII успел нажить немало врагов. Он пытался усилить королевскую власть, боролся со знатью и пополнял казну всеми доступными ему способами, не особенно стесняясь в средствах. По словам современников, люди, жившие на широкую ногу, должны были давать королю деньги, потому что они богаты; люди, жившие скромно, должны были давать деньги, потому что при их бережливости они не могли не быть богаты. Многих такой подход не устраивал, и не без помощи с континента в Англию созрел заговор. Его участники намеревались низложить Генриха VII и передать престол «герцогу Йоркскому», но нашелся доносчик, шестеро главных заговорщиков окончили жизнь на эшафоте.

Тем не менее даже после стольких разочарований ни Маргарита Бургундская, ни ее подопечный не собирались отказываться от дальнейшей борьбы. Похоже, что теперь «тетушка» и «племянник» выступали на равных, а может быть, инициатива уже перешла к Уорбеку. Он был из тех самозванцев, кто полностью вживается в однажды взятую на себя роль: маска, надетая ими порой и случайно, со временем намертво прирастает к лицу, и сорвать ее можно только вместе с кожей. Такие люди сродни гениальным актерам, которые обладают настолько сильной способностью к перевоплощению, что на время как бы утрачивают собственное «я».

Удобный случай вновь попытать счастья представился в 1498 году, когда в Корнуэлле вспыхнуло крестьянское восстание. Уорбек немедленно высадился на побережье. На этот раз ему сопутствовала удача, народ встретил его с ликованием. В нем увидели издревле живущего в народных легендах «доброго принца», гонимого «злым королем». Уорбек решил, что волна мужицкого бунта может вознести его на престол. Выпустив манифест, в котором объявил себя королем Ричардом IV, он с несколькими тысячами присоединившихся к нему повстанцев двинулся в глубь страны. Со всего Корнуэлла стекались вооруженные крестьяне, армия самозванца увеличивалась со дня на день и скоро достигла 8 тысяч человек. Но этот триумфальный марш длился недолго: все начало разлагаться, как только Эксетер, первый крупный город на пути к Лондону, закрыл ворота перед войском «короля Ричарда IV». Горожане наотрез отказа-

лись признать его своим законным монархом. Начались переговоры, тем временем стало известно, что к городу приближается королевская армия. После первых же столкновений войско Уорбека начало таять с той же стремительностью, с какой возрастало по дороге к Экстеру. Сам он бежал, но в конце концов должен был сдаться на милость Генриху VII.

Тот обещал сохранить ему жизнь и сдержал обещание. Мало того, он не только не бросил лжепринца в тюрьму, но поселил его в Вестминстерском дворце и даже позволил жене Уорбека, Екатерине Гордон, приехать к мужу и остаться жить вместе с ним. Эта более чем странная снисходительность к самозванцу, вот уже в течение шести лет норовившему отнять у Генриха VII английский престол, заставила некоторых историков предположить, что Уорбек действительно был сыном Эдуарда IV, хотя и незаконным, внебрачным.

Одновременно Генрих VII вознамерился доказать своим подданным, что его пленник — вовсе не тот, за кого себя выдает. Уорбеку приказано было регулярно совершать пешие прогулки по Лондону, чтобы все желающие свободно могли поговорить с ним и убедиться, что на самом деле он — Перкин Уорбек, сын купца, авантюрист и т. д. Уорбек должен был рассказывать всю правду о себе, но эта затея не принесла желанного результата. Лондонцы не верили его рассказам, многие по-прежнему продолжали считать вестминстерского жильца настоящим принцем Ричардом.

В итоге нашлись люди, которые помогли ему бежать. Неизвестно, кто организовал побег, но все было подготовлено заранее, в гавани Кента его ждал корабль. На нем Уорбеку предстояло отплыть в Европу или, может быть, в Шотландию. Выпорхнув из своей золоченой клетки, самозванец поспешил в Кент, но его исчезновение обнаружилось, начались поиски. Преследователи напали на его след; после трехдневной погони Уорбеку удалось укрыться в Шинском аббатстве. Он мог бы спастись, однако приор монастыря узнал его по сходству с Эдуардом IV и выдал тем, кто за ним гнался, правда, предварительно выставив Генриху VII условие, что беглец не будет казнен.

Король вновь оказался верен своему слову, проявив

поистине ангельское долготерпение. Уорбека вернули в Лондон, выставили напоказ в Чипсайде, заставив публично покаяться в преступных замыслах, а затем посадили под замок уже не в Вестминстере, а в Тауэре. Его относительная свобода оставалась в прошлом, теперь его куда не выпускали и никому не позволяли с ним видеться.

Он, однако, не унывал и держал себя как настоящий принц крови. Рассказывают, будто однажды, просматривая перечень тех знатных особ, кто нашел смерть в стенах Тауэра, и среди прочих имен обнаружив имя младшего сына Эдуарда IV, Уорбек возмутился. «Тут написано, — сказал он, — что принц Ричард умер, но это неправда. Я жив!»

С его характером и умением привлекать к себе людей Уорбеку не пришлось долго скучать в одиночестве. На свободе он водил дружбу с королями Франции и Шотландии, а в Тауэре тоже нашел себе подходящую компанию в лице собственного «кузена» Эдуарда, графа Уорвика.

Увы, это приятное знакомство закончилось трагически для них обоих.

4

Молодой граф Уорвик унаследовал свой титул от деда, знаменитого Ричарда Нэвилла, сыгравшего колоссальную роль в войнах Алой и Белой розы и заслужившего знаменательное прозвище: Делатель королей. Суровый воитель, он своим мечом проложил Эдуарду IV дорогу к трону, пользовался при нем огромным влиянием, но затем поссорился с ним, на полгода сверг его с престола, заменив своим ставленником, и пал в битве при Барнете, сражаясь уже против Эдуарда IV, которому сам когда-то добыл королевскую корону.

Но еще в ту пору, когда отношения между ними не испортились, Делатель королей выдал дочь замуж за герцога Кларенса, родного брата Эдуарда IV. Сыном этой пары и оказался теперь соседом самозванца по Тауэру.

После того как погиб Ричард III, юный Уорвик остался последним законным представителем мужской

линии династии Плантагенетов. Его права на престол считались неоспоримыми. Но когда английской короной завладели Тюдоры, он был еще мальчиком, поэтому Генрих VII не казнил его, а оставил в Тауэре, куда бедного Уорвика засадил еще Ричард III. К моменту появления здесь самозванца несчастный принц провел в заточении уже пятнадцать лет. Жизнь его была скучна и однообразна, можно себе представить, насколько он взволновался, узнав, что поблизости, в том же Тауэре, появился человек, которого кое-кто признает младшим сыном Эдуарда IV. Да и как было не волноваться! Ведь принц Ричард приходился Уорвику двоюродным братом.

Уорвик решил во что бы то ни стало повидаться с товарищем по несчастью. Он, по-видимому, хотел проверить, не самозванец ли тот, и тешил себя иллюзией, что уж он-то сумеет с одного взгляда распознать мошенника.

Даже в тюрьме Уорвик не был стеснен в средствах. Деньги у него водились, ему не составило труда договориться с внутренней охраной, и в один прекрасный день состоялась встреча двух узников. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло, но при первом же свидании Уорвик отбросил все свои сомнения. Да, перед ним стоял настоящий принц Ричард! Ошибиться было невозможно. Все в этом юном красавце указывало на то, что в его жилах тоже течет кровь Плантагенетов, как в самом Уорвике. Оба они были последними отпрысками древней династии, оба находились в плену у проклятого Тюдора, и перед этим родством их судеб совершенно меркло то обстоятельство, что когда-то, много лет назад, отец Уорвика, герцог Кларенс, был казнен по приказу отца Ричарда, Эдуарда IV. Разве такая мелочь могла помешать союзу двух принцев? На свободе они, возможно, стали бы соперниками в борьбе за престол, в заточении сделались друзьями.

Перкин Уорбек недаром столько лет прожил при европейских дворах. Сначала в Антверпене, у Маргариты Бургундской, затем в замке Амбуаз, у Карла VIII, и, наконец, в Эдинбурге, у своего верного друга Якова IV, самозванец приобрел светский лоск, усвоил манеры подлинно царственной особы, узнал множество политических и альковных сплетен. Сейчас он пустил в ход все

свое обаяние и быстро очаровал наивного графа Уорвика, который с раннего детства сидел в Тауэре и мог лишь мечтать о той бурной жизни, что выпала на долю его «двоюродного брата». В этой жизни были морские путешествия, походы, сражения, блестящие придворные праздники, любовь прекрасной Екатерины Гордон из семейства Стюартов, дружба величайших монархов Европы — словом, все то, чего внук Делателя королей лишен был по милости своего тюремщика Генриха VII.

Зато в заточении Уорвик обладал неоспоримыми преимуществами перед своим счастливым «кузеном». Он получал приличное содержание и ни в чем не испытывал нужды: мог роскошно одеваться, заказывать любимые кушанья, пить дорогие вина. Теперь всеми этими благами он стал по-братски делиться с Уорбеком, который тоже зажил припеваючи. Своего благодетеля тот называл не иначе, как «мой милый кузен», относился к нему покровительственно, и скоро Уорвик всецело подпал под его влияние.

Уорвик, похоже, давно смирился со своим незавидным положением. Не то Уорбек. Он отнюдь не собирался пополнить собой список тех, кто так и умер в Тауэре, до конца дней не зная свободы. В общем, «принц Ричард» решил бежать и уговорил Уорвика сделать это вместе. Вероятно, он рассчитывал, что деньги его «милостивого кузена» помогут им совершить побег. К тому же к Уорвику за много лет все здесь привыкли, он был в добрых отношениях с охраной и мог, не вызывая ничьих подозрений, должным образом все подготовить. Общее руководство Уорбек, разумеется, взял на себя. Со своим обычным легкомыслием он был уверен в успехе, сумел убедить робкого «кузена», что, несомненно, все будет прекрасно, и тот с трепетом ждал заветного дня. Казалось, вот-вот перед ним распахнутся двери в ту чудесную жизнь, для которой он, граф Уорвик, и был рожден.

Тауэр представлял собой мощную крепость — двойные ворота, неусыпно охраняемые многочисленным караулом, башни с дозорными, 60 пушек на валу, но благодаря смелости и находчивости Уорбека побег начался на редкость удачно. В одну из ночей «кузены» совершенно беспрепятственно вылезли в окно и по заранее припасенной веревочной лестнице спустились вниз, к

Темзе. Там их ждала лодка с сообщниками. Стража была подкуплена, тревоги никто не поднял. Беглецы сели в лодку и спустя какое-то время были уже в таверне «Тэмпл-Бар» — условленном месте, где им предстояло переодеться, взять лошадей и все необходимое для дороги. Предполагалось добраться до какой-нибудь гавани, чтобы как можно быстрее покинуть Англию.

Пока что все шло замечательно, именно так, как и обещал Уорбек. Друзья ликовали, не подозревая, что люди Генриха VII незаметно преследуют их от самых стен Тауэра. Оказывается, королю давным-давно донесли о готовящемся побеге, и тот решил не мешать своим пленникам, чтобы схватить их в нужный момент, а затем с полным на то правом отделаться от обоих раз и навсегда. Не исключено даже, что помимо своей воли Уорбек сыграл роль «подсадной утки»: он, по замыслу Генриха VII, должен был спровоцировать графа Уорвика на побег и тем самым дать королю основание для казни возможного соперника.

Через час в таверну «Тэмпл-Бар» ворвались королевские гвардейцы, на том дело и кончилось. Уорвика препроводили обратно в Тауэр, а его «кузена» бросили в Ньюгейт — самую страшную из лондонских тюрем.

Спустя несколько недель обоих приговорили к смерти по обвинению в государственной измене. Ведь они совершили побег с целью вступить в борьбу с законным монархом и свергнуть его с престола! Генрих VII полагал, что он уже не раз продемонстрировал всей Англии свое великодушие, и теперь его подданные должны понять, что у королевского мягкосердечия тоже есть предел. Королю выгодно было изображать из себя человека, чье доверие было обмануто самым подлым образом. Все прошения о помиловании преступников были отклонены, среди них и то, которое написал настоящий отец Перкина Уорбека. Король остался неумолим: самозванцу предстояло умереть как простолюдину — на виселице, графу Уорвику как представителю Йоркской династии и последнему из Плантагенетов — на эшафоте, под топором палача.

Напоследок Уорбек все-таки удостоился еще одной королевской милости: ему разрешили свидание с отцом. Есть известие, что на этой встрече Уорбек отказался

признать собственного отца, заявив, что его отец — Эдуард IV, но обратился к старику с настоятельной просьбой «сослужить ему великую службу». Он просил Уорбека-отца найти оставшихся в Англии его, «принца Ричарда», могущественных друзей, переговорить с ними и, если они что-то предпринимают для его спасения, дать ему знать об этом. Как? Очень просто. В день казни встать как можно ближе к виселице и, если все будет в порядке, высоко поднять правую руку. Тогда он, Уорбек, будет спокоен, зная, что казнь не состоится и в последний момент ему объявят указ о помиловании.

Само собой, никаких могущественных друзей сына старику Уорбеку отыскать не удалось. Разве мог он их найти за оставшиеся до казни два дня? Если они и были, то не в их интересах было себя обнаруживать.

Тем не менее утром в день казни Уорбек-отец сумел занять место в первых рядах зевак, собравшихся поглядеть, как «герцога Йоркского» вздернут на виселице. Хотя при встрече в тюрьме сын не пожелал признать в нем своего отца, однако дал понять, что для его спасения «могущественным друзьям» понадобятся деньги. Купец Уорбек был человек далеко не бедный, но, как видно, золото оказалось бессильно избавить его сына от петли. В свои двадцать пять лет Перкин Уорбек должен был умереть, отец мог сделать для него единственное: надеждой на спасение облегчить ему последние минуты.

Когда самозванца, связанного по рукам и ногам, подняли на помост, где возвышалась виселица, и он взглядом нашел в толпе отца, тот высоко поднял правую руку.

Уорбек улыбнулся в ответ.

Наверное, это всего лишь красивая легенда, но, во всяком случае, Уорбеку никогда не удалось бы обмануть столько людей, если бы он не умел обманывать самого себя. Он давно утратил чувство границы между реальностью и вымыслом и верил не рассудку, а голосу сердца, говорящему именно то, что он внушал другим. Жизнь, которую прожил этот человек, была похожа на волшебный сон, теперь ему легче было умереть, чем проснуться.

Современники утверждают, что свой смертный час Уорбек встретил в высшей степени достойно, как подо-

бает истинному Плантагенету. Он спокойно исповедался и причастился, попросил прощения у Генриха VII за нанесенные ему обиды и оставался безмятежно спокоен даже в тот момент, когда на него накинули петлю.

Может быть, он хотел обмануть самого Господа Бога?

Самозванец умер, но народ на площади не расходился, дожидаясь еще одной казни. Она состоялась тут же: вслед за Уорбеком повесили его давнего и преданного сторонника, некоего Лимерика, бывшего мэра Корка — того самого города, где семь лет назад Уорбек впервые объявил себя Ричардом, герцогом Йоркским, младшим сыном короля Эдуарда IV.

Затем палач обезглавил снятые с виселицы тела казненных, головы насадили на колья и выставили на Лондонском мосту.

Но, повторим, во всей этой истории остается много неясного и странного.

Как мы уже говорили, есть предположения, что Ричард III вовсе не отдавал приказа об убийстве своих племянников. Доказательства? Точных доказательств, пожалуй, нет, но основания для сомнений имеются.

Известно, например, что вскоре после того как Уорбек впервые высадился в Корке и объявил себя герцогом Йоркским, встревоженный появлением самозванца Генрих VII решил доказать всему свету, что дети Эдуарда IV давно мертвы. С этой целью король велел арестовать и допросить их убийцу Джеймса Тайрелла и троих его подручных — Слэттера, Дигтона и Форребера, которые немедленно признались в совершенном преступлении и были повешены. Но, спрашивается, если найти преступников было так просто, почему никто не сделал этого раньше? Почему они столько лет жили на свободе, никем не преследуемые? Невольно возникает подозрение, что эти четверо ни в чем не были виноваты и в совершенном ими убийстве признались под пытками, ибо Генриху VII очень нужно было их признание. Возможно, он нуждался в этом не только с целью изобличить самозванца, но и для того, чтобы отвести от самого себя обвинение в убийстве младшего сына Эдуарда IV.

Да, историки предполагают, что двенадцатилетний Эдуард V умер в 1483 году от свирепствовавшей в то время в Лондоне эпидемии оспы, а вот младший брат остался жив, содержался в заточении и, весьма вероятно, убит был уже по приказу Генриха VII. Во всяком случае, в документах лорда-коменданта Тауэра сохранилась запись о деньгах, выдаваемых на содержание Ричарда, герцога Йоркского, причем эта запись относится ко времени правления Генриха VII, когда, если верить его же собственной версии, младший сын Эдуарда IV давно должен был быть мертв.

Наконец, еще одна любопытная подробность. На допросе Тайрелл и его сообщники признались в убийстве принцев, но почему-то не могли сообщить, куда же делись потом тела убитых мальчиков. По их словам, это знал какой-то священник, уже умерший к моменту судебного процесса и унесший с собой в могилу тайну погребения обоих принцев. Следовательно, душераздирающая история о зарытых или замурованных под лестницей трупах не имеет под собой никаких оснований.

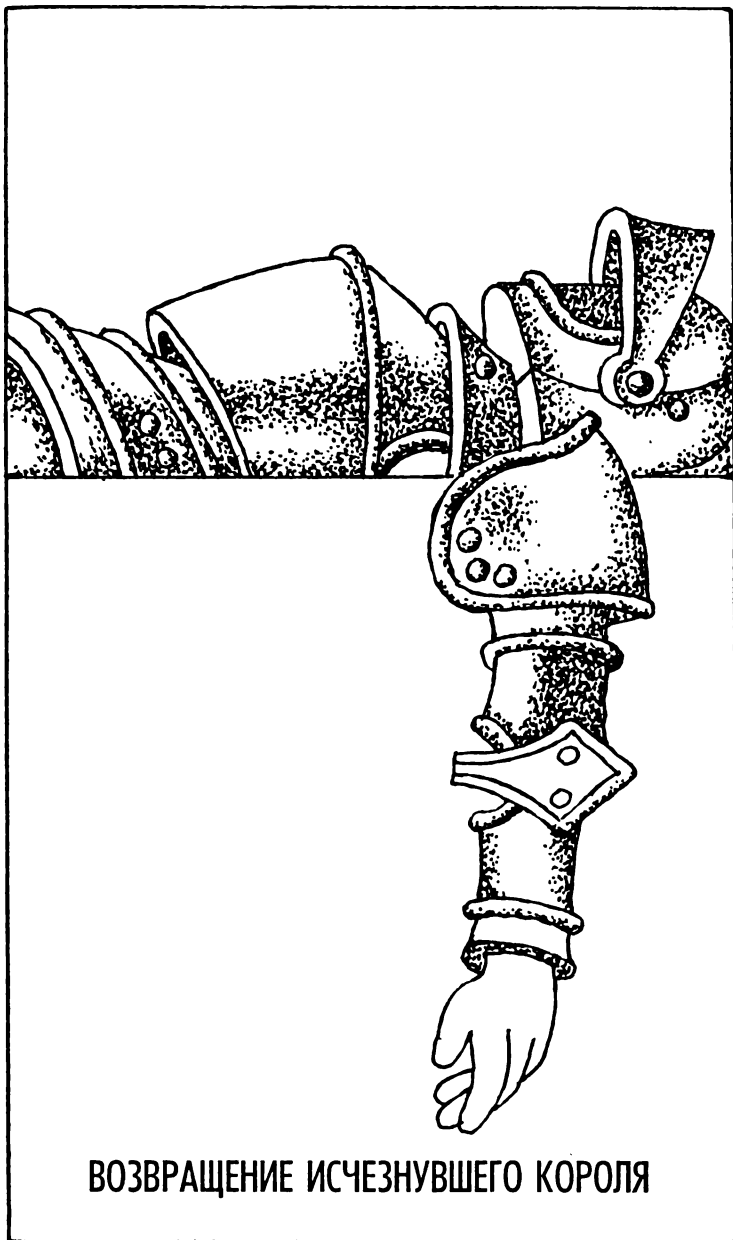
Не потому ли место последнего успокоения младшего, по крайней мере, из сыновей Эдуарда IV осталось неизвестным, что у Генриха VII были причины скрывать подлинные обстоятельства его смерти?

Да и смерти ли?

Может быть, принцу и в самом деле удалось бежать из Тауэра? Может быть, та же Маргарита Бургундская сумела освободить своего племянника? Может быть, непонятная снисходительность, с которой Генрих VII так долго относился к самозванцу Уорбеку, объяснялась тем, что он был вовсе не Уорбек, как всячески пытался доказать король, и не самозванец?

Вообще, когда речь заходит о самозванцах, нередко возникают подобные вопросы¹. Но, кажется, применительно к Уорбеку мы можем поставить их с большим на то правом, чем в отношении кого бы то ни было другого.

¹ Вспомним, что историки до сих пор гадают, кем был человек, занявший персидский престол в 522 году до н. э., — лже-Бардией или Бардией настоящим.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСЧЕЗНУВШЕГО КОРОЛЯ

Узкой полосой вдоль западного побережья Пиренейского полуострова протянулась Португалия. Атлантический океан то с ревом бьется о скалистые обрывы, то мягко накатывает волны на бесконечные песчаные пляжи. На востоке — горы, сухие красноватые равнины, причудливые рощи пробковых дубов.

В 711 году на эту землю пришли завоеватели. В первом же сражении с ними христианское войско было разбито, сам вестготский король Родерик пал на поле битвы. Тело его так и не нашли, и это породило легенду, что он жив, где-то скрывается и когда-нибудь еще даст знать о себе.

Родерик не вернулся, но спустя восемь с половиной столетий та же судьба выпала на долю португальского короля Себастьяна I.

1

К началу XVI столетия маленькая Португалия была первой морской и колониальной державой мира. Но к тому времени, когда в 1557 году после смерти короля Жоана III на престол вступил его трехлетний внук Себастьян (регентшей при нем стала его бабка Катарина), эта самая блестящая эпоха португальской истории медленно уходила в прошлое. На морях португальцев уже

потеснили испанцы, начинали теснить голландцы, французы, англичане, да и на Пиренейском полуострове могущественный испанский король Филипп II все чаще с нескрываемым интересом поглядывал в сторону слабеющей соседки. Юный Себастьян I стал последним из португальских королей, кто еще пытался вернуть родине утраченное величие, хотя тем самым лишь ускорил ее падение.

Себастьян с детства мечтал о славе полководца, восхищался подвигами своих предшественников на троне, о которых читал в исторических хрониках, путешествовал по стране верхом, осматривал места великих сражений, устраивал рыцарские турниры и сам в них участвовал, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что времена рыцарей давным-давно миновали и весь этот средневековый антураж казался просто смешным. В Европе дули уже совсем другие ветры.

Король Себастьян был на редкость серьезным, болезненно честолюбивым и странным для своего времени молодым человеком. Иные из его причуд вызывали улыбку, иные — недоумение, а то и откровенное раздражение. Однажды, например, когда в Лиссабоне свирепствовала чума и королю посоветовали на лето покинуть столицу, он отправился в старинный монастырь Алькобасо, где издавна погребали португальских монархов. Себастьян распорядился вскрыть захоронения тех своих царственных предков, на кого он хотел быть похожим, и долго в благоговейном молчании созерцал их останки. Это мало кому пришлось по вкусу, однако никто не посмел воспротивиться его кощунственной любознательности.

В детстве он был слаб здоровьем, прихрамывал на левую ногу, но постоянными физическими упражнениями развил в себе силу, выносливость, ловкость, мог обуздать необъезженного коня, прекрасно владел боевым копьем, что не раз доказывал на турнирах, выбивая противников из седла. Он горел желанием поразить мир своей воинской доблестью, совершить великие деяния и обессмертить свое имя, но не знал, как это сделать. Время шло, из мальчика он превратился в юношу, одна-

ко до сих пор за ним не числилось никаких подвигов. В 1571 году семнадцатилетний король решил покинуть Лиссабон, где для него не предвиделось славных дел, и отправился на подвиги в Индию, но его сумели отговорить от этой безумной затеи.

Наконец он обратил взоры на Африку.

Цели задуманной им грандиозной военной экспедиции были столь же величественны, сколь и неопределенны. Себастьян собирался сделать Лиссабон столицей новой великой империи, которая кроме собственно Португалии и ее азиатских владений включила бы в себя и всю Северную Африку.

Подобные планы, замешанные на идеях эпохи крестовых походов и рыцарских романов, были совершенно нереалистичны. Королю справедливо указывали, что крошечной Португалии просто не достанет сил на такое предприятие, но Себастьян не слушал ничьих возражений. Он с отрочества привык подчинять окружающих своим капризам, был тщеславен, самонадеян, горд и в то же время не слишком разбирался в военном деле и мореплавании. Смелость и величие поставленной цели казались ему достаточной гарантией успеха. Воспитанник иезуитов, Себастьян свято уверовал, что ему свыше предначертано водрузить крест на южных берегах Средиземного моря. После смерти его бабки, вдовствующей королевы Катарины, повлиять на короля не мог никто.

К весне 1578 года была собрана довольно значительная армия, состоявшая примерно из 15 тысяч пехотинцев, часть которых составляли иностранные наемники, и отборного конного полка из 1400 молодых португальских дворян. Повод для похода найден был без труда: Себастьян вмешался в династическую распрю, поддержав одного из претендентов на титул султана Марокко, погрузил свою армию на корабли и в разгар лета, в самое неудачное для военных действий время, высадился на североафриканском побережье, в Танжере. Отсюда он сразу же двинулся к Алькасар-Кивиру — столице берберского султана Абд-аль-Малика. Ему советовали сначала подтянуть флот и бомбардировать город с моря,

но король спешил: он не желал уступать славу победителя своим адмиралам.

Переход по пустыне был неимоверно тяжелым. Вскоре стало не хватать продовольствия, реки пересохли от зноя, люди и лошади страдали от жажды. Наконец Себастьян внял голосу разума и решил повернуть обратно, чтобы в удобном месте дожидаться кораблей, но было поздно: с востока подошло войско Абд-аль-Малика во главе с самим султаном. По численности оно почти вдвое превосходило португальское, имело гораздо больше конницы и артиллерии. Тем не менее король решил принять сражение, хотя еще была возможность его избежать.

Утром 4 августа 1578 года обе армии построились в боевые порядки. Король в сверкающих доспехах объехал ряды и сказал короткую речь, призывая свое войско к мужеству и стойкости в борьбе за христианское дело. Затем воины преклонили колени, слышалась общая молитва, уже заглушаемая гулом арабских пушек. Их ядра нанесли серьезный урон португальскому войску, тут же в атаку бросилась мавританская конница. Ее первый натиск был отбит, но за ним последовали другие, началась изнурительная кровопролитная битва.

Португальцы храбро сражались, и был момент, когда казалось, что победа достанется им. Это произошло после того, как был убит султан Абд-аль-Малик. Мавры дрогнули и начали отступать.

К несчастью, Себастьян вступил в сражение как истинный средневековый рыцарь — с безоглядной отвагой, но не позаботившись о резервах и вообще не приняв никаких мер предосторожности. Вскоре берберская конница сумела обойти христианское войско и ударила ему в тыл. В этот опаснейший момент Себастьян оказался не способен управлять войском, которое распалось на отдельные отряды: иностранные наемники и португальцы сражались сами по себе и гибли, не приходя на помощь друг другу. К концу дня половина армии была истреблена, многие тысячи попали в плен.

Катастрофа была полной. Король в помятых, залитых кровью доспехах упорно не покидал поле битвы, от-

вечая отказом на все предложения спастись бегством, однако переломить ход сражения было уже не в его силах. Под ним ранило двух коней, возле него оставалось все меньше приближенных и телохранителей. Те из них, кто уцелел и позднее вспоминал эти страшные минуты, рассказывали, что в последний раз видели короля, когда он с обнаженным мечом в руке поскакал навстречу арабским всадникам.

Что с ним случилось потом, никто не знал, его дальнейшая судьба так и осталась загадкой.

Одни говорили, что он спасся, переплыв реку, другие — что погиб и его опознали среди мертвых тел. Будто бы король имел пять ран на голове и множество на теле, но достоверно ничего не могли сказать даже те португальцы, которые попали в плен, а позднее были выкуплены и вернулись на родину.

Впрочем, какое-то тело, которое сочли телом Себастьяна, арабы впоследствии передали его дяде, испанскому королю Филиппу II. Останки перевезли в Испанию, в Сеуту, где они и были преданы погребению, но их подлинность уже тогда у многих вызывала сомнения.

Бесспорно было одно: не дожив до двадцати четырех лет, король Себастьян I бесследно исчез в битве при Алькасар-Кивире 4 августа 1578 года.

Именно это и сделало его бессмертным.

Его первая жизнь закончилась в обгаренных португальской кровью песках Северной Африки, но ему предстояло прожить еще четыре, вернувшись на родину в самый, может быть, трудный час ее истории.

2

Накануне своего африканского похода Себастьян посылался к дочери испанского короля Филиппа II, инфанте Изабелле. Тот дал согласие, но при этом сказал кому-то из приближенных: «Если он победит, мы приобретем славного зятя, если будет побежден — королевство».

Случилось последнее.

Спустя два года после битвы при Алькасар-Кивире испанские войска вошли в Португалию, которая отныне на 60 лет лишилась независимости. Филипп II клятвенно обещал «уважать права и привилегии португальского народа», регулярно созывать кортесы¹, назначать на государственные должности в Португалии только португальцев и прочее, но нарушил все свои обещания: кортесы не созывались ни разу, испанцы оказались на высших должностях. Целью своей политики Филипп II поставил уничтожение португальцев как нации. Открытая борьба с угнетателями была невозможна, вот тогда-то народ и начал надеяться на возвращение исчезнувшего в Африке короля.

Говорили, что он спасся, но его захватил Филипп II и держит в тюрьме, а для отвода глаз велел торжественно похоронить в Сеуте не то пустой гроб, не то неузнаваемо обезображенный труп какого-то другого человека из числа павших при Алькасар-Кивире. Другие утверждали, что король долго лечил свои раны, жил в Марокко, а потом, узнав, что Португалия стала владением испанской короны, уплыл то ли в Бразилию, то ли в Индию, то ли куда-то еще, где можно не опасаться проклятых испанцев.

Встревоженный этими слухами Филипп II распорядился перевезти останки Себастьяна из Сеуты в Лиссабон, но это не только никого не убедило в его смерти, а, напротив, заставило еще сильнее подозревать испанского короля в том, что он причастен к исчезновению своего племянника. Ведь после стольких лет никто уже не мог поручиться, что в привезенном из Сеуты гробу лежит внук Жоана III, а не кто-то другой!

Вера в то, что Себастьян жив, поначалу распространилась главным образом среди простонародья, но затем в стороне от нее не остались ни дворянство, ни духовенство. Для португальцев, народа мореплавателей, вообще не в диковинку было, когда после многолетнего отсутствия на родину возвращались те, кого считали навсегда

¹ Кортесы — собрания выборных представителей сословий.

пропавшими в дальних землях или сгинувшими в морской пучине.

Легенда о «сокровенном короле» стала патриотическим мифом. Верили, что он или бежал из испанской тюрьмы, или с самого начала где-то прячется, тайно вербуя себе сторонников, но скоро выйдет из своего убежища и вернется в Португалию, чтобы сделать ее вновь свободной.

Тех, кто во все это верил, называли «себастианистами». Их усилиями вокруг имени исчезнувшего короля была создана целая мифология, согласно которой Себастьяну суждено стать основателем величайшего государства — так называемой «пятой империи»¹, и это будет своего рода преддверие Царства Небесного. «Себастианисты» верили, что сам Бог охраняет короля, что волшебным образом он перенесен на какой-то пустынный остров, что его возвращение на родину будет ознаменовано сверхъестественными явлениями и чудесами, порой грозными, но потом страна возродится и достигнет процветания, а народ — счастья.

Разумеется, при такой почти всеобщей страстной уверенности в том, что Себастьян жив, появление самозванцев было неизбежно.

Первые двое, известные как «король Панамакара» и «король Эрисейра», появились уже вскоре после того, как Филипп II к своим многочисленным титулам присоединил титул короля Португалии. Оба они вышли из крестьянской среды и довольно легко были разоблачены.

Третий, по-видимому, происходил из дворян. Это был человек другого полета, и его деятельность, начавшаяся в 1594 году в Кастилии, на первых порах была довольно удачной. Ему удалось привлечь к себе внимание некоторых высокопоставленных особ, в том числе, возможно, членов Португальского совета при Филиппе II, но в конце концов он был брошен в тюрьму, подвергнут

¹ Предшествующие четыре великие империи: Западная Римская, Восточная Римская (Византийская), Карла Великого и Священная Римская.

пыткам и казнен, так и не открыв своего настоящего имени.

Как это часто бывает, в его гибель не поверили, начали распространяться слухи о том, что ему удалось бежать. Казнь третьего из тех, кто возложил на себя имя Себастьяна, не убила легенду о «сокровенном короле», наоборот — вдохнула в нее новую жизнь. Прошло совсем немного времени, и вслед за третьим лже-Себастьяном возник четвертый.

Кто он был такой, опять же неизвестно, имя его составляет одну из его тайн, но из всех четверых ему удалось добиться наибольших успехов. Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, этот человек явился из небытия не в Кастилии и не в Португалии, как предыдущие трое, а далеко за пределами Пиренейского полуострова, где испанским шпионам не так-то просто было его захватить. Во-вторых, он воспользовался тем, что в 1598 году в страшных мучениях, невыносимо страдая от вскрывшихся по всему телу язв, умер главный враг португальской независимости — Филипп II.

Сразу же после его смерти король Себастьян, исчезнувший в Африке ровно двадцать лет назад, объявился на берегах Адриатики, в Республике Святого Марка, и очень скоро сумел заинтересовать собой венецианский сенат. Это был человек уже немолодой (к тому времени настоящему Себастьяну должно было исполниться 44 года), неплохо образованный и достаточно сведущий в европейской политике, чтобы понимать, что со смертью Филиппа II мгновенно осмелеют все явные и тайные враги испанского короля. Их было немало, и Венеция принадлежала к их числу: ее, «Яснейшую Синьорию», давно беспокоили попытки Мадрида расширить свои владения в Италии. В этой ситуации венецианцам пришлось весьма кстати «португальский король», якобы бежавший из испанской тюрьмы. Его можно было использовать как козырь в партии с новым хозяином Испанского королевства, далеко не столь опасным, как его предшественник на троне.

Ватикан тоже проявил большой интерес к самозванцу, поскольку римский папа Климент VIII в то время

оспаривал у Мадрида права на Феррару. Двадцать лет назад из Рима в Португалию было отправлено 600 солдат, которые участвовали в «крестовом походе» в Африку, и теперь, по-видимому, кто-то из оставшихся в живых ветеранов битвы при Алькасар-Кивире подтвердил подлинность «короля Себастьяна». Подобные случаи не редкость в истории самозванцев, особенно когда нужно опознать человека, виденного много лет назад. Человек невольно идет навстречу ожиданиям окружающих, которые жаждут не правды, а чуда.

Не исключено, что сам лже-Себастьян IV участвовал в африканской кампании 1578 года и мог уснастить свой рассказ реальными подробностями этого трагического похода. В общем, чудо свершилось — ему отчасти поверили, отчасти сделали на него ставку в международной игре с участием Венеции, Ватикана и, наконец, Франции, вечной соперницы Габсбургов. Парижу было выгодно все, что ослабляло Мадрид. В эти годы Сюлли, министр французского короля Генриха IV, писал, что Испания должна стать *одним из королевств Пиренейского полуострова*. Вторым, следовательно, предстоит стать Португалии. Как же при таком подходе было не заинтересоваться столь вовремя подвернувшимся самозванцем! Настоящий он Себастьян или нет, было, собственно говоря, не так уж и важно.

Фантастическая история исчезнувшего и вновь обретшего реальность португальского короля облетела всю Европу. Всюду ее воспринимали как сенсацию, но конечно же самое сильное впечатление она произвела на самих португальцев. Из Италии, где обосновался «король», слухи доходили в Португалию, обрастая все новыми и новыми деталями. «Себастианисты» воспряли духом. Из рук в руки передавались листы с описанием примет, по которым можно будет узнать короля, когда он наконец явится на родину.

Приметы были следующие:

1. Правая кисть больше левой.
2. Правая рука длиннее левой.
3. Тело от плеч до талии очень коротко, так что его

камзол не может служить никакому другому человеку такого же роста.

4. От талии до колен расстояние очень большое.

5. Правая нога длиннее левой.

6. Правая ступня больше левой.

7. Пальцы ног почти одинаковой длины.

8. На мизинце правой ноги имеется бородавка, похожая на шестой палец.

9. Высокий подъем ноги.

10. На одном плече знак размером с португальский винтен¹.

11. На правом плече около шеи черный знак величиной с ноготь.

12. Веснушки на лице и на руках, но едва различимые, так что если не знать о них, то заметить невозможно.

13. Левая сторона тела короче правой, но это почти незаметно.

14. Отсутствует один зуб с правой стороны нижней челюсти.

15. *Тайный знак.*

16. Еще более *тайный знак*, о котором будет объявлено в нужное время.

Кроме того, указывались дополнительные приметы: длинные пальцы и ногти на руках, характерная для представителей династии Габсбургов оттопыренная нижняя губа (по матери Себастьян был внуком императора Карла V) и полученные в Африке шрамы — от аркебузы, от раны на голове и на левой брови.

Столь подробное описание внешности короля, во многом, кстати, совпадавшее с подлинными его приметами, создавало впечатление, что оно сделано с натуры, то есть с живого Себастьяна, и вызывало доверие к себе. Очень может быть, что автором этого реестра явился не кто иной, как сам лже-Себастьян IV, описавший внешность не только того, чье имя он возложил на себя, но и свою собственную. Не случайно в списке фигурируют «тайные знаки» на теле. Это типично для многих само-

¹ «Знак» — родимое пятно, винтен — мелкая монета.

званцев, прежде всего российских. Доказывая, что в их жилах течет царская кровь, самозванцы нередко демонстрировали особой формы родимые пятна, имевшие, как правило, искусственное происхождение.

«Себастианисты» были уверены, что появившегося в Венеции «короля» признали многие европейские монархи, что с их помощью он собирает войско, с которым скоро высадится в Португалии, но, если даже эти слухи имели под собой кое-какую почву, дело не пошло дальше разговоров. В том же 1603 году, когда в руки короля Филиппа III попал добытый его шпионами список примет Себастьяна, испанские дипломаты добились выдачи самозванца. Он был доставлен в Испанию и, подобно его предшественникам, окончил жизнь на эшафоте.

После его гибели вера в скорое возвращение «сокровенного короля» начала слабеть, однако даже еще в 1631 году среди жителей восставшего против испанцев города Эворы ходили слухи о том, что вот-вот к ним придет их законный монарх — сын короля Себастьяна, которому отныне по праву принадлежит португальский престол. Но, в отличие от отца, после своего исчезновения в битве при Алькасар-Кивире сумевшего прожить еще четыре жизни, этот «сын» так никогда и не явился во плоти.

Последний из лже-Себастьянов был казнен в 1603 году, и тогда же в Польше объявился беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, выдававший себя за умершего двенадцать лет назад младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия.

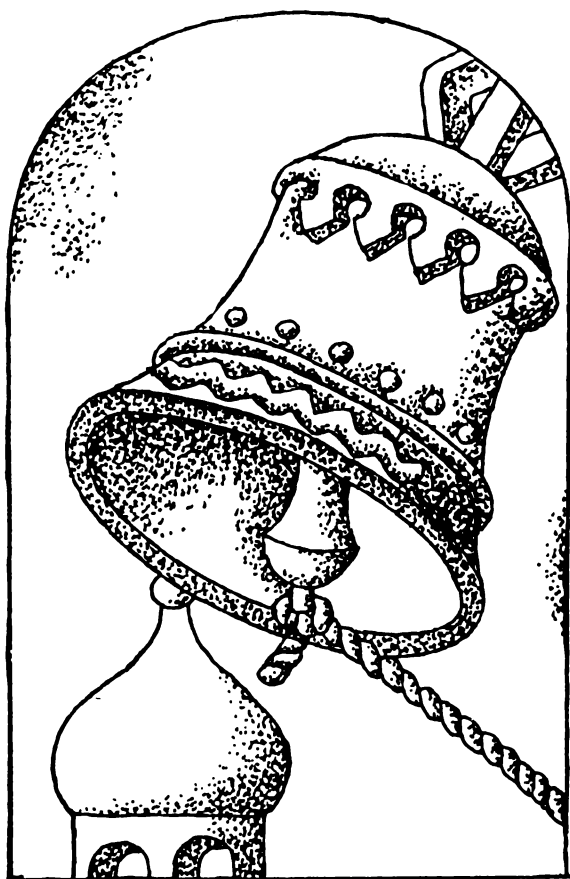
Случайно ли это совпадение во времени?

В Москве в ту пору жило немало иностранцев, от кого-то из них Отрепьев вполне мог услышать невероятную историю об исчезнувшем и обретенном короле, который вынужден был покинуть родину и теперь нашел приют в Венеции. Может быть, она и натолкнула его на мысль бежать за границу, чтобы там объявить себя чудесно спасшимся царевичем?

Кто знает!

Во всяком случае, сходство этих двух фигур было отмечено современниками. Когда папский нунций из Кракова отправил в Ватикан донесение о появившемся в Польше «царевиче Дмитрие», папа Климент VIII, недавно имевший дело с португальским самозванцем, написал на полях полученного письма: «Не новый ли это «король Себастьян»?»

Ведь нам только кажется, что между событиями в Португалии и в России не было ничего общего. На самом деле все в мировой истории связано между собой, все переплетено незримыми нитями, образующими тот непостижимый таинственный узор, который, за неимением лучшего определения, мы называем «духом времени».



ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ — ТЕНЬ ЦАРЕВИЧА

Этот человек был и остается самым, пожалуй, знаменитым из всех, кто когда-либо возлагал на себя чужое имя. Среди десятков и сотен тех, чьи имена для нас начинаются с приставки *лже*-, ни один не может сравниться с ним ни в удаче, ни в славе.

Никто и никогда из *такого* ничтожества не восходил на престол *такого* государства, причем с *такой* стремительностью, что это и поныне кажется чудом.

Никто и нигде не становился причиной *таких* великих потрясений, навсегда оставшихся в народной памяти.

Никто из ему подобных не вдохновил *такое* множество поэтов, драматургов, композиторов, среди которых были Кальдерон, Пушкин, Шиллер, Мусоргский, Метрине.

Об этом человеке написано больше, наверное, чем обо всех остальных самозванцах, вместе взятых, тем не менее жизнь его до сих пор остается во многом загадочной, а судьба — похожей на легенду.

1

Среди бела дня 15 мая 1591 года вдруг ударили в колокол на церкви возле терема угличских князей, где в почетной ссылке жила последняя жена Ивана Грозного, «младшая» царица Мария Нагая с сыном Дмитрием и

целым штатом нянек, мамок и прочей челяди. На колокольне били в набат, угличане со всех концов города повалили на княжеский двор, откуда слышались душераздирающие женские вопли. Многие думали, что начался пожар, но дело оказалось куда страшнее: девятилетний царевич был мертв и, залитый кровью, окруженный голящими женщинами, лежал на руках у своей бывшей кормилицы.

В считанные минуты собралась громадная толпа. Колокол еще продолжал гудеть, когда прискакал боярин Михаил Нагой, дядя царицы. Он был мертвецки пьян, едва держался в седле и, видимо, не вполне отдавал себе отчет в том, что делает. Одно было ему совершенно ясно: со смертью внучатого племянника род Нагих навсегда утратил возможность приблизиться к царскому престолу. При виде обезумевшей царицы, которая избивала поленом не уберегшую мальчика мамку Василису и кричала, что царевича убили, что дьяк Битяговский со своими людьми перерезал ему горло, пьяный и ослепленный яростью Нагой действовал без малейших сомнений, не задумываясь о последствиях.

Битяговский представлял в Угличе центральную власть, то есть власть Бориса Годунова, и в этом качестве был злейшим врагом Нагих. Ведь не кто иной, как Годунов, запретил при богослужениях помянуть Дмитрия в числе членов царской семьи — на том основании, что он рожден в шестом браке Грозного и потому считается незаконнорожденным. При таком подходе рушились надежды Нагих возвести на трон представителя своего рода. Дьяк Битяговский был в Угличе «рукой и оком» Годунова, и, казалось, он-то и должен был погубить царевича по тайному приказу своего патрона. Хотя в момент смерти Дмитрия сам Битяговский мирно обедал у себя дома и, следовательно, имел безусловное алиби, его тут же приволокли на княжеский двор. Сказать что-либо в свое оправдание ему не дали, подстрекаемая Нагими разъяренная толпа растерзала дьяка на месте. Следом были убиты его сын и еще несколько близких Битяговскому людей. Трупы бросили в ров за городской стеной. Затем угличане разграбили их дома, разгромили приказную избу, а царица тем временем велела разыскать некую «жоночку уродливую», которую

раньше сама же приглашала к себе «для потехи», и убить ее, поскольку та якобы наводила на царевича порчу.

Искупительные жертвы были принесены, к утру горожане успокоились, но сам Нагой, проспавшись, на трезвую голову сообразил, что подстрекательство к бунту и расправа с государевым дьяком не пройдут даром ни ему, ни его братьям. Тем более что против Битоговского и других убитых не было, собственно, никаких улик. В отчаянии Нагой решил такие улики сфабриковать, но сделал это самым топорным способом: приказал своим людям зарезать курицу, выпачкать ее кровью несколько ножей и ночью подбросить их на трупы, все еще лежавшие в крепостном рву. Куриная кровь должна была изображать кровь царевича, ножи — орудия убийства, однако наивная хитрость Нагого никого не ввела в заблуждение. Следственная комиссия во главе с боярином Василием Шуйским, спустя четыре дня прибывшая в Углич, без труда установила подложность этих «вещественных доказательств».

Комиссия допросила 140 человек, так или иначе причастных к событиям 15 мая 1591 года, в том числе мамок и нянек царевича, а также дворовых мальчиков, его товарищей по играм¹. В итоге удалось выяснить следующее.

За три дня до смерти, 12 мая, у Дмитрия случился очередной приступ «падучей болезни» — эпилепсии. Это нередко бывало с ним и раньше. В такие минуты он терял сознание и начинал биться в судорогах, с силой впиваясь зубами в руки тех, кто его держал, — однажды, например, в беспамятстве «объел руки» у своей двоюродной тетки, которую «едва у него отняли». В другой раз во время припадка в руке у царевича оказался ножик, и он «поколел» им собственную мать.

К вечеру 14 мая Дмитрию «маленько стало полегче», и на следующий день, вернувшись вместе с сыном из церкви, царица разрешила ему немного погулять на дворе под присмотром кормилицы. С ним было четверо

¹ Протоколы допросов сохранились до наших дней, и все историки, изучавшие их, отвергают версию о насильственной смерти Дмитрия. Слишком безыскусны показания большинства свидетелей, чтобы заподозрить в них намеренную ложь.

мальчиков приблизительно одного с ним возраста — сыновья дворни и «ближних» людей. Когда царица ушла, дети решили поиграть в «тычку». Правила игры состояли в том, что каждый из участников поочередно метал нож, целясь в «кольцо» — в начерченный на земле круг, в который нужно было попасть, самому оставаясь за чертой. Перед тем как метнуть нож, его брали острием вверх, и вот тут-то у мальчика вновь начался эпилептический припадок. Очевидцы показали: «Бросило его на землю, и царевич сам себя поколол ножом в горло». Это же утверждали и «ребятки», и находившаяся неподалеку кормилица, расходясь лишь в том, в какой именно момент произошла трагедия. Одним показалось, что царевич, падая, еще в воздухе наткнулся на зажатый у него в руке нож; другие говорили, что он поранился уже на земле, когда бился в конвульсиях.

На первый взгляд кажется странным, что небольшая ранка от детского ножика привела к смерти, но ничего необычайного тут нет: на шее, под самой кожей, находятся сонная артерия и яремная вена, и при повреждении любого из этих сосудов смертельный исход неизбежен. С той лишь разницей, что прокол яремной вены влечет за собой мгновенную смерть, а при кровотечении из сонной артерии агония может затянуться.

Вернувшись в Москву, комиссия Шуйского доложила результаты расследования перед Боярской думой. Приговор мятежникам был суров: у Нагих конфисковали имущество и заточили в темницу, а «младшую» царицу, мать Дмитрия, постригли в монахини, после чего отправили в отдаленный скит на Белоозеро. Хуже всего пришлось участвовавшим в бунте «мужикам»-угличанам. Пострадало около двухсот человек: одних казнили, других били кнутом и разослали по тюрьмам, третьих переселили в сибирский городок Пелым. Наказанию подвергся и большой угличский колокол, звонивший в день смерти царевича и, как посчитали, виновный в том, что звал горожан к мятежу: у колокола вырвали язык и урезали «ухо», затем сослали его в Сибирь.

Но в столице упорно толковали, что все происшедшее в Угличе «подстроено Годуновым», который таким образом расчищает себе дорогу к престолу. Эти слухи распускали противники Годунова, им-то прежде всего и

выгодна была смерть Дмитрия. Подобные обвинения для Годунова были куда более серьезным препятствием на пути к трону, чем рожденный в шестом браке царевич, чьи права на престол представлялись весьма спорными.

Но даже люди, не желавшие верить в случайную смерть Дмитрия, не сомневались в том, что он действительно мертв. Время для таких сомнений еще не наступило. Когда же оно пришло, никто уже не вспоминал, что младший сын Ивана Грозного был похож на отца, отличался недетской жестокостью и вряд ли, взойдя на трон, составил бы счастье своих подданных.

2

Спустя одиннадцать лет, весной 1602 года, в Киево-Печерском монастыре появились двое чернецов из Москвы: они пришли сюда подобно десяткам и сотням странствующих монахов, которые без особых хлопот в обе стороны пересекали границу между Русским государством и Речью Посполитой. Эти двое имели, видимо, при себе кое-какие средства, так что им позволили остаться в монастыре. Недели через две один из чернецов заболел. Ему становилось все хуже и хуже, и, наконец, чувствуя приближение смерти, он захотел исповедаться, причем настаивал на том, чтобы его исповедь принял не кто-нибудь, а сам игумен. Тот согласился исполнить просьбу умирающего. Они остались наедине, и тогда московский чернец открыл ему «великую тайну». Потрясенный игумен услышал, что перед ним, оказывается, лежит скрывшийся под монашеским клобуком царевич Дмитрий Иванович, младший из сыновей Ивана Грозного.

Рассказанная им история была такова.

Его, Дмитрия, спас некий итальянский доктор, состоявший при нем с раннего детства. Когда Борис Годунов еще при жизни царя Федора Ивановича сосредоточил в своих руках всю власть и начал мечтать о царском престоле, итальянец понял, что рано или поздно царевича ждет гибель от руки предателя или подосланного наемного убийцы. Тогда он отыскал мальчика, бывшего

одних лет с царевичем и похожего на него, и на всякий случай держал его при себе. Затем, узнав о готовящемся преступлении, доктор каждый вечер, после того как оба ребенка засыпали, стал менять их местами: царевича переносил в собственные покои, а на его постель клал этого мальчика. Ему-то, однажды ночью вломившись в спальню наследника, убийцы и перерезали горло. Подмены не заметил никто, даже мать-царица, потому что лицо убитого было сильно обезображено. Настоящий же царевич остался жив, итальянец спрятал его у верных людей, выдавая за своего сына, и позднее, умирая, наказал ему принять иноческий чин, ибо за монастырскими стенами легче укрыться от годововских соглядатаев. Он, Дмитрий, так и поступил, жил по разным обителям, а теперь пришел в Киев и решил открыть эту тайну, чтобы не унести ее с собой в могилу.

Но игумен быстро понял, что его дурачат и московский чернец, выдающий себя за царевича Дмитрия, вовсе не собирается умирать. Комедия была разыграна им с единственной целью: изложить свою легенду не в обычном разговоре, а в такой ситуации, которая способна придать убедительность его рассказу. В устах умирающего эта фантастическая история выглядела несколько более правдоподобно, чем если бы она была рассказана при других обстоятельствах. Болезнь чернеца была, само собой, чистейшим притворством: на следующий день или чуть позже он объявил бы, что ему стало лучше, и начал с нетерпением дожидаться последствий своей «исповеди». Расчет был на то, что игумен Киево-Печерского монастыря — фигура влиятельная, при его посредничестве можно завязать отношения с кем-нибудь из украинских православных магнатов, которые в свою очередь могли бы доложить о «царевиче» польскому королю.

Затея имела смысл, однако из нее ничего не вышло. В царское происхождение чернеца игумен не поверил, докладывать о нем не захотел и просто-напросто выгнал его из монастыря.

Потерпев фиаско, тот не успокоился. Попытки найти себе покровителя были продолжены, и вскоре о появившемся на Украине самозванце узнали в Москве. Там произвели сыск, в результате которого довольно быстро установили, что этот чернец — не кто иной, как

беглый монах Чудова монастыря Григорий, в миру — Юрий (Юшка) Отрепьев.

Он родился в 1580 году или немного раньше. Его отец, Богдан Отрепьев, служил в стрелецких войсках, дослужился до сотника, получил небольшое поместье под городом Галичем неподалеку от Костромы и был убит в Москве, в уличной драке. После его смерти Юшка остался «млад зело». Мальчика воспитывала мать Варвара. Обучив сына грамоте, она из Галича отправила его в столицу, где жил его дядя, Смирнов-Отрепьев, имевший чин стрелецкого головы. Тот, видимо, пристроил племянника в одну из школ, существовавших при московских приказах, и здесь Юшка усвоил изящный почерк, немало способствовавший его карьере. Вообще учение давалось ему легко, он много читал и, вероятно, хорошо запоминал прочитанное. Современники знали о его даровитости, причем даже высказывали сомнение в том, что подобными талантами может обладать человек, не вступивший в союз с дьяволом. Одно это доказывает, что способности Отрепьева были много выше среднего.

Вскоре он поступил на службу к боярину Михаилу Никитичу Романову и пользовался полным доверием своего господина. Это едва его не погубило, когда Борис Годунов обвинил Михаила Никитича в подготовке заговора с целью захватить престол. Тот был отправлен в ссылку, опале и заточению подверглись многие его родственники и приближенные. Та же участь, похоже, грозила и Отрепьеву, но он сумел ее избежать и осенью 1600 года, в разгар репрессий против Романовых, принял постриг и стал монахом монастыря, расположенного в Кремле, под окнами царских теремов. Здесь его способности были оценены по достоинству. Юношу взяли переписчиком в книжную мастерскую при патриархе Иове, затем он стал одним из секретарей патриарха. Не исключено, что Отрепьев даже посещал заседания Боярской думы, куда Иов обычно являлся с целым штатом помощников. Во всяком случае, сделавшись через четыре года полновластным хозяином Кремля, Отрепьев с первых же дней выказывал прекрасное знание придворных порядков и правил этикета. Возможно, все это он изучал намеренно, с прицелом на будущее.

По словам современника, он уже тогда «начал в сердце своем помышляти, как бы ему достигнуть царского престола».

Но в точности мы не знаем, когда именно у Отрепьева родилась мысль объявить себя царевичем Дмитрием, как не знаем и о том, почему он внезапно оставил свою должность при патриаршем дворе и отправился странствовать по Руси с котомкой бродячего монаха. Позднее в Москве утверждали, что «богомерзкий Гришка» был уличен в колдовстве и в «чернокнижии» и скрылся, чтобы избежать заточения. Это обвинение могло быть и ложным, но полностью исключить его нельзя. Тем более что под «чернокнижием» тогда могли понимать все что угодно, вплоть до изучения иностранных языков.

Зато достоверно известно, что вместе с ним ушли из Москвы два других чудовских инока — Варлаам и Мисаил, один из которых добрался с Отрепьевым до Киево-Печерской обители. Не исключено, что эти двое и сманили младшего товарища бежать за границу, подсадив ему мысль назваться царевичем Дмитрием, поскольку сами по возрасту не годились на эту роль.

Как бы то ни было, поздней осенью 1601 года Отрепьев покинул Москву, к весне появился в Киеве и после того, как киево-печерский игумен выгнал его из монастыря, попытал счастья у князя Острожского, открыв ему ту же самую «великую тайну». Результат был тот же: князь велел своим гайдукам вытолкать «царевича» за ворота.

Помыкавшись, Отрепьев прибил к арианам¹ и около года провел в одной из созданных ими школ на Волыни, где изучал арианские трактаты, а заодно — польский и латинский языки, что было для него гораздо важнее. Возможно, ариане и посоветовали ему обратиться за помощью к князю Адаму Вишневецкому. Тот владел громадными вотчинами в русско-польском пограничье и был человеком настолько могущественным, что вел собственную войну с Москвой из-за спорных городков на левом берегу Днепра. В этих обстоятельствах

¹ Ариане — польские протестанты, по-своему толковавшие ряд католических догматов. Их сторонники имелись в то время даже в Запорожской Сечи.

самозванец пришелся ему как нельзя более кстати. Вишневецкий подарил ему роскошное платье, дал свиту, велел всюду возить в карете и начал собирать для него казачье войско. Одновременно он отправил королю Сигизмунду III письмо с подробным изложением рассказанной «царевичем» истории. От той, которую услышал киево-печерский игумен, она отличалась в трех пунктах.

1. Мальчик, убитый вместо Дмитрия, был его двоюродный брат.

2. Родители не хватились этого мальчика, потому что в день смерти «царевича» разъяренная толпа убила еще 30 детей, справив по нему кровавую тризну и обеспечив ему товарищей на том свете.

3. «Царевич» бежал в Польшу после того, как некий монах по осанке и внешности признал в нем царского сына.

Письмо произвело впечатление на короля, однако он запретил Вишневецкому собирать казачьи отряды и распорядился доставить «царевича» к себе, чтобы познакомиться с ним поближе. Отрепьева повезли в Краков, и вот тут-то, по дороге, его перехватил новый покровитель — сандомирский воевода и староста львовский и самборский Юрий Мнишек. Он уже знал о самозванце и решил использовать его в собственных интересах. Появление Отрепьева в Самборе не было случайностью: его тут ждали и встретили воистину по-царски.

Стоял февраль 1604 года, поля были покрыты снегом. Когда карета, сопровождаемая полудесятком всадников, прогрохотала по мосту и въехала во внутренний двор воеводского замка, сидевший в ней беглый чудовский монах еще не знал, что в эти минуты решилось его будущее, что через год с небольшим он станет царем, через два года — пеплом. Он и не подозревал, что встретит здесь женщину, которой суждено стать его женой и едва ли не самой существенной причиной его гибели.

Ее имя было Марина Мнишек, сейчас она скрывалась где-то в замковых покоях или стояла у окна, глядя на въезжающих в ворота верховых, на запорошенную февральским снежком карету, и тоже не знала, что сегодняшний гость сделает ее московской царицей, что ей предстоит один раз выйти замуж, но овдоветь дважды; что ее первого избранника убьют и тело его сожгут на

костре, второго — изрубят в куски, третьего — посадят на кол, что ее трехлетний сын умрет в петле, а она сама — в плену, на чужбине, за сотни верст от родного гнезда.

3

В то время Самбор был окружен непроходимыми лесами и служил польским аванпостом, выдвинутым на юг, против турок и крымских татар. Чуть в стороне от города, на левом берегу Днестра, величественно возвышался замок — резиденция Мнишека. Внутри его мощных стен располагался воеводский дворец со службами, церковь и небольшой сад.

Хозяин замка был уже немолод, честолюбив, хитер, нечист на руку, славился набожностью и неумной любовью к роскоши во всех ее видах. Поговаривали, что когда тридцать лет назад, после смерти короля Сигизмунда II Августа, из дворца таинственно исчезли все драгоценности, дело тут не обошлось без Юрия Мнишека, который был последним королевским фаворитом. Тогда он едва сумел избежать судебного разбирательства, а теперь ему вновь грозили судом, правда по другому поводу. Мнишек должен был выплачивать в казну собираемые им подати, но платил много меньше, чем полагалось. За несколько лет за ним накопился громадный долг. Незадолго до того как Отрепьев прибыл в Самбор, потерявший терпение король пригрозил воеводе конфискацией имущества, и теперь с помощью самозванца Мнишек рассчитывал поправить свои финансовые дела.

Он знал, что Сигизмунд III мечтает о походе на Восток, чтобы подчинить русскую церковь власти Ватикана. Кроме того, будучи изгнанным из Стокгольма сыном шведского короля, он хотел превратить Москву в плацдарм для борьбы со Швецией. С появлением «царевича Дмитрия» перед Сигизмундом III открывались блестящие перспективы, но руки у него были связаны заключенным три года назад мирным договором с Борисом Годуновым. Нарушить его — значило переступить собственную, принесенную на Евангелии присягу, а становиться клятвопреступником королю не хотелось. Вдоба-

вок не все магнаты в Речи Посполитой одобряли его воинственные планы. Имелась и влиятельная «партия мира», к голосу которой король вынужден был прислушиваться. На этой-то двойственности его положения Мнишек и строил свои расчеты. Он хотел заручиться поддержкой Сигизмунда III, после чего целиком взять на себя организацию похода «царевича» на Москву, с тем чтобы король формально остался в стороне, но в случае успеха мог бы воспользоваться плодами победы. Мнишек надеялся, что ему позволено будет снарядить военную экспедицию в счет его долга казне, и справедливо полагал, что при воцарении самозванца все расходы окупятся с лихвой.

Дело было за малым — добиться одобрения Сигизмунда III. Иначе вся авантюра лишалась смысла. Поэтому, когда Отрепьев, находясь в Самборе, попросил у Мнишека руки его дочери Марины, воевода благосклонно отнесся к его просьбе, но обещал дать окончательный ответ лишь после того, как «царевич» побывает на аудиенции у короля. Смысл был тот, что ответ «да» возможен при условии, что король ответит «да» на предложение самого Мнишека.

Ухаживания гостя за дочерью он, видимо, поощрял, а то и провоцировал из честолюбивого желания видеть свою дочь на московском престоле и в расчете на связанные с этим чисто материальные блага. Да и Отрепьев, добываясь руки юной воеводинки, хотел установить более тесные отношения с ее отцом, от которого всецело был зависим. Тем не менее им двигал не один голый расчет. Кажется, он в самом деле был неравнодушен к Марине.

По сравнению с русскими женщинами — молчаливыми, скупыми в проявлении своих чувств, укутанными в платки, одетыми в скрывающие фигуру сарафаны — молодые полячки из шляхетской среды должны были представляться Отрепьеву какими-то волшебными феями. Молодой человек, темпераментный и горячий, к тому же лишь недавно сбросивший монашескую рясу, наверняка он был пленен этими очаровательными созданиями. Но смел ли он надеяться на их внимание? Вряд ли. Он был невысокого роста, некрасив, угрюм, не

мог похвалиться ни образованием, ни изящными манерами.

Вспомним Гоголя, ту сцену из «Тараса Бульбы», где бурсак Андрий впервые видит перед собой дочь ковенского воеводы:

«Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накиннула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которую отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи».

Может быть, и Юшка Отрепьев, стрелецкий сын, переживал нечто подобное, оставшись наедине с дочерью сandomирского воеводы?

Раньше, у Вишневецкого, он был только хозяйской куклой, тамошние панны и паненки не принимали его всерьез, а Марина часто с ним говорила, гуляла и вообще проявляла к нему неподдельный интерес. Одно это могло свести его с ума.

Мы не знаем, был ли ей хоть сколько-нибудь симпатичен этот молодой москвит, или ее манил только блеск царской короны. Верила ли она в его царственное происхождение или сердцем понимала, что что-то здесь не так? Или, послушная дочь, просто повиновалась воле отца, который велел ей быть поласковее с гостем и не отвергать его ухаживаний? Последнее наиболее вероятно, ведь Марине было тогда всего пятнадцать лет.

Сохранилось несколько ее портретов, и на большинстве из них она не кажется красавицей. Узкое лицо, жесткие черные волосы, чересчур длинный нос, выдвинутый вперед мужской подбородок — все это вместе с тщедушной фигурой вызывает сомнения в том, что Отрепьев был так уж страстно влюблен в Марину. Однако его могли пленить в ней живость ума, прелесть мимики и движений — словом, то, что ускользает от кисти ху-

дожника. Элементарное девичье кокетство тоже не стоит сбрасывать со счетов. Да и если взглянуть на самый ранний из ее портретов, изящество и грация сквозят во всем облике этой полуженщины-полуребенка. Хотя и здесь твердая складка тонких, капризно изогнутых губ говорит о властном и своевольном характере.

В отцовском доме Марина была всеобщей любимицей. Она почти не знала света, ее мир был ограничен стенами замка, редкими выездами в город, прогулками по берегу Днестра, но в тот момент, когда недавний московский инок предложил ей руку и сердце, перед пятнадцатилетней девушкой открылось темное и грозное будущее. Скоро выяснилось, что в этом нежном теле живет душа воительницы.

4

15 марта 1604 года Отрепьев был представлен Сигизмунду III. Аудиенция состоялась в Кракове, в Вавельском замке. Присутствовавший на ней папский нунций Рангони отметил, что самозванец испытывал сильное смущение и робость и дрожал всем телом, когда излагал королю историю своих злоключений.

Поначалу, получив письмо Вишневецкого, Сигизмунд III, сам когда-то вынужденный бежать из родной Швеции, был глубоко взволнован судьбой русского царевича, который в нищенском одеянии бродит по Руси и питается подаянием, выпрашивая себе кусок хлеба. Позднее, однако, все это стало казаться как-то подозрительно. Коронный гетман Замойский, зло высмеивая сочиненную самозванцем историю, указал королю на ряд содержащихся в ней несообразностей. Почему, спрашивал он, после смерти Дмитрия горожане убили тридцать ни в чем не повинных детей? Как это мать могла ошибиться и принять чужого ребенка за своего мертвого сына? Каким образом незнакомый монах признал в Дмитрии царевича, если никогда прежде его не видел? Как так случилось, что никто не донес Годунову о скрывшемся из Углича итальянском докторе? И т. д.

Но сейчас вопрос о подлинности царевича занимал короля далеко не в первую очередь. Кем бы ни был этот

человек, следовало решить, стоит делать на него ставку или нет.

Когда Отрепьев закончил свою речь, король ненадолго выслал его из залы, а сам тем временем переговорил с Рангони, которого высоко ценил и к советам которого всегда прислушивался. Затем король вновь пригласил «царевича» к себе и в довольно туманных выражениях обещал ему свое покровительство. Отрепьев был бледен, от страшного напряжения не мог вымолвить в ответ ни слова и лишь низко кланялся.

Никаких других, более конкретных заявлений король не сделал, но Мнишеку ничего больше и не требовалось. Он добился всего, чего желал: те 4 тысячи злотых, которые он задолжал казне, ему позволено было использовать на подготовку военной экспедиции Дмитрия — при условии, что тот обратится в католичество.

Мнишек ликовал. Спустя несколько дней он устроил в Кракове пышный банкет для избранной публики. «Царевич» присутствовал на нем инкогнито. Его представили гостям как человека из свиты Дмитрия, но ни для кого не составляло секрета, кто он на самом деле такой, все взоры были устремлены на него.

Рангони находился в числе приглашенных. В одном из своих донесений в Рим он писал: «Дмитрий имеет вид хорошо воспитанного молодого человека. Он смугл лицом, очень большое пятно заметно у него на носу, вровень с правым глазом¹; его тонкие белые руки указывают на благородство происхождения; его разговор смел; в его походке и манерах действительно есть нечто величественное».

Другие современники Лжедмитрия I описывали его менее лестно. Если суммировать их впечатления, перед нами предстает человек с выразительной, запоминающейся, но малопривлекательной наружностью. Приземистый, ниже среднего роста. Очень широкий в плечах, с могучей грудью и почти без талии. Его руки имели разную длину и отличались необыкновенной силой (позднее, уже будучи царем, он однажды в одиночку вышел с рогатиной на медведя и убил его). Лицо круг-

¹ Судя по портретам, это скорее большая родинка у переносицы.

лое, безбровое. Нос башмаком, с расширением на конце. Глаза маленькие, но взгляд тяжелый. Вообще в чертах лица заметна грубость и страстность.

Спустя месяц после банкета (излишняя поспешность выглядела бы неприлично) Отрепьев принял причастие по католическому обряду, после чего они с Мнишеком вернулись в Самбор. Здесь были определены условия, на которых воевода согласился помогать самозванцу. Тот обещал своему благодетелю следующее: взойдя на престол, немедленно жениться на Марине, выдать Мнишеку из казны миллион золотых, передать жене в вечное владение Новгород и Псков, а также в течение одного года (в крайнем случае — двух лет) обратить в католичество все Московское царство.

Эти обязательства Отрепьев дал в письменном виде, скрепив их своей подписью и печатью, однако впоследствии, став царем, из всех своих обещаний выполнил единственное — женился на Марине.

Прямо сейчас выдать за него дочь воеводы не рискнул. Мало ли как могло обернуться дело? Да и обоим было не до свадебных приготовлений, следовало как можно скорее собрать войско для похода на Москву. Волонтерам сулили хорошее жалованье, скоро в Самбор начали стекаться наемники. Приходили и ветераны армии Стефана Батория, воевавшие еще с Иваном Грозным, и шляхта, и всякий сброд. Гонцы «царя Дмитрия» появились на Дону и в Запорожской Сечи. Казаки откликнулись охотно. Они уже не раз добывали трон для различных претендентов на него в Молдавии и Валахии, где всегда было много самозванцев — «цариков», как их называли на Украине. Донцам и запорожцам было, в общем-то, безразлично, кому служить — подлинному царевичу или мнимому.

Наконец войско было собрано, возглавил его сам Мнишек. Под его началом находилось около 2500 бойцов, из них 600 гусар, 500 пехотинцев и 1500 казаков.

Москва требовала от короля, чтобы тот запретил Мнишеку поддерживать «вора». В Краков с секретной миссией прибыл родной дядя самозванца, стрелецкий голова Смирнов-Отрепьев. Как личный представитель Годунова он был на аудиенции у короля и просил об одном — позволить повидаться с «царевичем Дмитри-

ем». Если тот окажется его племянником, Смирнов-Отрепьев клялся наставить Юшку на путь истинный, если нет — пасть ему в ноги и признать своим государем. О его желании дали знать в Самбор, но Отрепьев, разумеется, под каким-то предлогом увильнул от свидания с дядей. Тому пришлось ни с чем возвращаться в Москву.

Чтобы снять с себя ответственность на случай провала затеянной Мнишеком авантюры, Сигизмунд III направил ему письмо с приказом распустить наемников. Этот факт предали широкой огласке, но лишь немногим было известно, что отосланному в Самбор гонцу велено было в дороге не слишком-то спешить. В итоге он прибыл на место, когда войско уже выступило в поход.

По пути на восток оно увеличилось чуть ли не вдвое за счет стекавших отовсюду казачьих отрядов и шляхты, и к берегам Днепра подошло около 4 тысяч человек. В сентябре переправились через Днепр, а спустя еще две недели, 13 октября 1604 года, самозванец развернул на границе свое знамя — красное, с нашитым посередине черным двуглавым орлом. В истории России открылась новая страница, написанная огнем и кровью.

5

Двадцать лет Борис Годунов управлял Россией, из них последние шесть — как самодержец. Это был мудрый и опытный государственный деятель, не затевавший безрассудных войн, заботившийся о процветании страны и о благе подданных, но так и не сумевший добиться их любви.

Бояре ненавидели его за то, что он ограничил права Боярской думы и стремился к единоличной власти.

Крестьяне помнили, что при нем был отменен Юрьев день¹, но забывали, что он же впоследствии попытался его частично восстановить.

Дворяне помнили второе, но забывали первое.

Для духовенства он был чуть ли не еретиком, ибо

¹ Юрьев день — несколько дней в ноябре, в течение которых крестьянин имел право перейти от одного помещика к другому.

много общался с иноземцами, хотел выдать дочь замуж за датского принца, отправлял русских людей учиться в Европу, поощрял брадобритие, зато к традиционному отечественному винопитию склонности не имел.

Он не был ни тираном, ни извергом, но его считали и тем, и другим. Он, в сущности, являлся законным государем, избранным по приговору Земского собора, но в нем видели узурпатора престола.

Ему ставили в вину все, что бы он ни делал, — и хорошее, и дурное. К тому же его преследовал какой-то злой рок: во время его царствования на страну обрушилось множество несчастий. Самым страшным из них стал невиданный доселе трехлетний неурожай.

«В 1601, 1602 и 1603 годах в стране была такая дороговизна, голод и нужда, — писал шведский дипломат Пер Персон, — что умерло несколько сотен тысяч человек. Многие в городах лежали мертвые прямо на улицах, многие — на дорогах и в полях, с травой или соломой во рту. Многие ели кору, траву или корни и тем утоляли голод. Многие ели навоз и отбросы. Многие лизали с земли кровь, которая вытекала из убитых животных. Многие ели конину, кошек и крыс. Ели и еще более ужасную пищу — человеческое мясо. Родители не щадили детей, дети — родителей. В больших семьях доходило до того, что брали самого толстого, убивали его, варили или жарили и поедали. Я сам видел в Москве, как одна обессилевшая женщина, несшая своего маленького сына, схватила его за руку, откусила от нее два куска мяса, проглотила их и опустилась на землю. Она, наверное, загрызла бы ребенка, если бы его у нее не отняли. Никто не осмеливался открыто продавать на рынке хлеб, потому что его тут же расхватывали нищие. Одна мера ржи стоила 19 талеров, тогда как раньше она стоила 12 эре. Люди продавали сами себя за гроши. Родители продавали детей, мужа — жен...»

Даже в голоде винили Годунова, хотя тот распахнул царские закрома и ввел хлебные раздачи в Москве и других городах. Когда неурожай случился при Иване Грозном, тот и пальцем не пошевелил, чтобы помочь голодающим, тем не менее народ прощал ему все, ибо он был «прирожденный» царь. Годунову же не прощали ничего и ничто не ставили ему в заслугу.

Считалось, что «за государское прегрешение Бог всю землю казнит», то есть наказывает подданных согрешившего государя. Чем сильнее свирепствовал голод, тем чаще вспоминали царевича Дмитрия, убитого якобы по приказу Годунова. Когда же стало известно, что он жив, народ с нетерпением начал ждать появления «добрého царя». Верили, что, как только он займет престол, разом прекратятся все несчастья, и эта вера сделалась грозным оружием в руках самозванца.

Годунов прекратил все отношения с Польшей. Под предлогом борьбы с эпидемией на всех дорогах выставлены были заслоны, никого не пропускавшие на Русь, но полицейские меры оказались бессильны. Слухи о скором приходе «истинного царя» распространялись все шире. Беглые холопы собирались в ватаги, казаки седлали коней и точили сабли.

Едва войско самозванца пересекло границу, к нему начали присоединяться крестьянские и казацкие отряды. В Чернигове и в Путивле вспыхнули восстания, горожане вязали годуновских воевод и открывали самозванцу городские ворота. В Путивль, ключевую крепость всей линии южнорусских оборонительных рубежей, он въехал под колокольный звон, встречаемый приветственными кликами: «Встает наше красное солнышко! Ворочается к нам Дмитрий Иванович!» Устоял только Новгород-Северский. Воевода Басманов умело оборонялся, в первом же приступе казаки и поляки потеряли до полусотни человек. Даже когда Мнишек подтянул артиллерию и до основания разрушил деревянные стены крепости, его солдаты не смогли захватить город.

Но в целом Годунов был застигнут врасплох. О военных приготовлениях самозванца в Москве знали, однако никто не предполагал, что «вор» начнет войну в октябре, в разгар осенней распутицы. Спешно объявили сбор дворянского ополчения, но из-за той же распутицы дело подвигалось медленно, лишь в декабре царское войско во главе с воеводой Мстиславским подошло к Новгороду-Северскому, возле которого Мнишек застрял более чем на месяц.

Мстиславский располагал армией примерно в 25 тысяч воинов, а вместе с вооруженной дворянской челядью ее численность доходила до 40—50 тысяч. У

Мнишека было много меньше, но воеводы Годунова действовали вяло и нерешительно. Несколько дней оба войска стояли друг против друга, наконец 21 декабря польские гусары стремительно атаковали правый фланг противника. Мстиславский в беспорядке отступил, потеряв около 4 тысяч человек убитыми и ранеными (потери поляков составили всего 120 человек).

Отрепьев торжествовал, еще не подозревая, чем обернется для него этот успех. Тем временем победители потребовали выплатить причитающееся им жалование. Их уговорили подождать несколько дней, но к назначенному сроку раздобыть денег не удалось, и 1 января наемники подняли мятеж. Лагерь был разграблен, большая часть поляков покинула его и ушла на запад. Напрасно Отрепьев падал перед ними на колени, умоляя еще немного повременить. С него сорвали соболью ферязь, вырвали знамя. Кто-то предрек ему на прощание: «Ей-ей, быть тебе на колу!»

Лишившись лучшей, самой боеспособной части своего войска, Мнишек решил, что все кончено, надеяться больше не на что, и спустя три дня тоже бежал в Польшу.

Но Отрепьев остался. В этой ситуации он проявил твердость и был вознагражден: вскоре на помощь к нему подошли 4 тысячи запорожцев, несколько сотен донцов и несколько тысяч вооруженных чем попало русских и украинских крестьян. Вместе с той частью польской кавалерии, которую ему все-таки удалось удержать при себе, это была серьезная сила. Отрепьев принял на себя общее командование, а своим ближайшим помощником назначил поляка Дворжецкого, даровав ему чин гетмана. Отныне бывший чудовский монах выступил в новой роли: из марионетки Мнишека он превратился в вождя повстанческой армии.

Мстиславский между тем был неподалеку. Он уже оправился от поражения, вдобавок получил подкрепление, в том числе наемную иноземную пехоту во главе с французским капитаном Маржеретом. Новая битва разыгралась 21 января 1605 года вблизи Рыльска. Дворжецкий решил повторить маневр, который месяц назад принес полякам победу, и в конном строю атаковал правый фланг московского войска. Впервые за три ме-

сяца войны Отрепьев сам поскакал в атаку рядом с Дворжецким, но на этот раз удача им изменила. Враг не дрогнул; напротив — почти одновременно залп 10 тысяч ружейных стволов поверг в ужас польско-казацкую конницу и обратил ее в бегство. Под Отрепьевым была убита лошадь, сам он едва не попал в плен.

Мстиславский захватил на поле боя 15 знамен, всю артиллерию, весь обоз, повесил всех пленных крестьян и казаков, но главного «вора» упустил. Занятые самозванцем крепости устояли; «злодейственные гады», как называли в Москве повстанцев, сохранили верность ему, несмотря на поражение. В Кромах сгорело все, что могло гореть, от стен остались одни головешки, но запорожцы вырыли траншеи по гребню земляного вала и всякий раз встречали наступающих огнем. Отрепьев заперся в Путивле, который московские воеводы осаждали без особого рвения, и от нечего делать брал у состоявших при нем иезуитов уроки философии, литературы и риторики. Он любил поговорить о пользе просвещения, мечтал о том, как заведет на Руси школы, академии и пр., но его собственного прилежания хватило ненадолго: через три дня занятия кончились и больше не возобновлялись.

Тем временем в Москве нашли двоих монахов Чудова монастыря, которые хорошо знали Отрепьева и могли его уличить в самозванстве. В качестве агитаторов они были направлены в Путивль, сумели проникнуть в осажденный город и даже завязать отношения с кем-то из приближенных самозванца. Но в конце концов их схватили. Самих монахов Отрепьев пощадил, а предателей из собственной охраны выдал на расправу горожанам: их привязали к столбам на рыночной площади и расстреляли из луков.

Этот случай, по-видимому, поставил самозванца перед необходимостью каким-то образом продемонстрировать своим соратникам, что он не имеет ничего общего с беглым чудовским монахом Отрепьевым, как то утверждали годуновские лазутчики. В итоге был найден простой, но гениальный в своей простоте выход из положения: Лжедмитрий решил создать лже-Отрепьева.

Находившиеся в Путивле иезуиты записали: «Сюда привезли Гришку Отрепьева, известного по всей Моско-

вии чародея и распутника, и ясно стало для русских людей, что Дмитрий Иванович совсем не то, что Гришка Отрепьев». Правда, те же иезуиты замечают, что привезли его «невесть откуда» и тут же упрятали в тюрьму, с глаз долой. Позднее московские власти утверждали, что этим человеком был бродячий монах, старец Леонид. Так или нет, трудно судить, но, предъявив народу того, кем он будто бы является, самозванец в очередной раз переиграл Годунова в борьбе за души подданных. Это было тем важнее, что на полях сражений обстановка явно складывалась не в его пользу. Мистификация произвела огромное впечатление на повстанцев и жителей Путивля и стала новой победой Отрепьева, приближающей его триумф.

6

Француз Маржерет, начальник отряда иноземной пехоты, хорошо знавший положение дел в Москве, писал: «Прослышав молву, что некоторые считают Дмитрия Ивановича живым, Годунов с тех пор только и делал, что пытал и мучил по этому поводу».

Маржерет несколько сгущает краски: репрессии начались уже после того, как войско самозванца перешло границу, но были действительно массовыми. Людей хватали по малейшему подозрению в том, что они являются сторонниками «вора». На склоне жизни Годунову изменила его обычная уравновешенность, он стал легковерен и подозрителен. В Москве пострадали десятки, а то и сотни людей, обвиненных в сношениях с самозванцем. Иностранцы писали, что стоило лишь человеку произнести имя Дмитрия, как его отправляли в застенки, пытали и вешали или спускали под лед на Москвереке.

Годуновым овладели ярость и отчаяние, вскоре перешедшие в какую-то странную апатию. Всегда деятельный и энергичный, он теперь редко показывался на людях и почти не покидал дворцовых покоев. Жалобщиков и челобитчиков, которых раньше царь охотно выслушивал, теперь разгоняли палками.

Самозванец сидел в крошечном Путивле, со всех

сторон обложенном царскими войсками, и тем не менее чувствовал себя уверенно. Годунов находился в Москве и обладал неограниченной властью, но испытывал страх, понимая, что власть незаметно ускользает из его рук. Он ощущал всеобщую ненависть к себе, но для него было загадкой, почему народ отвернулся от своего законного государя и призывает на престол беглого расстригу, очевидного проходимца и жулика. Понять, в чем тут причина, было выше его сил, оставалось видеть во всем происходящем неисповедимость Божьего промысла. Иногда ему даже начинало казаться, что Дмитрий действительно жив, и он призывал к себе свидетелей его смерти, чтобы еще раз убедиться в обратном.

Вообще характер царя необратимо переменялся, в нем невозможно было узнать прежнего Годунова.

Он никому не доверял, всех подозревал в интригах.

Он сделался скупым в мелочах и сам проверял, запорты и запечатаны ли кладовые со съестными припасами, — вероятно, на тот случай, если придется выдерживать осаду в Кремле.

Он стал по-старчески слезлив, постоянно спрашивал у духовника, можно ли ему надеяться на вечное блаженство на том свете.

За советом он обращался не к Боярской думе, а к прорицателям и юродивым. Из Лифляндии привезли какого-то немецкого астролога, водили во дворец то известную московскую «ведунью» Дарью, то не менее популярную пророчицу Олену, которая, по слухам, предсказала царю скорую кончину.

Кажется, Годунов умер именно потому, что все ждали его смерти.

29 апреля 1605 года он сытно пообедал, но через два часа ему вдруг стало дурно, он прилег и скончался так быстро, что срочно затребованные к умирающему царю монахи едва успели его причастить и надеть на него монашеский клобук. Как все русские государи, он должен был предстать перед Богом в образе смиренного инока, а не грозного земного владыки.

Одни считали, что Годунов был отравлен, другие — что он умер от апоплексического удара.

У царя уже отнялся язык, он хрипел в агонии, когда бояре принесли присягу на верность его сыну. Приго-

товления к коронации велись в чрезвычайной спешке. На четвертый день после смерти отца Федор Борисович был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля, но все понимали, что вряд ли ему удастся долго просидеть на троне.

Спустя еще три дня, 5 мая, перебежчики принесли в Путивль весть о смерти Бориса Годунова. Отрепьев был вне себя от радости. В его лагере царило всеобщее ликование, все надеялись на близкое окончание затянувшейся войны.

Действительно, вскоре главный московский воевода Басманов, герой обороны Новгорода-Северского, появился в Путивле и присягнул «царю Дмитрию Ивановичу». Сообразив, откуда ветер дует, его примеру последовали военачальники. Наконец, в стоявшем под Кромами царском войске вспыхнул мятеж, часть его перешла на сторону самозванца, другая часть попросту разбежалась. Отныне путь на Москву был открыт, в распоряжении Федора Годунова осталось лишь несколько тысяч стрельцов.

На Оке они, правда, сумели остановить отрепьевские авангарды и отбросить их обратно за реку, но это уже ничего не решало. В Москве нарастало волнение, лазутчики самозванца проникали в город, привозили «преlestные листы», то есть прокламации, и почти открыто агитировали в пользу царя Дмитрия. Федор Годунов бессилен был этому помешать. Он безвылазно сидел в Кремле, под охраной стрелецких сотен, а войско Отрепьева, не встречая практически никакого сопротивления, двигалось на север.

1 июня в Москве началось восстание, спровоцированное противниками Годуновых. Ораторы выступали прямо с Лобного места на Красной площади, представители знатнейших боярских родов клялись в верности самозванцу. Толпа выпустила из тюрем всех арестантов и ворвалась в Кремль, но Мария и Федор Годуновы успели укрыться в безопасном месте. Однако даже те, кто помогал им спрятаться, уже не испытывали ни малейшего почтения к вдове и сыну покойного государя: кто-то из сопровождающих по дороге сорвал с царицы жемчужное ожерелье.

Тем временем толпа разгромила царские винные по-

греба. Люди черпали вино кто сапогом, кто лаптем, кто шапкой, и наутро на улицах нашли более полусотни человек, упившихся до смерти. Эти несчастные стали единственными жертвами переворота, в остальном совершенно бескровного.

Пока чернь громила винные погреба, бояре занялись другим делом. Чтобы заслужить милость самозванца, они распорядились раскопать свежую могилу Бориса Годунова в Архангельском соборе, где погребали всех русских государей. Гроб с телом царя вырыли и вынесли из церкви.

Через несколько дней подойдя к столице, Отрепьев отдал тайный приказ о казни Марии и Федора Годуновых. Впрочем, возможно, это был не приказ, а просто высказанное вслух пожелание или даже осторожный намек, понять который не составляло труда. Многие стремились любым способом снискать расположение нового государя. Все было проделано быстро и без шума: первой удавили царицу, затем та же участь постигла и Федора Годунова, хотя он сопротивлялся с оружием в руках и стрельцы долго не могли с ним справиться. Царевну Ксению оставили в живых. Было объявлено, что вдова и сын Годунова покончили жизнь самоубийством — «испиша зелья и помреша».

20 июня 1605 года самозванец торжественно вступил в столицу. На въезде в город его встретила депутация бояр, но он им не слишком доверял: было сделано все, чтобы предотвратить возможное покушение. Вдоль царского поезда с обеих сторон следовали всадники, впереди и позади кареты шла польская пехота в полном вооружении.

Улицы и переулки на пути в Кремль были заполнены народом, процессия медленно двигалась посреди ликующих толп. Люди стояли так тесно, что едва могли дышать. Заборы, крыши домов и торговых рядов были усеяны любопытными. Даже колокольни были черны от взобравшихся на них москвичей. «Издали казалось, — записал очевидец, — что это роятся пчелы».

День был ясный и солнечный, но, когда карета с самозванцем, переправившись через Москву-реку по наплавному мосту, въезжала в ворота Китай-города, налетевший неведомо откуда вихрь с такой силой погнал

пыль и песок, что в течение нескольких минут невозможно было открыть глаза. Затем все стихло, однако этот внезапный смерч многие восприняли как дурное предзнаменование.

На Красной площади процессию встретило высшее московское духовенство. Архиепископы, архимандриты кремлевских соборов, игумены крупнейших столичных монастырей, простые священники и монахи пели псалмы, но их почти не слышно было в катившемся над столицей колокольном звоне. Люди глохли от звона сотен колоколов, от нескончаемых воплей, вырывавшихся из десятков тысяч глоток.

Возле Троицких ворот самозванец вылез из кареты и пешком вступил в Кремль. Первым делом он вошел в Архангельский собор, где произнес краткое слово о своем чудесном спасении, после чего со слезами облобызал гробницы своего «отца» и «брата» — Ивана Грозного и Федора Ивановича. Затем он вошел во дворец, поднялся в тронную залу и под восторженные возгласы присутствующих сел на трон «предков». В это время поляки трубили в трубы и били в литавры, польские роты с развернутыми знаменами стояли на Соборной площади.

Но радовались отнюдь не все. В тот же день один московский купец случайно подслушал, как Василий Шуйский сказал кому-то из своей родни: «Черт это, а не царевич Дмитрий!»

Сомнения одолевали многих, поэтому первым делом Отрепьев распорядился доставить в столицу свою «мать» — Марию Нагую, в иночестве принявшую имя Марфа. Он понимал, что этого ждут от него все и что ее слово будет решающим.

«Младшая» царица жила в захудалом монастыре вблизи Нижнего Новгорода, так что по дороге до Москвы у нее было время все обдумать. Перед ней стоял нелегкий выбор. Обличить самозванца — значит навлечь на себя его гнев; признать его своим сыном — значит вернуть себе положение царицы и связанные с этим почести. Марфа предпочла последнее.

На встречу с «матерью» Отрепьев выехал в подмосковное село Тайнинское, но само свидание произошло прямо в поле, на глазах у сотен зрителей. Сцена была

невероятно трогательная. Едва взглянув друг на друга, «мать» и «сын» залились слезами. Марфа, по-видимому, плакала искренне — от противоестественности ситуации, в которой она оказалась, от необходимости признать этого чужого человека за собственное дитя, Отрепьев же обладал недюжинными актерскими способностями и в нужных случаях умел проливать слезы весьма натурально. Рыдая, он припал к ногам «матери», та обняла его. Все вокруг умилялись и тоже плакали. Самозванец пешком, с непокрытой головой некоторое время шел подле кареты. 18 июля Марфа Нагая прибыла в столицу. На улицах стояли толпы москвичей, многие опять же не могли удержаться от слез. Вообще во всем этом талантливо разыгранном спектакле была та человечность, которой всегда не хватало русским государям. Она-то и привлекала к самозванцу симпатии простых людей. Казалось, что он, перенесший в жизни столько страданий, но не ожесточившийся сердцем, должен понимать страдания народа лучше, чем кто-либо из его предшественников на троне.

Отныне даже колеблющиеся перестали сомневаться в подлинности царевича, и спустя три дня после прибытия Марфы Нагой, 21 июля 1605 года, состоялась торжественная коронация. По расстеленному на площади златотканому бархату Отрепьев из дворца перешел в Успенский собор, здесь патриарх возложил на него царский венец, бояре поднесли ему скипетр и державу. С этой минуты он стал венчанным государем Дмитрием Ивановичем, царем и великим князем всея Руси, вошедшим в историю под именем Лжедмитрия I.

7

После того как самозванец был убит, бояре постарались уничтожить саму память о нем. Из правительственных учреждений изъяли и сожгли все изданные им указы. Поэтому о его правлении мы знаем до обидного мало, гораздо меньше, чем о том периоде его жизни, когда он еще не был царем. Но кое-что нам все-таки известно из мемуаров и записок живших тогда в Москве иностранцев.

С самого начала главной задачей для Отрепьева стало усидеть на незаконно занятом престоле. «Два способа есть у меня для того, чтобы удержать царство, — говорил он одному из своих польских приближенных. — Первый способ — быть тираном, второй — всех жаловать».

Самозванец выбрал второй способ, ибо инстинктивно понимал, что при первом у него нет никаких шансов надолго сохранить за собой трон.

Он всеми силами стремился заслужить славу милостивого и справедливого государя, показать, что его царствование будет временем торжества правды и поправления зла. Воеводам и чиновникам предписывалось собирать у населения жалобы на прежние обиды и «насильства» и сурово наказывать виновных в беззакониях. Дважды в неделю, по средам и субботам, Отрепьев сам выходил на Красное крыльцо в Кремле и принимал жалобы у всех обиженных, дабы они могли добиться справедливости без судебной волокиты.

Те города и волости, которые поддержали его в борьбе с Годуновым, на несколько лет были освобождены от податей. Было запрещено передавать холопов по наследству: их зависимость кончалась вместе со смертью владельца. Придя к власти на волне повстанческого движения, Отрепьев хотел быть для народа «добрым царем», и это ему удалось, хотя он так и не отменил крепостное право, боясь лишиться поддержки дворянства.

Народ его любил, но представители знатнейших боярских родов были недовольны.

В думе юный царь грубо поучал седобородых бояр или высмеивал их как людей невежественных, предлагая им ехать поучиться в другие страны.

Зимой неподалеку от Москвы он велел построить снежную крепость и устроил что-то вроде потешных военных маневров. Снежки и ледышки заменяли пули и ядра, бояре оборонялись, а Отрепьев со своими польскими и немецкими телохранителями шел на приступ. Нечего и говорить, что штурм завершился полной его победой. Бояре, которых насильно заставили участвовать в этой забаве, попали в плен, многие с синяками и шишками, и, естественно, были крайне раздражены. Не для того они столько лет боролись против Годунова,

чтобы терпеть оскорбления от какого-то безродного проходимца, обманом сумевшего захватить престол.

Позднее Отрепьев устраивал и более серьезные маневры. По его приказу московские мастера построили передвижную крепость из повозок — «гуляй-город». На повозках укреплялись разборные дощатые стены, расписанные изображениями чертей и геенны огненной, из бойниц торчали жерла настоящих пушек. Русские прозвали это сооружение «адам». Зимой «ад» устанавливали возле Кремля на льду Москвы-реки, и стрельцы попеременно с поляками из дворцовой гвардии то защищали его, то брали приступом.

Отрепьев часто появлялся на людях в панцире, любил военные учения, особенно артиллерийские, и сам палил из пушек. В этом, как и во многом другом, он был похож на Петра I.

Он тоже считал необходимым завести в России школы и отправлять русских людей учиться в Европу.

Он тоже облагал монастыри поборами, собирая деньги на войско.

Он подумывал о перенесении столицы из Москвы куда-нибудь поближе к западным границам государства.

Как и Петр, он пытался искоренить вечную русскую напасть — взяточничество. Уличенных в вымогательстве дьяков и подьячих били батогами на Красной площади.

Наконец, за сто лет до Петра, не довольствуясь царским титулом, он принял императорский. Теперь его послания начинались так: «Мы, непобедимейший монарх, Божией милостью император и великий князь всея России...»

Он был прост в обращении, не любил пышных церемоний, запретил непрестанно кропить себя святой водой при каждом выходе из дворца. Ездил не в карете, как подобало царю, а верхом. Без телохранителей и свиты заходил в купеческие лавки и запросто беседовал с теми, кто хотел с ним говорить.

В то же время он был до смешного тщеславен, мнил себя великим полководцем и всерьез заявлял, что Александр Македонский счастлив был бы иметь его своим другом.

Чтобы казаться выше ростом, он носил гигантские

меховые шапки и сапоги на каблуках непомерной длины.

Он ввел правило, согласно которому после того, как на балу заканчивался очередной танец, все танцующие должны были подходить к нему и склоняться к его ногам.

Во время торжественных приемов рядом с его тронном стояли не только рынды с топориками, как было при прежних государях, но еще и человек с обнаженным мечом.

Он выстроил для себя в Кремле новый просторный дворец, высоко поднимавшийся над крепостными стенами, и с наслаждением обозревал из окон панораму подвластной ему столицы, в которой когда-то испытал столько унижений. Дворец был бревенчатый, но стены обили бархатом и парчой, внутри устроили множество секретных комнат и потайных ходов.

Ночами по этим ходам к самозванцу приводили женщин. Отрепьев отличался сластолюбием и теперь, после долгих лет воздержания, наконец-то дал волю своей природной склонности к распутству. В его покоях бывали и родственницы знатнейших бояр, и дворянки, и простолюдинки. Рассказывали, будто он успел стать отцом тридцати внебрачных детей, большая часть которых родилась уже после его смерти.

Подобные грешки ему бы еще простили, но самозванец дошел до того, что сделал своей наложницей дочь Бориса Годунова, царевну Ксению. Возможно, тем самым он хотел еще раз унизить своего мертвого врага, но не менее вероятно, что царевна пробудила в нем настоящую страсть, и Отрепьев нагло воспользовался ее беззащитностью. Любимица отца, Ксения была хорошо воспитана, любила читать, обладала чудесным голосом. Современники отмечали ее необыкновенную образованность и красоту: стройный стан, величавую поступь, ослепительно белую кожу, нежный румянец, большие темные глаза. Нетрудно догадаться, какие чувства испытывала Ксения к своему совратителю, ставшему причиной смерти ее отца, погубившему ее мать и брата, но Отрепьева это мало трогало. Может быть, ненависть наложницы, которая тем не менее вынуждена уступать его же-

ланиям, даже доставляла ему особое извращенное удовольствие.

О Марине Мнишек он, впрочем, тоже не забывал. Отрепьев не мог сделать всех русских католиками ни за год, ни за два, как то обещано было Мнишеку, и не собирался заниматься этим безнадежным и опасным для него делом. Не спешил он выполнять и другие взятые обязательства, чем сильно раздражал и отца невесты, и самого Сигизмунда III. В Кракове возлагали надежды на то, что после брака с Мариной все пойдет по-иному, а самозванец не решался окончательно оттолкнуть от себя своих бывших покровителей. Но не исключено, что он искренне хотел жениться на самборской паненке, видя в ней очаровательную женщину, а не только залог дружественных отношений с Речью Посполитой.

Хотя Марина решительно отказывалась перейти в православие, Отрепьев сумел сломить сопротивление патриарха и Боярской думы, не желавших видеть католичку на русском престоле. В ноябре 1605 года в Краков прибыл личный представитель царя, дьяк Афанасий Власьев. Католический обряд бракосочетания допускает, чтобы на церемонии в церкви жених был заменен уполномоченным на то лицом, и Власьеву предстояло обвенчаться с Мариной вместо Отрепьева. Затем новобрачная должна была выехать к мужу в Москву.

Власьев привез невесте и ее отцу сказочные подарки. Среди них был жемчужный корабль, плывущий по серебряным волнам (его оценили в 60 тысяч золотых), золотой вол, утроба которого наполнена драгоценными камнями, вынимающий свое сердце для птенцов серебряный пеликан, бриллианты, меха, дорогие кубки, парча и бархат и, наконец, громадный позолоченный слон с встроенными в его туловище часами: когда часы начинали звонить, вокруг них «оживали» механические фигурки людей и зверей, изображавших различные охотничьи сцены.

На венчании присутствовали Сигизмунд III, королевич Владислав, епископы, вельможи, иностранные дипломаты. Казалось, вечно враждебные друг другу Кремль и Вавель сливаются в неразрывном союзе, и величие обстановки соответствовало смыслу происходящего. Марина была одета в роскошное платье из парчи, усеян-

ное сапфирами и жемчугом; ее плечи покрывала прозрачная вуаль; голову венчала корона с алмазами, из-под которой ниспадали на спину косы, тоже украшенные драгоценными камнями. Рядом с юной невестой пожилой московский дьяк с одутловатым лицом и неуклюжими манерами представлял собой комическое зрелище. В католическом храме под устремленными на него десятками глаз Власьев чувствовал себя неудобно, терялся, отвечал невпопад, делал не то, что требуется. К тому же он боялся оскорбить своего государя, если голой рукой будет держать руку его невесты, поэтому обернул собственную руку большим платком, что вызвало насмешки присутствующих.

Однако после венчания прошло еще три месяца, прежде чем новобрачная отправилась в Москву. Отец, разумеется, сопровождал ее в этом опасном и далеком путешествии. Марина взяла с собой любимого арапчонка, Мнишек — около 2 тысяч наемных солдат и шляхтичей с многочисленной челядью. Он, видимо, надеялся, что это войско пригодится зятю и поможет ему выполнять взятые на себя обязательства.

Уже по дороге Мнишеку донесли, что муж его дочери завел роман с Ксенией Годуновой. Разъяренный воевода потребовал от зятя удалить любовницу и двинулся в дальнейший путь не раньше, чем узнал, что «разлучницу» постригли в монахини. Несчастную царевну сослали на Белоозеро, но в тот момент она, возможно, радовалась и пострижению, и даже ссылке — другого способа избавиться от ласк ненавистного ей человека у нее не было.

Ксению увезли на север, и 2 мая 1606 года законная жена торжественно въехала в столицу. Предыдущую ночь она провела в пышных шатрах, разбитых на противоположном от города берегу Москвы-реки, под охраной стрельцов и польских гусар, а наутро сюда прибыла депутация бояр, думных дворян и высших придворных чинов. Царице доставили громадную карету на колесах такой величины, что от земли до дверцы приходилось подниматься по лестнице из пяти высоких ступеней. Снаружи карета была украшена серебряными гербами, внутри обита бархатом; ее тянули двенадцать лошадей одинаковой масти (серые, в яблоках), и каждую вел под уздцы конюх. Марина села в карету, прихватив с собой

обожаемого арапчонка, с которым не пожелала расстаться даже сейчас, и всю дорогу до Кремля играла с ним, делая вид, будто не слишком интересуется всем окружающим. Процессия из нескольких сотен польских и русских всадников, ехавших впереди и позади кареты, переправилась через реку и двинулась по живому коридору из стоявших плечом к плечу царских стрельцов. Стрельцы держали в руках бердыши, на каждом из которых золотом был выгравирован двуглавый орел с короной и надписью «Дмитрий Иванович», сделанной латинскими буквами. Древки бердышей были окованы серебряной проволокой и обтянуты алым бархатом с золотой бахромой в том месте, где должна находиться рука.

Всюду на пути следования стояли бояре и дворяне в «золотном платье», чуть поодаль на улицах теснились тысячи москвичей. Они надеялись увидеть царицу, но это им не удалось: занавесь на оконце кареты была припущена.

На Троицких воротах Кремля, на самой башне и на прилегающих участках стены разместился оркестр из полутора сотен музыкантов, и, когда Марина проезжала под ними, все вокруг сотрясало от грохота барабанов и звуков труб.

Зрители остались довольны пышным и величественным зрелищем, однако многих насторожили отряды приведенных Мнишеком польских наемников, которые в тот же день вошли в Москву: невольно создавалось впечатление, что в город вступила целая вражеская армия.

8

Задолго до этого Отрепьев почувствовал, что почва под ним начинает колебаться. Он восстановил против себя две могущественные силы — духовенство и боярство.

Его связи с иезуитами и арианами¹ давно казались

¹ Например, арианин Ян Бучинский сделался ближайшим советником Отрепьева и «во всякое время» находился у него в покоях.

подозрительными, но чаша терпения переполнилась, когда самозванец возвел на престол католичку и наложил руку на богатства православных монастырей (у одного только Троице-Сергиева монастыря он изъяс в казну 30 тысяч рублей). Московские священники и монахи начали пока еще осторожную агитацию против «царя Дмитрия»; их все активнее поддерживали бояре, раздраженные тем, что царь окружил себя иноземцами, к чьим нашептываниям прислушивался охотнее, чем к советам Боярской думы.

К весне 1606 года Отрепьев был немало обеспокоен тем, что по столице вновь поползли слухи о его самозванстве. Даже среди стрельцов была заметна «шатость»: толковали, будто царь — не истинный. Семерых стрельцов казнили, трупы на телеге провезли по городу для устрашения любителей болтать лишнее, но слухи не прекращались. До побега за границу Отрепьев долго жил в Москве, его тут многие помнили и не могли не узнать. Тем более что он обладал достаточно характерной наружностью. После стрельцов был казнен еще какой-то монах, имевший неосторожность похвастаться тем, что учил царя грамоте. Большинство прежних знакомых самозванца предпочитало, естественно, помалкивать, понимая, что подобными воспоминаниями лучше не делиться даже с самыми близкими людьми, тем не менее что-то такое носилось в воздухе.

Свою мнимую «родительницу», Марфу Нагую, Отрепьев приблизил к себе и осыпал милостями, а его настоящая мать жила в Галиче едва ли не в нищете. Его мнимые родственники, Нагие, занимали высшие придворные должности, родной дядя, Смирнов-Отрепьев, когда-то помогавший племяннику пристроиться в Москве, был отправлен в ссылку. Самозванец всеми способами пытался доказать, что он — сын Ивана Грозного, и в конце концов переусердствовал. Стремясь еще раз продемонстрировать, что подлинный царевич — он сам, а не тот мальчик, которого похоронили пятнадцать лет назад, Отрепьев задумал разорить могилу Дмитрия в одной из угличских церквей. Однако он оказался плохим психологом: Марфа Нагая решительно восстала против этого плана, оскорбительного для нее и для ее мертвого ребенка. Она попробовала отговорить «сына»

от его затей, но ничего не добились и обратились за помощью к боярам. Те уломали Отрепьева не трогать прах покойника, а затем постарались предать огласке недовольство «матери» царя. Даже Сигизмунду III стало известно, что Марфа Нагая втайне отреклась от своего «сына», и король грозился разоблачить самозванца, если тот не приступит к выполнению взятых обязательств.

В этой ситуации Отрепьев постепенно пришел к мысли, что укрепить его пошатнувшийся трон могла бы какая-нибудь победоносная война. Возможных противников было, в сущности, всего трое — Речь Посполитая, Швеция и Крым, за которым, правда, стояла Османская империя. Воевать с поляками было нельзя, со шведами — опасно; оставались «бусурмане», и в итоге решено было двинуть войско на юг. Сборным пунктом дворянского ополчения назначили Елец. Туда отправили полевую артиллерию, начали стягивать «ратных людей», но было уже поздно: в Москве созрел заговор против самозванца. Он еще сидел на троне, а бояре уже ссорились между собой, выясняя, кому из них достанется теперь царская корона.

Душой заговора стал Василий Шуйский, Рюрикович и представитель древнего княжеского рода, один из главных претендентов на престол. Это был типичный царедворец, знающий толк в интригах, осмотрительный, умный и лицемерный. Сразу же по вступлении в Москву самозванец хотел казнить его за «злоумышление», но помиловал, ибо, стоя перед плахой, Шуйский продолжал молить о пощаде и кричал, что выступил против государя «от глупости». Разумеется, этого он не забыл.

Отрепьев был обречен, хотя мог бы еще несколько месяцев просидеть на троне. Прибытие Марины Мнишек лишь ускорило неизбежную развязку.

Царице предстояла официальная коронация, а также вторичное венчание — теперь уже по православному обряду и с самим самозванцем, а не с его заместителем. Обе эти церемонии Отрепьев соединил вместе: они состоялись в Успенском соборе в один и тот же день. Но уже сам факт, что патриарх должен был совершать эти обряды над католичкой, вызывал крайнее неодобрение. Оно еще больше усилилось и перешло в открытое воз-

мушение, когда Марина отказалась принять причастие из рук патриарха.

Вообще свадебные торжества проходили с нарушением всех традиционных старомосковских представлений о приличиях. После венчания Марина тотчас же сбросила русское платье, вновь облачившись в привычное польское, облагавшее фигуру до талии. Духовенство и бояре были шокированы этим вызывающим нарядом, но царица ничуть не заботилась о том, чтобы привлечь к себе симпатии своих подданных. Общалась она только с лицами из собственной свиты, иначе говоря, с «еретиками», не раздавала милостыню нищим и даже не вышла к собравшейся возле дворца толпе москвичей, поначалу, кстати, настроенных по отношению к ней вполне благожелательно.

Вдобавок свадебный пир пришелся на Николин день — чрезвычайно почитаемый на Руси праздник. Повидимому, это была провокация со стороны бояр, стремившихся представить царя отступником от православия, и она удалась: мясная пища, вино, веселая музыка и лихие польские танцы в такой день были восприняты как чудовищное кощунство.

Впрочем, простые москвичи об этом не знали, а если что-то такое и слышали, то лишь краем уха. Гораздо больше они были возмущены тем, что пришедшие с Мнишеком шляхтичи и наемники вели себя в столице как в завоеванном городе. Поляки без денег «покупали» в торговых рядах то, что им нравилось, пьянствовали, приставали к прохожим, затевали уличные драки, бесчестили женщин, оскорбляли религиозные чувства москвичей. Уже через неделю после прибытия царицы произошли первые вооруженные столкновения между москвичами и пришельцами, а к 12 мая положение стало критическим. Москвичи запасали оружие, готовясь к решительным схваткам. Всюду слышался ропот, все ждали каких-то скорых и грозных перемен.

Отрепьев принял меры предосторожности: удвоил караулы в Кремле, усилил стражу у ворот, привел в полную боевую готовность стрельцов и польские роты. Он полагал, что народ настроен не против него самого, а исключительно против пришедших с Мнишеком поляков. Так оно, в общем-то, и было. Царь по-прежнему

пользовался народной любовью, и заговорщики это понимали. Недаром они собирались бросить клич «Поляки быют государя!», чтобы направить гнев толпы против тех, кто мог бы защитить царя, а самим тем временем покончить с самозванцем.

План действий был выработан на тайных совещаниях у Шуйского, и чем ближе надвигался назначенный день, тем подобострастнее вели себя бояре. Лесть и раболепие призваны были усыпить подозрения Отрепьева и сделать его менее осторожным. Он, однако, был неспокоен, особенно после того, как один лифляндский немец подал ему записку с предупреждением о готовящемся покушении на его жизнь.

Об этом толковали многие. Та самая старица Олена, которая год назад предсказала Годунову скорую смерть, теперь напророчила Отрепьеву, что он умрет на свадебном пиру. Хотя самозванец лишь посмеялся в ответ и в указанный срок ничего страшного с ним не случилось, его тщательно скрываемая неуверенность в будущем все чаще прорывалась приступами беспричинного гнева и раздражения. Он всеми силами старался прекратить бесчинства поляков, и заговорщики сознавали, что, если ему это удастся, их карта будет бита. Обстановка в столице могла измениться со дня на день, нужно было использовать ее и действовать незамедлительно, пока не нашелся доносчик.

9

В ночь на 17 мая 1606 года бояре тайно впустили в Кремль несколько десятков своих сторонников из числа дворян и посадских людей, а на рассвете Шуйские, собрав у себя на подворье участников заговора с вооруженной челядью, двинулись к Кремлю. Это было время, когда усиленные ночные караулы сменялись менее многочисленными дневными. Стрельцов, отстоявших ночное дежурство, распустили по домам. Возле царского дворца и во внутренних покоях осталось не более тридцати человек стражи, да и те частично были вовлечены в заговор.

В этот день Отрепьев, как обычно, поднялся на заре;

ему доложили, что ночь прошла спокойно. Поговорив на Красном крыльце с дьяком Власьевым, он ушел к себе в покои. Вокруг не было заметно ничего подозрительного. Когда Шуйские показались в Фроловских воротах, стража, прекрасно знавшая их в лицо, ничуть не встревожилась. Но вслед за ними в Кремль ворвались вооруженные заговорщики. Одновременно Шуйский велел бить в колокола — поднимать посад. Сначала зазвонили в торговых рядах, затем ударили во все «градские набаты». Наконец загудел колокол на Успенском соборе. Отрепьев, естественно, забеспокоился, но находившийся в это время при нем один из братьев Шуйских сказал ему, что начался пожар.

Эта же мысль поначалу пришла в голову и многим горожанам. Сотни и тысячи их устремились на Красную площадь, слышались крики: «В Кремль! Горит Кремль!» Заподозрив неладное, поляки с оружием тоже двинулись к Кремлю. Они выступили в боевом порядке, с развернутыми знаменами и могли бы выручить самозванца, но Шуйские обратились к народу с призывом бить проклятых «латынян», стоять за государя и за православную веру. Улицы были мгновенно завалены бревнами, утыканы рогатками. Встреченные тучей стрел и ружейными выстрелами, польские роты вернулись в свои казармы. В толпе восставших снова люди Шуйских; крича: «Братья, поляки хотят убить царя! Не пускайте их в Кремль!» Колокольный звон послужил сигналом к началу давно подготовленного мятежа: москвичи двинулись к домам, где жили пришедшие с Мнишеком шляхтичи. Поляки квартировали в разных концах города, им пришлось обороняться порознь, к тому же они были застигнуты врасплох. Многих убили сразу же, но некоторые храбро защищались у себя на подворьях и в итоге уцелели.

Тем временем толпа собралась перед царским дворцом в Кремле и громко требовала царя. Не решаясь выйти, Отрепьев высунулся в окно. «Я вам не Борис!» — крикнул он, воинственно потрясая взятым у часового бердышом, но несколько выстрелов заставили его скрыться.

Тогда верный ему Басманов, выйдя на крыльцо, попытался успокоить народ. Его речь произвела впечатление. Толпа, в которой много было людей случайных, на-

чала колебаться, но один из заговорщиков, подкравшись к Басманову сзади, ударил его кинжалом в спину. Подстрекаемая заговорщиками толпа ворвалась в дворцовые сени и обезоружила алебардщиков.

Отрепьев заперся во внутренних покоях. Двери уже трещали под ударами нападавших. Понимая, что помощи ждать неоткуда, самозванец решил спастись бегством. Пробегая мимо покоев Марины, он заглянул в переднюю и крикнул: «Сердце мое, измена!» Защитить жену он не пытался. Он сознавал, что помочь ей все равно не в состоянии, что ее спасение зависит сейчас от его собственного.

Из нового дворца Отрепьев потайным ходом перебрался в старые каменные палаты, надеясь уйти через окно. Окна второго этажа располагались довольно высоко от земли, но выбирать ему не приходилось. Он прыгнул вниз с высоты около 20 локтей (8—9 метров) и; вероятно, ушел бы от погони, если бы при падении не вывихнул себе ногу. От боли Отрепьев ненадолго потерял сознание, а когда очнулся, увидел обступивших его стрельцов. Удача в последний раз повернулась к нему лицом: это были стрельцы, которых он привел в Москву из Путивля и которые оставались ему верны. Не в силах встать, самозванец умолял стрельцов защитить его, и те попытались это сделать, но силы были слишком неравны. Они успели, правда, несколько раз выстрелить по приближающейся толпе, ранив двух-трех человек, однако перезарядить пищали уже не могли и бежали. Заговорщики со всех сторон окружили лежавшего на земле Отрепьева. Никто не решался нанести первый удар.

Он просил разрешить ему повидаться с «матерью» и обратиться к народу с Лобного места, но кто-то из заговорщиков объявил, что Марфа Нагая уже отреклась от самозванца. Это положило конец всяким сомнениям. С Отрепьева сорвали одежды. Люди, еще недавно лебезившие перед ним, теперь плевали в бессильно распростертого на земле царя, пинали его и осыпали ругательствами. «Кто ты такой, сукин сын?» — кричали ему. Кто-то издевательски заметил: «Таких царей у меня на конюшне хватает!»

В это время толпы москвичей уже направлялись к Кремлю — спасти государя от поляков. Многие совре-

менники полагали, что, если бы самозванцу удалось укрыться в толпе, народ бы его защитил. Это понимали и заговорщики, и сам Отрепьев, просивший, чтобы ему позволили говорить с народом на Красной площади, и, видимо, обещавший добровольно покинуть престол, если не получит народного благословения. Такой поворот событий для заговорщиков был абсолютно неприемлем. Один из них, близкий к Шуйским московский купец Мыльник, в ответ на просьбу Отрепьева закричал: «Вот я дам тебе благословение!» И с этими словами разрядил в него ружье. Затем все накинудись на бившегося в предсмертных судорогах, истекающего кровью самозванца, осыпая его ударами даже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

Обнаженный труп через площадь проволокли к терему Марфы Нагой, криками заставили ее выйти на крыльцо и отречься от «сына», после чего тело было предано неслыханным в русской истории надругательствам. Со вспоротым животом, нагого, Отрепьева привязали к лошадиному хвосту, таскали по городу, обливали помоями и нечистотами, наконец подвергли его «торговой казни»: двое дворян хлестали его кнутом, приговаривая, что это «вор Гришка Отрепьев». После экзекуции истерзанное поруганное тело свергнутого государя сначала просто бросили в грязь возле торговых рядов, но на следующий день, чтобы все могли его видеть, положили на специально принесенный базарный прилавок. Народ толпился здесь дни и ночи напролет, причем в толпе слышались опасные для Шуйских разговоры. Многие сочувствовали убитому царю, женщины открыто оплакивали его участь. Это не могло не встревожить бояр, и прежде всего самого Василия Шуйского.

После переворота во дворце были найдены маски и костюмы, приготовленные для предстоящего вскоре маскарада, которым Отрепьев собирался развлечь жену и прибывших с ней польских дворян. Одну из этих масок, чудовищную «харю», принесли из дворца и бросили покойнику на вспоротый живот, в рот ему вставили скоморошью дудку. Народу объявили, что якобы «еретик Гришка» тайно поклонялся тому самому «бесу», чья личина, обнаруженная в покоях самозванца, лежит у него на животе. В соответствии с этой версией распро-

странили также слух о том, будто по ночам над телом «вора» некие прохожие слышали «бубны и свирели» и «прочая бесовская игралища». Тем самым Шуйские стремились доказать, что тот, кого в народе считали «добрым царем», в действительности был не только еретиком и «вором», но еще и чародеем, связанным с нечистой силой.

Через три дня тело вновь привязали к лошади, в последний раз протащили по улицам, выволокли за город, в поле, и не то бросили в так называемый «Божий дом», где собирали тела умерших без покаяния нищих и бродяг, не то сразу же закопали где-то у дороги.

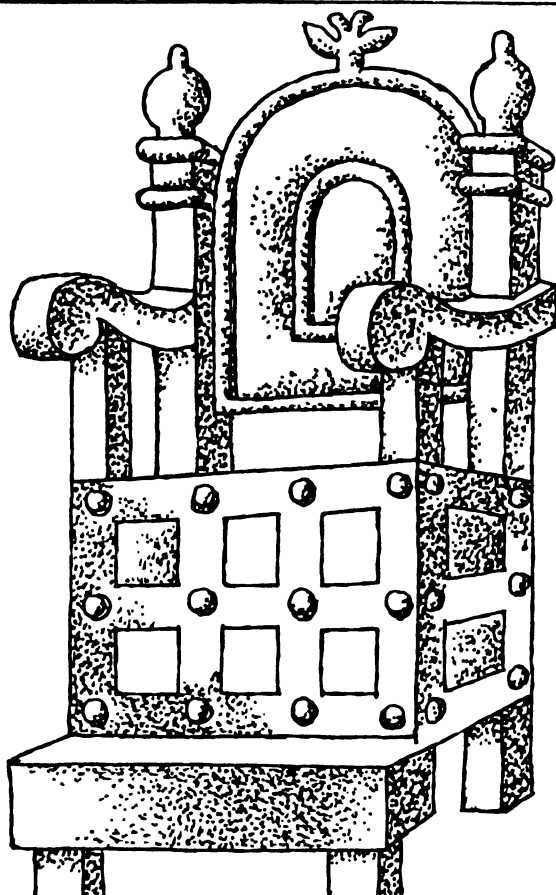
За год перед тем жену и сына царя Бориса, убитых по приказу Отрепьева, зарыли в яму без гробов — «как животных». Теперь история, как всегда, повторилась: ему самому было уготовано такое же «скотье» погребение.

Но если Марию и Федора Годуновых оставили в покое хотя бы после смерти, то самозванец не получил и этого.

Москва продолжала волноваться; рассказывали, что, когда труп тащили сквозь крепостные ворота, порывом ветра с них сорвало кровлю, что в том месте, где закопали «царя Дмитрия», по ночам светятся какие-то таинственные огни, и т. д. К тому же внезапно грянули необычные для конца мая холода. Пожухла зелень, померзли посевы, и это было приписано «чародействам» покойного.

Чтобы прекратить подобные толки, труп вырыли, показали народу, а затем отвезли в подмосковное село Котлы. Там находился построенный для Отрепьева «ад» — разборная деревянная крепость, размалеванная изображениями чертей и языками адского пламени. Полуразложившееся тело самозванца бросили на эти стены, тем самым как бы предвосхищая его судьбу на том свете, и сожгли вместе с крепостью. Пепел собрали и, по одним свидетельствам, развеяли по ветру, по другим — смешали его с порохом, зарядили пушку и выстрелили.

Последнее, впрочем, скорее всего — легенда.



ТЕНЬ ТЕНИ

Когда тело Отрепьева сожгли, а пепел развеяли, один из его недругов удовлетворенно сказал: «Теперь проклятый самозванец не встанет и в день Страшного суда!»

Но этот человек глубоко заблуждался. Воскреснув однажды, царевич Дмитрий легко мог подняться из могилы и во второй раз, и в третий. До тех пор пока сотни тысяч людей продолжали верить в него как в «доброе царя» и связывать с ним надежды на лучшую долю, он был бессмертен.

1

После убийства Отрепьева бояре всю ночь совещались, решая, кому из них предстоит занять опустевший престол. Ни о каком единодушии не могло быть и речи, яростные споры переходили во взаимные упреки, обвинения и оскорбления, но в итоге царем был избран тот, кто возглавил заговор, — Василий Шуйский.

Однако напряжение в столице не спадало, не утихали и слухи о разного рода знамениях и «чудесах», происшедших с телом убитого государя. Толковали, естественно, о том, что, когда разрыли его могилу, она оказалась пуста и вместо «царя Дмитрия Ивановича» сожгли труп какого-то неизвестного бродяги. Утверждали, будто самозванец владел тайным искусством у «самоедов», якобы способных убить себя, а потом опять вернуться к жизни.

Рассказывали, что тело царя, которое с вечера было брошено за ограду «Божьего дома», утром нашли лежащим снаружи, перед запертыми воротами, причем рядом с ним сидели два голубя. Последнее означало, что покойного государя хранят не «бесы», как то пытались доказать сторонники Шуйских, а, напротив, небесные силы и, следовательно, ни «чернокнижником», ни еретиком он не был.

Последствия этих и подобных им слухов не заставили себя долго ждать: в столице начали появляться «подметные листы», написанные от имени самого «Дмитрия Ивановича». В них покойный извещал, что «ушел невинно», что «Бог его от изменников спас» и скоро он вернется на царство. Уже через неделю после переворота кто-то вывесил несколько таких прокламаций на воротах боярских домов.

Возможно, к этому был причастен человек, решивший повторить путь Отрепьева и к концу лета 1606 года объявившийся в Самборе — там, откуда три года назад беглый чудовский монах начал свое восхождение к русскому престолу.

В Польше легенда о спасении Лжедмитрия I распространялась в менее фантастическом варианте, чем в Москве. О «самоедском» искусстве восставать из мертвых речи не было; рассказывали, что царь нашел в России и всегда держал при себе двух своих двойников, один из которых и пал жертвой заговорщиков, принявших его за государя. По-видимому, эту легенду культивировал сам Мнишек. Едва ли случайно, что центром возрожденной самозванческой интриги вновь стал самборский замок, хотя его хозяин в то время находился в русском плену.

В день мятежа Марине и ее отцу грозила смертельная опасность, но Шуйский вовремя приставил к ним охрану: они нужны были ему живыми, чтобы в случае осложнения отношений с Речью Посполитой использовать их как заложников и средство нажима на Сигизмунда III. Поначалу Мнишек наивно надеялся, что теперь Боярская дума объявит Марину правительницей государства, однако надежды быстро рухнули: с царицей обошлись весьма невежливо, отобрали у нее все подаренные мужем драгоценности, отняли все деньги, все имущество и даже любимого арапчонка, утрату которого она переживала тяжелее всего. Мнишек тоже в одночасье

сье лишился всего, что имел, затем его вместе с дочерью и свитой под конвоем отправили в Ярославль. Но и в Москве, и в ярославской ссылке он продолжал считать Марину законной государыней — «императрицей», оказывал ей подобающие ее титулу почести и у себя на дворе строго соблюдал все правила придворного этикета, как если бы его дочь восседала на московском престоле. Воевода был упрям и упорно не желал смириться с крушением своих честолюбивых замыслов.

В Ярославле, как и в Москве, он пользовался относительной свободой и, очевидно, сумел завязать секретную переписку с оставшейся в Самборе женой, которая не решилась бы приютить у себя самозванца без согласия или, что вероятнее, прямого указания со стороны мужа. Не исключено, что таким образом он пытался шантажировать Василия Шуйского, надеясь вынудить его жениться на Марине. Одно время Мнишек вынашивал и этот план, рухнувший вскоре, как все остальные.

В общем, все пошло по второму кругу, как в дурном сне: самозванец опять сидел в Самборе, опять рассылал воззвания и вербовал сторонников, правда на сей раз без особого успеха.

Ходили слухи, будто имя Дмитрия возложил на себя бежавший из Москвы дворянин Михаил Молчанов, фаворит Отрепьева. Поговаривали, будто его любовь Молчанов заслужил тем, что принимал непосредственное участие в убийстве Федора Годунова, а позднее состоял при Отрепьеве в качестве сводника — выискивал и приводил во дворец женщин, готовых «потешить» государя.

Находившиеся в Польше русские послы, расспрашивая тех, кто встречался с новым самозванцем, составили его словесный портрет в сравнении с портретом «прежнего вора», то есть Отрепьева. «Прежний, — доносили послы, — был обличьем бел, волосом рус, нос широк, бородавка подле носа, уса и бороды не было, шея короткая. А Михайло Молчанов обличьем смугл, волосом черен, нос покляп, ус невелик, брови велики нависли, бороду стрижет, на голове волосы курчеваты, бородавица на щеке».

И вывод: «Тот вор, Михайло, прежнему вору не подобен».

Это внешнее «неподобие» создавало для Молчанова

неразрешимые проблемы, которых не знал его предшественник.

Отрепьеву можно было не заботиться о том, похож ли он на девятилетнего царевича, спустя пятнадцать лет после смерти прочно забытого даже теми, кто видел его при жизни. Мальчик, превратившийся во взрослого мужчину, мог неузнаваемо измениться, но с якобы спасшимся «царем Дмитрием» этого произойти не могло, тем более за несколько месяцев. Он целый год просидел на престоле, а в России появился еще раньше; тысячи людей прекрасно знали его в лицо, и предстать перед своими «подданными» Молчанов так и не рискнул. Когда летом 1606 года восстал Путивль и мятежники прислали в Самбор письмо, приглашая «государя» к себе, он предпочел не испытывать судьбу, оставшись под гостеприимным кровом пани Мнишек.

Молчанов, похоже, в принципе не годился для взятой им на себя роли. Ему не хватало для нее ни таланта, ни широты кругозора, ни энергии, ни воли, которыми Отрепьев обладал в избытке. Однако у подножия «трона» Молчанова, воздвигнутого в парадной зале самборского замка, взошла и вскоре грозно засверкала над Россией звезда Ивана Исаевича Болотникова.

Болотников был холопом князя Телятевского, в молодости бежал от него на Дон, затем служил наемником в Венгрии, воевал с крымскими татарами, попал к ним в плен, был продан туркам и несколько лет провел гребцом-невольником на турецкой галере. В одном из морских сражений галеру захватили венецианцы. Получив свободу, Болотников пешком через всю Европу двинулся на родину, но в Польше услышал о появившемся здесь «царе Дмитрие» и пришел в Самбор, где был принят самозванцем.

Отрепьева он никогда прежде не видал, сомнений в подлинности «государя» у него не было, а если и были, то Болотников решил их отбросить. Молчанов дал ему «грамоту», в которой назначил его своим «болшим воеводой», и мизерную сумму в 60 дукатов, что показывало ограниченные, мягко говоря, финансовые возможности самозванца. С этой «царской грамотой» Болотников немедленно отбыл в Путивль, вновь ставший центром повстанческого движения, направленного уже не против

Годунова, а против «боярского царя» Василия Шуйского.

В отличие от Молчанова, Болотников по своему жизненному опыту был профессиональный военный, по характеру — прирожденный вождь, человек решительный и мужественный. Действуя от имени «царя Дмитрия», он за несколько недель собрал войско из крестьян, холопов, казаков и мелких дворян, взял Кромы, в ряде сражений разгромил высланных против него царских воевод и уже в октябре 1606 года, через пять месяцев после гибели Отрепьева, подступил к Москве. Но Шуйский выстоял; Болотников отошел сначала в Калугу, затем — в Тулу, имевшую каменный кремль, и заперся там вместе со своим союзником — терским казаком Ильей Горчаковым, выдававшим себя за «царевича Петра», сына царя Федора Ивановича.

Взять город штурмом Шуйский не сумел, хотя сам прибыл в стоявшее под стенами Тулы московское войско. Осада затянулась, в городе начался голод, но Болотников не сдавался. Он слал гонца за гонцом в Самбор, призывая «государя» не медлить и вступить на Русскую землю. Призывы были тщетны; «болший воевода» не знал, что пани Мнишек уже умерла, а Молчанов, лишившись ее опеки и не сумев найти себе новых покровителей, бесследно исчез. Осажденные надеялись, что «царь Дмитрий Иванович» собирает войско и вот-вот придет к ним на помощь. Об этом толковали тогда не только в Туле. Вера в его скорое возвращение была повсеместной, заинтересованность в нем — настолько живой и горячей, что он просто не мог не прийти. Такая вера и такие надежды способны были воскресить кого угодно, и наконец призрак облекся плотью — тень тени убитого в Угличе царевича ожила с Стародубе летом 1607 года.

2

Кто был этот человек, вошедший в историю под именем Лжедмитрия II, не известно было даже его современникам, а нам — тем более.

Существует несколько версий его происхождения, но все они недостоверны.

Первая. Его настоящее имя Матвей (Матюшка) Веревкин, он был попovich, родом откуда-то из-под Новгорода-Северского.

Вторая. Его звали Дмитрием, он был сыном священника Знаменской церкви в Москве, на Арбате.

Третья. Он был сыном знаменитого врага Ивана Грозного, князя Андрея Курбского, почти за полстолетия перед тем бежавшего в Литву.

Четвертая. Он был одним из состоявших прежде при Отрепьеве дьяков или подьячих.

Пятая. Его звали Иван, он был дьячок, учитель православной церковной школы в Соколе на Львовщине.

Шестая. Он был польский шляхтич, долго живший в Москве и хорошо знавший русский язык.

Седьмая. Он был крещеный еврей, поскольку после его смерти у него в доме будто бы нашли Талмуд и какие-то записи, сделанные еврейскими буквами.

Восьмая. Он держал школу для детей в Шклове под Могилевом, а заодно помогал по хозяйству местному православному священнику. Был беден, почти нищ и не имел иной одежды, кроме ветхого бараньего тулупа, в котором ходил даже летом. Случайно на него обратил внимание пан Меховецкий, бежавший в Белоруссию из Москвы после убийства Лжедмитрия I. Он заметил, что шкловский учитель «телосложением похож на покойного царя», и уговорил его назваться именем Дмитрия.

Наконец, *девятая*. Он был секретарем Отрепьева, после переворота бежал в Шклов, нашел приют у тамошнего священника, но за гостеприимство отплатил тем, что соблазнил его жену. Хозяин высек гостя плетью и выгнал из дому. После долгих скитаний, едва не умерев от голода, тот добрался до Стародуба, где и решил объявить себя «царем».

Но кем бы на самом деле ни был этот человек, Отрепьеву он проигрывал по всем статьям. Если первый самозванец, несомненно, был личностью выдающейся, вел себя как истинный государь и сумел стать настоящим вождем созданного им движения, то его преемник представлял собой полное ничтожество и всегда оставался игрушкой в руках тех, кто его породил. Даже его

сторонники говорили о нем как о человеке невежественном, безвольном и неумном, но в то же время распутном и коварном. Пожалуй, единственным его достоинством было неплохое знание Священного писания, о чем сообщают многие. Это-то и наводило на мысль, что он происходил из духовного сословия — был поповичем или дьячком-учителем. Он также знал некоторые не слишком широко известные подробности из жизни своего предшественника, и отсюда делали вывод о его близости к Отрепьеву в качестве писаря или секретаря.

Объявившись в Стародубе в июне 1607 года, он привлек внимание местных жителей своим, видимо, достаточно необычным поведением, был арестован по подозрению в шпионстве в пользу Шуйского и назвался вначале Андреем Нагим — дядей «царя», гонимым за свое родство, а затем и самим Дмитрием. Будто бы ему пригрозили пыткой, тогда он «в гневе» схватил палку и закричал: «Ах вы...! Еще вы меня не признаете! Я ваш государь!» Стародубцы якобы настолько поражены были этой царственной дерзостью, что тут же повалились ему в ноги.

Из Стародуба самозванец перебрался в Путивль, немедленно его признавший. Сюда начали стекаться крестьяне, холопы, казаки, но главную его силу с самого начала составили польско-литовские отряды. Как раз в это время в Речи Посполитой часть магнатов и шляхты выступила против Сигизмунда III, однако мятежники были разбиты войсками коронного гетмана Жолкевского и, опасаясь репрессий со стороны короля, стали уходить в русские земли, где рано или поздно вставали под знамя самозванца. К нему же перешли многие из тех шляхтичей, которые были отпущены Шуйским из Москвы на родину, но не захотели туда возвращаться, надеясь на добычу и славу на службе у «царя Дмитрия». Первое место среди этих отчаянных разбойников и храбрецов по праву принадлежало Александру Лисовскому, талантливому военачальнику с явно бандитскими наклонностями, не знавшему себе равных в организации молниеносных конных рейдов.

Из других военачальников самозванца наибольшей известностью пользовались князь Рожинский и донской атаман Иван Заруцкий. Последний раньше служил Болотникову, сумел вырваться из осажденной Тулы и при-

вел своих казаков в Путивль. Это был статный, отважный и умный, жестокий и лукавый человек. «Не храбр, но сердцем лют», — характеризовал его один из современников. Едва он кликнул клич, завязтые рубаки с берегов Дона и Днепра тотчас откликнулись на его призыв. Хищники со всех сторон слетались, почуяв живую, дух мятежа и анархии усиливался с каждым днем.

Однако многие из сподвижников самозванца искренне верили в него как в законного государя земли Русской. Некий безымянный стародубский дворянин, отправленный под Тулу, которую все еще осаждал Василий Шуйский, явился к самому царю и публично обвинил его в узурпации престола: мол, как он осмелился занять трон при живом государе? Смельчака «сожгоша на пытке», тем не менее он до последней минуты повторял свои обвинения. Летописец по этому поводу замечает: «Тако его окаянную душу ожесточил диавол, что за такого вора умре!» Но не «ожесточение души», а страстная вера в «доброго царя» и в правоту его дела помогли этому человеку выдержать все муки и с именем Дмитрия умереть на «огненной пытке».

Лжедмитрий II двинулся было на помощь осажденной Туле, но опоздал: измученные голодом защитники крепости сложили оружие. Хотя руководителям обороны гарантировано было сохранение жизни, Шуйский не выполнил своих обещаний: «царевича Петра» повесили в Москве, а Болотникова сослали в Каргополь, где позднее выкололи ему глаза и утопили. После взятия Тулы, не слушая тех, кто советовал сейчас же ударить на еще не вошедшего в силу путивльского «вора», Шуйский с триумфом вернулся в столицу и очень скоро раскаялся в своем легкомыслии. Войско самозванца, увеличиваясь по дороге, начало победный марш на север. К весне 1608 года пал Орел, уже в конце мая отряды Рожинского и Лисовского приблизились к столице, с боями дошли до самых стен Кремля, но в ожесточенном сражении были отброшены за речку Ходынку и в итоге сделали своей опорной базой хорошо укрепленный Тушинский городок на северо-западных подступах к Москве, который на два с половиной года стал резиденцией Лжедмитрия II. Отсюда самое популярное из его прозвищ — «тушинский вор».

Находясь в Тушине, состоявшие при самозванце полки завязали тайную переписку с Юрием Мнишеком, которого к тому времени вместе с Мариной из Ярославля вернули в Москву. Шуйский согласился отпустить их на родину в обмен на обещание Сигизмунда III не оказывать поддержки самозванцу.

В августе Марину с отцом отправили в Польшу под охраной нескольких сотен человек. Все было обставлено массой предосторожностей, время отбытия и маршрут сохранялись в секрете. Чтобы избежать встречи с тушинскими отрядами, пленников повезли объездным путем, через Тверь, однако они каким-то образом сумели связаться с соотечественниками из лагеря самозванца. Незадолго до переправы через Волгу сопровождавшим их московским приставам стало известно, что вслед отряду с Мнишеком выслана погоня. Пока конвоиры спорили о том, что следует предпринять, преследователи настигли беглецов, после короткой схватки Мнишек с дочерью были захвачены польскими всадниками.

Впрочем, возможно, это маленькое сражение было сплошной комедией, разыгранной по взаимному согласию между нападавшими, охраной и самим Мнишеком, который хотел перед Сигизмундом III изобразить свое пребывание в Тушине как вынужденное, а не добровольное.

Как бы то ни было, Марину повезли обратно на восток. До этого времени отец и все окружающие всячески поддерживали в ней уверенность в том, что Отрепьеву удалось избежать смерти, и теперь, по-видимому, она искренне заблуждалась, полагая, что едет к мужу. Есть известие, что по дороге Марина была очень весела, пела и шутила с сопровождавшими ее всадниками. Наконец один из них, молодой шляхтич, подъехал поближе к карете и сказал: «Пани Марина! Вот вы веселы и поете, да и следовало бы вам радоваться, если бы в Тушине вас ждал настоящий супруг. Но вы найдете там совсем другого!»

Рассказывали, будто этот шляхтич позднее был казнен, а Марина после его слов перестала петь и ее веселье сменилось слезами.

Эпизод, скорее всего, легендарен, но точно известно, что при первой встрече с «мужем» Марина не выказала ни малейшей радости, была холодна, нелюбезна и не желала играть роль счастливой жены, которая после долгой разлуки видит своего царственного супруга. Будто бы даже, как рассказывает очевидец этой встречи, она в ужасе отвернулась от самозванца, едва лишь взглянув на него, а затем со словами «Лучше умереть!» выхватила нож, чтобы покончить с собой, и ее с трудом сумели удержать от самоубийства. Тут, надо полагать, мемуарист хватил через край: подобная романтическая сцена вряд ли была возможна в действительности. Одно несомненно: Марина вынуждена была смириться и признать «тушинского вора» своим мужем не по собственной воле. Ей пришлось уступить желанию отца, которому за это признание самозванец посулил 300 тысяч рублей прямо сейчас, а впоследствии, после воцарения, еще и 14 северских городов. На эти деньги можно было бы нанять новые отряды наемников, но Марина одна стоила целой армии: слово царицы, подтвердившей «тождество» двух Лжедмитриев, делало абсолютно законным претензии второго из них на московский престол, и он не пожалел золота, чтобы добиться от нее этого заветного «слова».

Девятнадцатилетняя Марина просто не в силах была противиться воле отца и других польских князей, настойчиво требовавших от нее вступить в затеянную ими игру. В конце концов она подчинилась, но нехотя, после истерик, слез и, вероятно, достаточно грубых сцен, происходивших между ней и отцом. Тот был крайне раздражен упрямством дочери и, уезжая в Польшу, не только в резкой форме высказал Марине свое недовольство, но и отказал ей в родительском благословении. Простились они холодно, если вообще простились. Мнишек был настолько сердит на дочь, что мог уехать, даже не повидавшись с ней на прощание. Это вполне в его характере. Он всегда видел в дочери лишь орудие для воплощения собственных политических замыслов, связанных с деньгами и властью, и мало интересовался ее чувствами.

Но Марина тяжело переживала ссору с отцом. Мнишек сумел внушить ей, что она перед ним виновата, ибо

во всей этой истории вела себя не так, как подобает послушной дочери, и проявила чрезмерное для женщины самовольство.

«Милостивый государь мой батюшка! — писала она вскоре после того, как отец уехал, оставив ее в Тушине. — Не знаю, что писать к вам в печали, которую имею как по причине отъезда вашего отсюда, что я осталась в такое время без вас, милостивого государя моего и благодетеля, так и потому, что с вами не так простилась, как проститься хотела. А паче я надеялась и весьма желала, чтобы из уст государя моего батюшки благословение получить, но, видно, того я была не достойна».

И далее:

«Ныне через сие письмо припадая к стопам вашим, в том прощения со слезами покорнейше прошу, что если я когда-нибудь по неосторожности, с умысла, по глупости, молодости или злости чем-нибудь вас прогневала, благоволили бы, милостивый государь мой батюшка, теперь мне все оное отпустить и послать благословение дочери своей, в печали и разлуке оставшейся...»

Между прочим, позднее, в Польше, Мнишек уверял всех, будто стойко обличал «тушинского вора» как самозванца, не имеющего ничего общего с погибшим «царем Дмитрием». Он также заявлял, что Марину задержали в Тушине насильно, против его отцовской воли, а ему самому еле удалось вырваться на родину.

Избытком родительской любви воевода явно не страдал. Едва ли он испытывал бы сильные угрызения совести, узнав, чем закончилась для дочери его авантюра, но этого ему не было дано: Мнишек умер в 1612 году, на два года раньше Марины. С того дня, как он уехал в Самбор, покинув дочь в лагере Лжедмитрия II, они больше никогда не виделись.

Итак, Марина осталась в Тушине. Она признала второго самозванца своим «мужем», однако, не желая быть его любовницей, потребовала, чтобы тот с ней обвенчался. Ее требование было исполнено. Нашли католического священника, за деньги или под угрозой наказания согласившегося держать язык за зубами, и он обвенчал эту пару в такой глубокой тайне, что даже род-

ной брат Марины не знал о ее вторичном бракосочетании.

Марина не по своей воле вступила на дорогу, предназначенную ей судьбой, но, вступив, прошла ее до конца. Отныне она уже не знала колебаний. Эта крошечная женщина, в день московского мятежа сумевшая спрятаться под юбками своей фрейлины, обладала, как выяснилось, неукротимым честолюбием. В борьбе за престол она проявила колоссальную выдержку, твердость и незаурядное личное мужество — вплоть до того, что сама, стоя под вражескими пулями на крепостном валу, воодушевляла своих сторонников на битву, подавая им пример стойкости. Ради титула московской царицы она терпела рядом с собой человека, по ее же собственным словам, «дурных и грубых нравов». Она пожертвовала всем, поставила на карту все — и проиграла.

4

Хотя почти одновременно с Мариной, в августе 1608 года, к самозванцу прибыл князь Петр Сапега, брат канцлера литовского, и привел с собой около 8 тысяч отборных солдат, к зиме стало ясно, что силой взять Москву не удастся. Все попытки войти в столицу закончились неудачей, как и старания Шуйского выбить самозванца из Тушина. Установилось зыбкое равновесие, обе стороны копили силы, но предпочитали избегать крупных столкновений.

Тушинский городок был превращен в неприступную крепость, окруженную бревенчатыми стенами, палисадами и глубокими рвами. Со временем он стал больше походить не на военный лагерь, а на город со своими улицами и площадями, рынками и лавками, где постоянно шла оживленная торговля. Коммерческий интерес, как всегда, стоял выше политического, и московские купцы ездили торговать в Тушино, тушинские — в Москву, причем ни те ни другие не стеснялись продавать противной стороне порох и оружие. На тушинских улицах слышалась разноязычная речь — польская, украинская, немецкая, татарская, еврейская. Со всех концов

страны и из-за рубежа сюда стекались люди, деньги, товары.

Одновременно Тушино стало вторым, наряду с Кремлем, политическим центром страны, куда собирались все недовольные правлением Шуйского — от беглых холопов до знатнейших бояр. При самозванце была создана своя Боярская дума, организованы свои приказы. Имелся и свой патриарх — бывший ростовский митрополит Филарет, в миру — Федор Никитич Романов, отец будущего царя Михаила Романова. Но реальная власть принадлежала не Лжедмитрию II, не думе и не патриарху, а так называемым «децемвирам» — комиссии из десяти польских военачальников, имевших диктаторские полномочия. В число «децемвиров» входили Сапега, Рожинский, Лисовский и другие. Их распоряжения были обязательны для всех, в том числе и для самого «царя».

Сапега говорил: «За три года перед сим вооруженною рукою посадили мы на русский престол бродягу под именем сына Ивана Грозного, а теперь в другой раз даем русским нового царя и уже завоевали для него половину государства. Пусть они лопнут с досады! Оружием и силою сделаем что ни захотим!»

Это была не пустая похвальба. Где добровольно, а где и под приставленной к горлу польской саблей Лжедмитрия II признали Ярославль, Вологда, Псков, Орел, Тула, Калуга, многие другие города и волости. Но многие сохранили верность Шуйскому. Произошло как бы раздвоение Московского царства — с двумя царями, двумя правительствами и двумя патриархами в обеих частях, которые находились в состоянии войны друг с другом, но в то же время порой сосуществовали достаточно мирно.

Особенно разлагающее воздействие на высших русских сановников оказывала чисто пространственная близость Тушина от Москвы. Боярин, обиженный одним государем, мог в тот же день перейти к другому, а легкость, с которой это можно было сделать, породила знаменитых «перелетов», служивших Шуйскому и Лжедмитрию II то по очереди, а то и одновременно. Иные ловкачи по несколько раз переезжали из Тушина в

Кремль и обратно, неизменно извлекая из этого немалые личные выгоды.

Польские отряды совершали военные экспедиции по всей стране, приводили непокорных к присяге на верность «царю Дмитрию Ивановичу», а заодно занимались откровенным разбоем. Награбленные богатства стекались в тушинский лагерь. Поляки здесь буквально тонули в изобилии. Очевидец рассказывает, что «польские солдаты ежедневно готовили себе кушанья из наилучших припасов, а пива так много забрали у крестьян и монахов, что его некуда было девать, пили только мед».

Из-за насилий, чинимых поляками и казаками, авторитет Лжедмитрия II начал падать. Сказались и военные неудачи тушинцев, в первую очередь — безуспешные попытки овладеть Троице-Сергиевым монастырем. Сапега и Лисовский с большим войском осадили эту сильнейшую крепость, но встретили яростное сопротивление укрывшихся за монастырскими стенами монахов, посадских людей и немногих присланных из Москвы ратников. Вскоре положение осажденных стало ужасающим, тем не менее они не сдавались.

Между прочим, в это время волею судьбы в Троице-Сергиевом монастыре оказалась и Ксения Годунова. В письме, перехваченном поляками, она писала: «От скорби я еле жива и, верно, больна, как все здешние монашки. Мы и не надеемся на долгую жизнь, напротив — ежечасно ждем смерти, ибо среди нас царят великое колебание и измена. Кроме того, по грехам нашим, здесь свирепствует моровая язва, всех мучат тяжкие, смертные страдания. Ежедневно хоронят от 20 до 30 человек и более, да и те, что живы до сих пор, так ослабели, что как будто остались без ног».

Простояв под стенами монастыря год и три месяца, Сапега и Лисовский вынуждены были снять осаду, хотя к тому времени в крепости осталось не более двух сотен защитников, способных носить оружие.

Тем временем, не в силах совладать с самозванцем, Шуйский обратился за помощью к шведскому королю Карлу IX. Тот рассчитывал использовать русскую смуту в собственных интересах, и весной 1609 года в Новгород вступило пятнадцатитысячное шведское войско под командой герцога Делагарди. Это дало Сигизмунду III

долгожданный повод для прямого вмешательства в русские дела. Лично возглавив армию, король осадил Смоленск; его послы прибыли в Тушино с предложением, чтобы все состоящие при самозванце поляки перешли на королевскую службу.

Послы провели переговоры с Сапегой, Лисовским, Рожинским и другими верховодами тушинского лагеря, но с самим Лжедмитрием II встретиться не желали. Самозванец оскорбился и встревожился. Он и раньше-то был ряженой куклой в руках польских и казацких вожakov, которые под горячую руку могли прямо в лицо назвать его обманщиком и мошенником, а сейчас на него и вовсе перестали обращать внимание. Дошло до того, что однажды Рожинский во хмелю сказал ему: «Черт знает, кто ты такой! Довольно мы пролили за тебя крови, а пользы не видим!» Разговор закончился тем, что пьяный Рожинский пригрозил прибить «царя».

За ним стали присматривать, чтобы в удобный момент выдать его королю, но он сумел обмануть караульных. Переодевшись крестьянином, самозванец в навозной телеге выехал из Тушина, взяв с собой лишь своего любимого шута и ничего не сказав даже Марине, а затем бежал на юг, в Калугу.

После его бегства отношение к Марине резко изменилось. Никто уже не величал ее царицей, императрицей — тем более. Она воспринимала это очень болезненно и писала в одном из своих писем: «Кого осеняет Бог, тот не утрачивает сияния. Солнце не перестает светить, когда его закрывает туча. И я, хотя меня свергли с престола изменники и лжесвидетели, все же императрица!»

В этих словах — вся Марина.

Пытаясь привлечь на свою сторону Сигизмунда III, она пишет ему под Смоленск, взывая к его состраданию, ища у него справедливости и заступничества. «Я все потеряла, — жалуется она, — нерушимы лишь права моего дела и мои права на московский престол!»

Увы, король даже не соизволил ей ответить.

Марина была в отчаянии, не зная, что делать дальше. Она могла выйти из игры и вернуться на родину, но для нее была невыносима одна только мысль о том, что в Польше будут смеяться над ней — «глумиться над моим

горем», как писала она одному из родственников. Гордость не позволяла ей отказаться от претензий на престол, боязнь увидеть злорадство в глазах старых знакомых вынуждала продолжать уже почти безнадежную борьбу. Чуть позже Марина так объясняла свое решение остаться в России: «будучи повелительницей народов, московской царицей», она уже не может снова стать обычной шляхтянкой и подданной.

Итак, выбор был сделан. Марина решила последовать за мужем в Калугу, но исполнить задуманное оказалось не так-то просто. В Тушине следили за каждым ее шагом. Однако нужные люди были подкуплены, удобный случай все-таки представился, и однажды ночью, в марте 1610 года, переодевшись в мужское платье, Марина верхом в сопровождении нескольких верных казаков бежала в Калугу, где ее встретили колокольным звоном, как истинную царицу.

Здесь она с радостью обнаружила, что еще не все потеряно: в Калуге вокруг самозванца собрались его русские приверженцы, обиженные на «безбожную литву». После того как он поссорился с поляками, его положение вновь укрепилось, к нему примкнули многие бывшие тушинцы, недовольные диктаторскими замашками польских «децемвиров», но и признавать царем Шуйского тоже не желавшие. Теперь, сидя в Калуге, «тушинский вор» не без успеха начал разыгрывать из себя патриота и ревностного защитника православия. Но и в новой роли он остался тем же, кем и был, — хитрым невеждой, темным искателем приключений, не обладавшим ни даром красноречия, ни личной отвагой, ни умением увлечь за собой людей на поле боя, а вдобавок еще и пьяницей.

5

Между тем события развивались стремительно.

Польская армия во главе с талантливым полководцем, гетманом Жолкевским, в июне 1610 года наголову разгромила русское войско в злосчастной битве у села Клушино; спустя три недели в Москве произошел переворот, Василий Шуйский лишился престола и насильно

был пострижен в монахи; Боярская дума избрала царем сына Сигизмунда III, королевича Владислава; Жолкевский, не встречая никакого сопротивления, двинулся к столице и уже в сентябре ввел польские отряды в Кремль.

Чуть раньше Лжедмитрий II тоже рванулся было к Москве в надежде занять опустевший престол, но быстро понял, что армия Жолкевского ему не по зубам, и отступил обратно в Калугу.

Хотя вскоре ему присягнули несколько городов, возмущенных бесчинствами поляков, его дни были уже сочтены. Может быть, ему еще удалось бы продержаться какое-то время на волне набравшего силу национального движения, однако он сам приблизил свой конец.

Обстоятельства, предшествовавшие его гибели, были таковы.

Двумя годами раньше, когда самозванец еще находился в Тушине и пребывал в зените славы, к нему на службу перешел касимовский хан Ураз-Магомед с несколькими сотнями татарских всадников. Он был принят с большими почестями, Лжедмитрий II подарил ему золотую нагрудную цепь и драгоценную саблю, украшенную бирюзой, а его сына-подростка включил в состав своей парадной свиты. Но все эти милости не удержали хана от очередной измены. Когда звезда самозванца начала клониться к закату, Ураз-Магомед, как многие другие тушинцы, покинул его и перебежал к более перспективному покровителю — гетману Жолкевскому. Однако его сын остался с прежним хозяином, последовав за ним в Калугу. Может быть, он сделал это и по доброй воле, как считали современники, но вероятнее все же, что казаки задержали его в качестве заложника, причем не одного, а вместе с женой и матерью Ураз-Магомеда. По-видимому, не что иное, как опасения за их жизнь заставили часть касимовских татар также прибыть в Калугу и продолжать службу самозванцу.

После того как Жолкевский занял Москву, Ураз-Магомед, соскучившись по семье и испытывая понятную тревогу за судьбу жены, матери и сына, решил попытаться тайно вывезти их из Калуги. Под видом простого татарина он проник в город, встретился с семьей, чтобы обговорить план побега, но сын то ли отказался бежать

и вдобавок имел глупость рассказать о предложении отца Лжедмитрию II, то ли о визите Ураз-Магомеда стало известно от доносчиков. Всегда отличавшийся мстительностью самозванец велел схватить хана. Ураз-Магомед был убит, труп бросили в реку, а находившимся в Калуге татарам, встревоженным его исчезновением, объявили, будто он уехал обратно в Москву. Но правду скрыть не удалось. Князь Урусов, предводитель татарского отряда, обвинил самозванца в убийстве хана, за что был бит кнутом и брошен в темницу. Он просидел в оковах несколько дней, однако потом был освобожден по ходатайству Марины, не предвидевшей, что тем самым она выносит мужу смертный приговор. Урусов ничего не забыл, ничего не простил и ждал лишь случая, чтобы отомстить за все.

Случай представился 22 декабря 1610 года.

Накануне Лжедмитрий II получил известия о том, что к нему перешли несколько мелких городов, что казакам удалось обратить в бегство какой-то польский отряд. Казалось, удача вновь начинает ему улыбаться. Решено было отпраздновать эти успехи, и на следующее утро самозванец с большой свитой отправился на охоту. Марина осталась в городе. В ближайшее время она должна была рожать, шел последний месяц ее беременности, и отец с нетерпением ожидал появления на свет «наследника престола».

Самозванец сидел в роскошно убранных санях, уставленных баклагами с винами и медами. В других санях находились его приближенные, челядь ехала верхом, а обязанности начальника конвоя исполнял князь Урусов со своими татарами числом до трех сотен.

Пышная кавалькада выехала за город и остановилась в поле. Началась охота. Загонщики поднимали зайцев и травили их собаками, а самозванец, восседая в санях, любовался зрелищем. Сам он в охоте участия не принимал, но, когда собаки настигали очередного зайца, выпивал чарку и из собственных рук угощал толпившихся вокруг саней «ближних людей». Поскольку охота была удачная и зайцев затравили много, очень скоро все перепились, в том числе и сам «царь».

Урусов только этого и дожидался.

Улучив момент, он подал знак своим татарам. Те уже

знали, что нужно делать, и мгновенно разделились на две части. Одна группа, большая, заняла такую позицию, чтобы не допустить к саням находившихся неподалеку казаков и загонщиков; другая окружила сани с самозванцем и оттеснила его русских спутников в сторону. Пьяный «царь» еще ничего не успел понять, как Урусов почти в упор выстрелил в него из пистолета. Налетевшие тут же татары изрубили самозванца саблями, сорвали с него шубу, богатые одежды, захватили все ценное, что находилось в «царских» санях, и усаkali. Никто из приближенных «государя» не осмелился прийти к нему на помощь.

Но еще прежде чем на него набросились татарские всадники, Урусов отрубил самозванцу голову и правую руку, которые увез с собой. Это свидетельствует, что им двигало не только благородное желание отомстить за смерть Ураз-Магомеда, но и деньги, полученные от тех, кому он впоследствии предъявил свои трофеи. По-видимому, Урусов был подкуплен поляками или их русскими союзниками-боярами, опасавшимися, что «царь Дмитрий» вновь может восстать из мертвых, и потому желавшими иметь надежные доказательства его гибели.

Покончив с самозванцем, татары усаkali, русские сподвижники «государя» в ужасе разбежались. Изрубленный, обезглавленный труп остался в санях и пролежал там до вечера, когда наконец высланные из Калуги люди увезли его в город.

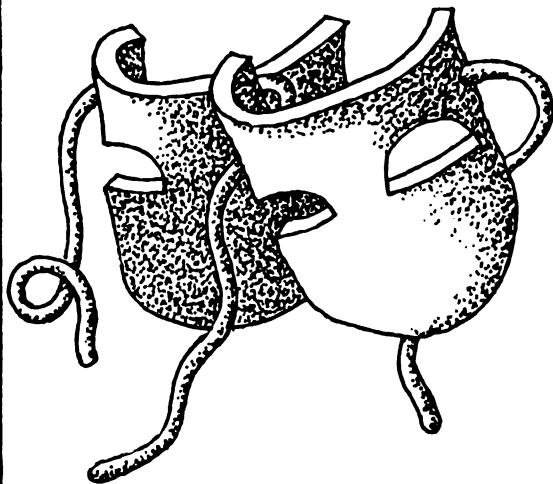
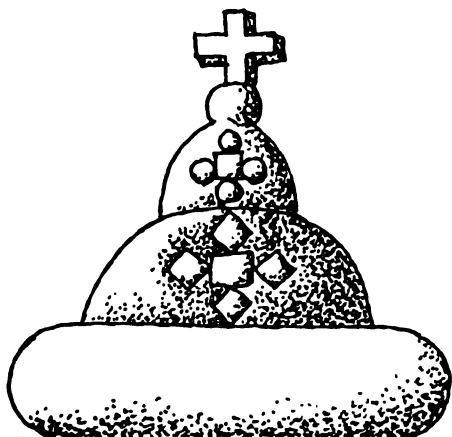
Спустя несколько дней Марина родила сына, с которым отныне были связаны все ее надежды. Младенца крестили по православному обряду, нарекли Иваном и вскоре, все в той же Калуге, торжественно провозгласили «царем и великим князем всея Руси Иваном Дмитриевичем». Мальчику суждено было прожить три года. В народе за ним как за сыном «тушинского вора» навсегда закрепилось прозвище «воренок».

После смерти Лжедмитрия II руководящее положение среди его приверженцев занял казачий атаман Заруцкий. Железной рукой подчинив себе Калугу и близлежащие города вплоть до Коломны, он объявил себя сторонником «царя Ивана Дмитриевича». Заруцкий

мечтал возвести его на московский престол, а самому стать при нем кем-то вроде регента и править от имени малолетнего царя. Марина разделяла эти планы — с той лишь разницей, что после воцарения сына сама рассчитывала стать фактической правительницей государства.

В 1612 году Заруцкий вступил в борьбу с отрядами князя Пожарского, но потерпел поражение. Понимая, что сделать «воренка» московским государем не удастся, он теперь вынашивал новый замысел: основать в низовьях Дона и Волги независимую казачью державу с сыном Марины на престоле.

Покинутая всеми, ставшая государственной преступницей не только для освобожденной от поляков Москвы, но, по сути дела, и для Кракова, Марина решила связать судьбу с Заруцким. Они бежали в Астрахань, где Заруцкий попытался привлечь на свою сторону персидского шаха Аббаса, но восстали возмущенные его самоуправством астраханцы. Заруцкий с Мариной, ее сыном и двумя-тремя сотнями казаков покинули город. Они плыли на челнах вдоль берега, и во время ночлега на них напали московские стрельцы. Большая часть отряда была перебита или захвачена в плен, но сам Заруцкий с Мариной успели уйти в море. В конце концов они вошли в устье Яика и поднялись до Медвежьего острова, где их и настигли преследователи, 4 июля 1614 года Заруцкий, Марина и ее сын были выданы казаками, увезены в Астрахань, а оттуда в оковах доставлены в Москву. Здесь их ожидала мучительная казнь. Заруцкий после долгих допросов и пыток был посажен на кол, трехлетнего Ивана Дмитриевича удавили в тюрьме. Марину заточили в одной из башен Коломенского кремля, где она в том же году умерла «от болезни и с тоски», как объясняли ее смерть русские послы в Польше. Но народная легенда гласит, что «колдунья Маринка» вовсе не умерла, а обернулась сорокой и улетела на родину.



«ДЕТИ» ЦАРЯ ДМИТРИЯ

Несчастливого «воренка», трехлетнего сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II, удавили в 1614 году, но настало время, когда и его дух был потревожен.

1

В 1643 году при дворе царя Михаила Федоровича стало известно, что в Польше проживает у иезуитов какой-то «мужик» лет тридцати, то есть примерно того же возраста, какого достиг бы к этой поре казенный «воренок». Этот «мужик» называет себя «царевичем Иваном Дмитриевичем» и будто бы имеет на спине, между лопатками, «пятно» в виде двуглавого орла — вернейшее, как считалось, доказательство царского происхождения. Но хуже всего было то, что самозванец находился на государственном обеспечении. Ему выдавали от короля «корм и жалованье» и, значит, предполагали использовать для вмешательства в русские дела.

Прибывшие вскоре в Варшаву московские послы потребовали выдачи «вора» и узнали о нем следующее.

В Смутное время некий польский шляхтич Луба служил у гетмана Жолкевского и ходил с ним на Москву, взяв с собой в поход своего маленького сына по имени Ян, поскольку был вдовец. В одном из сражений Луба-старший был убит, а сироту взял на воспитание товарищ отца, шляхтич Белинский. Он привез мальчика в Поль-

шу и начал выдавать его за сына Марины Мнишек и царя Дмитрия. Легенда была такова: после гибели мужа, опасаясь за жизнь малолетнего царевича Ивана, мать тайно передала ребенка ему, Белинскому, а себе взяла другого младенца, труп которого затем и был повешен в Москве.

Когда Ян Луба вырос, Белинский на сейме предъявил его королю и панам из королевской Рады, изложив им эту байку. Едва ли ему поверили, но иметь про запас подобную фигуру было полезно на случай будущих столкновений с Москвой, поэтому Белинский получил, видимо, вожделенную награду, а юношу отдали иезуитам учиться латинской, польской и русской грамоте, назначив ему годовое содержание в 6 тысяч золотых. Позднее, правда, после заключения мирного договора с Москвой, это содержание уменьшили до сотни золотых, а вскоре и вовсе перестали давать какие бы то ни было деньги. Тратить золото на сомнительного самозванца сочли излишним, благо внешнеполитическая ситуация изменилась, русско-польские отношения временно вошли в относительно мирное русло.

Тогда бедный Луба начал приставать к Белинскому с расспросами. Он был в растерянности и не понимал, почему раньше его называли «царевичем московским» и давали деньги, а теперь он ничего не получает. Сам он, очевидно, на протяжении многих лет искренне верил в сочиненную его воспитателем легенду, но в конце концов его стали одолевать сомнения. Луба потребовал от Белинского прямого ответа на вопрос: чей он сын? На этот раз ему сказано было честно: увы, он не царевич московский, а польский шляхтич Ян Луба, сын Дмитрия Лубы. Но, желая как-то оправдаться перед воспитанником за многолетний обман, Белинский тут же сочинил новую историю. В ней опять-таки фигурировала попытка подменить маленького царевича другим ребенком, но уже не успешная, как в прежнем варианте, а неудачная. Будто бы в то время, когда Заруцкого, Марину Мнишек и ее сына с Яика привезли в Москву, там же находился и Белинский с малолетним Лубой. Узнав, что царевич должен быть казнен, он каким-то образом хотел выкрасть его и заменить своим воспитанником, но не

успел: казнь свершилась раньше, чем этот замысел был приведен в исполнение

Неизвестно, как воспринял рассказ сам Луба, но русские послы по-прежнему требовали или «казнить его смертью», или выдать на расправу в Москву. Горький опыт Смуты вынуждал их быть непреклонными во всех ситуациях, связанных с появлением самозванцев, даже таких не слишком-то опасных, как Луба, чье происхождение уже никем не скрывалось. Обжегшись на молоке, в Москве дули на воду. Но выдавать «природного шляхтича» Лубу поляки не желали: для них это был вопрос государственного престижа. Наконец они согласились отправить его к царю, но не с русскими послами, а со своими собственными, и лишь в том случае, если ему будет гарантирована безопасность во время пребывания в Москве.

Царь Михаил Федорович на бумаге дал такие гарантии, король Владислав тоже в письменном виде обещал отправить к нему самозванца, и в ноябре 1644 года в Москву прибыл польский посол Стемпковский, привезя с собой злополучного Лубу.

Однако на переговорах бояре заявили послу, чтобы он отдал «вора» государю, а уж тот «велит учинить об нем по своему государскому рассмотрению». Это конечно же было нарушением достигнутой договоренности, и Стемпковский отказался.

Начались бесконечные нудные препирательства. Впрочем, через пару месяцев и они прекратились. Поляков попросту перестали приглашать на переговоры во дворец. На родину их тоже не отпускали, не позволяли даже никуда отлучиться со двора, видимо надеясь взять измором. Дело затянулось на полгода. Нетрудно представить, какие чувства испытывал все это время Луба, сидевший на посольском подворье, как в осажденной крепости. В любой момент русские могли применить силу, и тогда уже ничто не спасло бы его от пыток и мучительной казни. Но столь грубо нарушить гарантии, данные самим царем, в Москве все-таки не решались: это грозило серьезным осложнением отношений с Речью Посполитой.

Тем временем царю окончательно стало не до Лубы: Михаил Федорович тяжело заболел. Осмотрев его, ино-

земные доктора нашли, что желудок, печень и селезенка «по причине накопившихся в них слизей лишены природной теплоты, и оттого кровь понемногу водянеет». Государя лечили рейнвейном, приправляя вино разными травами и кореньями, запретили пить холодное и кислое, но диета и лекарства были бессильны против болезни, проистекавшей от «многого сидения и меланхолии» (шестью годами раньше царь почти в одночасье потерял двоих сыновей, а теперь на него обрушилось еще одно семейное несчастье: датский королевич Вольдемар, жених его дочери, уже будучи в Москве, отказался принять православие, и брак расстроился). В день своих именин, 12 июля 1645 года, Михаил Федорович пошел к заутрене, но в церкви ему стало дурно, и его на руках принесли обратно в покои. Ночью царь скончался.

Для Лубы его смерть стала настоящим подарком судьбы. Уже через десять дней новый государь, Алексей Михайлович, дал аудиенцию польским послам. Он объявил, что «хочет быть с королем в крепкой братской дружбе и в любви», и в доказательство искренности этого желания Луба был отпущен восвояси. Правда, при условии, что в Польше он будет содержаться в «большой крепости», то есть под строгим караулом, чтобы не сумел, не дай Бог, бежать к донским или запорожским казакам, всегда готовым затеять какое-нибудь «воровство», а при наличии подходящего самозванца — тем более.

Клятвенно обещав, что незамедлительно по прибытии в Польшу бывшего «царевича» посадят под стражу, послы наконец двинулись в обратный путь, увозя с собой целого и невредимого Лубу. И вот тут-то невольный, как уверяли его покровители, самозванец проявил себя с неожиданной стороны. Он оказался отнюдь не тем невинным агнцем, каким его живописали поляки. Вырвавшись из страшной для него Москвы, Луба поначалу вел себя смирно, однако, после того как посольский поезд пересек границу, с ним произошла разительная перемена. На радостях он распустил язык. Теперь ему ничто не угрожало, можно было говорить все, что вздумается. Избавившись от смертельной опасности, Луба почувствовал себя героем, при этом выяснилось, что воспитанник Белинского отнюдь не был просто жертвой обмана и игрушкой в руках своего корыстного

воспитателя. Обнаружилось, что он не только не прочь сам обманываться насчет своего якобы царского происхождения, но и с легкостью может дурачить легковых соотечественников. По дороге в Польшу, в Минске и других городах Великого княжества Литовского, где русское правительство издавна имело надежных осведомителей из числа местных православных, Луба беседовал с разными людьми и хвалился, будто король Владислав посылал его в Москву для освидетельствования, будто русский царь, поговорив с ним, признал его подлинным царевичем, истинным сыном покойного государя Дмитрия Ивановича. Якобы он, Луба, дал молодому русскому царю обещание никогда силой не домогаться родительского престола, после чего с великим почетом был отпущен на жительство в Польшу.

Вскоре в Москву донесли о крамольных «речах» Лубы, свидетельствующих, что он ничуть не раскаялся в своем «воровстве». Вдобавок стало известно, что польская сторона самым возмутительным образом нарушила взятые на себя обязательства: Лубу и не думали сажать под стражу, он пользовался полной свободой. Более того, король назначил его писарем королевской пехоты. Для простого шляхтича это была головокружительная карьера: должность была высокой, почетной и кроме солидного жалованья сулила еще немалые побочные доходы. Словом, не получив скипетр и державу московских царей, самозванец довольствовался чернильницей и печатью войскового писаря, что для него тоже было большой удачей. Луба, вероятно, был совершенно удовлетворен таким поворотом судьбы, но в Москве это восприняли с нескрываемым раздражением. Прибывшее в Варшаву новое русское посольство выставило перед королем старые требования: или выдать Лубу, или казнить его на глазах у послов, чтобы они могли удостовериться, что «вор» понес заслуженное наказание. Впрочем, ни того ни другого добиться не удалось. В это время умер король Владислав, наступила обычная для Речи Посполитой неразбериха, связанная с периодом «межкоролевья», к тому же на Украине началось восстание Богдана Хмельницкого. И перед Москвой, и перед Варшавой встало множество гораздо более важных проблем, чем вопрос о незадачливом самозванце.

Весной 1648 года восточные окраины Польско-Литовского государства запылали в огне казацкого бунта. Уже в мае поляки во главе с гетманом Потоцким были наголову разбиты в двухдневном сражении под Желтыми Водами, сам коронный гетман попал в плен и был отослан к союзнику Хмельницкого — крымскому хану. Поляки двинули в мятежную Украину все свои силы, в том числе королевскую пехоту, где Луба служил писарем. Начавшиеся были мирные переговоры прервались, 21—23 сентября 1648 года армия князя Острожского сошлась с казаками Хмельницкого в знаменитой битве под Пилявцами.

В первый день успех сопутствовал полякам, но наутро Хмельницкий сумел переломить ход сражения. К вечеру второго дня, потерпев серьезный урон, польские войска отступили в свой лагерь, а на рассвете взятый дозорными «язык» рассказал, что ночью на помощь казакам подошла сорокатысячная крымская орда. На самом деле татар было вдесятеро меньше, но слухи о неслетной татарской коннице уже дошли до предводителей поляков. Хотя сражение не возобновлялось, к концу дня пронеслась весть, будто Острожский вместе с другими высшими командирами тайно покинул лагерь, бросив армию на произвол судьбы. Началась паника. В ночь на 23 сентября поляки обратились в бегство, казаки пустились в погоню, и где-то в этой кровавой сумятице нашел свою смерть бывший претендент на московский престол, войсковой писарь Ян Луба.

Нашлись люди, которые сообщили о его гибели в Москву. Там, надо полагать, были довольны; о случившемся доложили Алексею Михайловичу. Даже в вихре бурных событий на Украине конец самозванца не остался незамеченным: тень несчастного «воренка» перестала существовать.

2

Другой мнимый сын царя Дмитрия объявился двумя годами раньше на другом конце Европы.

В 1645 году, после смерти Михаила Федоровича, в Турцию были отправлены русские послы Телепнев и

Кузовлев. Им предстояло официально известить султана о кончине прежнего государя и восшествии на престол нового — царя Алексея Михайловича. Такие посольства направлялись в то время из Москвы ко всем сопредельным монархам.

К началу следующего, 1646 года послы добрались до Крыма, с позволения хана пересекли полуостров с севера на юг и остановились в прибрежной Кафе¹, дожидаясь весны, чтобы морем плыть в Стамбул. Однако неожиданная новость заставила их помедлить с отъездом. Дело в том, что весной, с одним из первых кораблей из Стамбула, в Кафу прибыл русский архимандрит Иоаким, ездивший по церковным делам к константинопольскому патриарху, и рассказал послам следующее.

Прошлым летом, проезжая через Крым, он услышал, что здесь объявился «неведомо какой человек», называющий себя царевичем Иваном, сыном царя Дмитрия. Понимая, что дело это нешуточное, Иоаким решил встретиться с самозванцем. Тот жил в каком-то «жидовском городке»², туда-то архимандрит и отправился. Встреча состоялась. «Царевич» стал жаловаться Иоакиму на крымского хана, который обещал дать ему войско для отвоевания «отцовского» престола, но обещание не выполняет. Затем самозванец принялся вербовать гостя в свои сторонники, обещая его «пожаловать» после того, как станет царем на Руси. Архимандрит, само собой, на его посулы не польстился и уехал в Стамбул.

Встревоженные этой новостью, Телепнев и Кузовлев начали собственное расследование. В Кафе было много русских и украинцев, угнанных в Крым во время татарских набегов; послы с ними беседовали, расспрашивая, не знают ли они что-нибудь о живущем в «жидовском городке» самозванце. К их удаче, нашелся один пленный казак из Полтавы, сказавший: «Я того вора, что называется Дмитриевым сыном, знаю. Родина его в городе

¹ Ныне Феодосия.

² Очевидно, крепость Чуфут-Кале под Бахчисараем или какое-нибудь другое поселение, где жили крымские караимы — потомки принявших иудаизм обитателей древней Хазарии или, по другой версии, представители древнейшей иудеистской секты, не признающей Талмуд.

Лубны, казачий сын, зовут Ивашка Вергуненок. Отца его звали Вергуном».

Среди украинских казаков («черкас», как их называли в Москве) долго сохранялась память об обоих Лжедмитриях. Этой памятью и воспользовался Вергуненок, решив попытать счастья в роли задушенного за тридцать четыре года до этого «воренка».

В отличие от Лубы, это был типичный казачий авантюрист с разбойничьими наклонностями. Когда после смерти отца он стал пить, буяннить и во хмелю поколачивать родную мать, та выгнала его из дому. Вергуненок подался в Запорожскую Сечь, оттуда ушел на Дон. Там он был несколько раз уличен в кражах и бит смертным боем. Обидевшись на все казачество, Вергуненок с тремя такими же, как он сам, товарищами начал на свой страх и риск разбойничать в южнорусских степях и в конце концов попал в плен к татарам, которые продали его какому-то еврею из Кафы. Жить в неволе было неслладко, но Вергуненок нашел весьма оригинальный выход из положения. Он решил объявить себя чудесно спасшимся «царевичем Иваном Дмитриевичем». Однако, для того чтобы легенда выглядела убедительнее, следовало заранее позаботиться о доказательствах.

Существовало народное поверье, будто человек, в чьих жилах течет царская кровь, непременно имеет на теле особые «знаки» в виде родимых пятен. Вергуненок, по-видимому, знал само поверье, но понятия не имел, на что эти «знаки» должны быть похожи. Он целиком положился на собственную фантазию, которая не пошла дальше чисто мусульманской символики. Вергуненок дал денег знакомой русской полонянке, и та, обещав держать все в секрете, выжгла у него на спине, между плечами, изображение звезды и полумесяца.

Когда рана зажила, он и объявил хозяину о своем «царском происхождении». В доказательство этих слов был предъявлен ожог, к тому времени принявший вид натурального родимого пятна. То ли еврей в самом деле поверил своему невольнику, то ли решил с выгодой для себя использовать столь удачно объявившегося у него в доме «царевича». Посовещавшись с другими кафинскими евреями, он отправил гонца в Бахчисарай, к хану. Пока суд да дело, к Вергуненку стали относиться с по-

честями. Теперь хозяин не заставлял его работать, хорошо кормил. Скоро весть о «царевиче» разнеслась среди находившихся в Кафе русских пленников. Многие приходили посмотреть на него, приносили подарки. Эти люди, оторванные от семей, страдающие на чужбине, измученные многолетней неволей, готовы были ухватиться за малейшую надежду и поверить любому, кто сулил им избавление от рабства. Вергуненок охотно с ними беседовал, еще более охотно принимал скромные подношения, а в награду неопределенно обещал их «пожаловать» после того, как с помощью крымского войска взойдет на московский престол.

Тем временем хан доложил о «царевиче» в Стамбул. Дожидаясь указаний от султана, он отослал Вергуненка в «жидовский городок» и приказал держать его под стражей. Это было исполнено: самозванца заковали в цепи и посадили под замок.

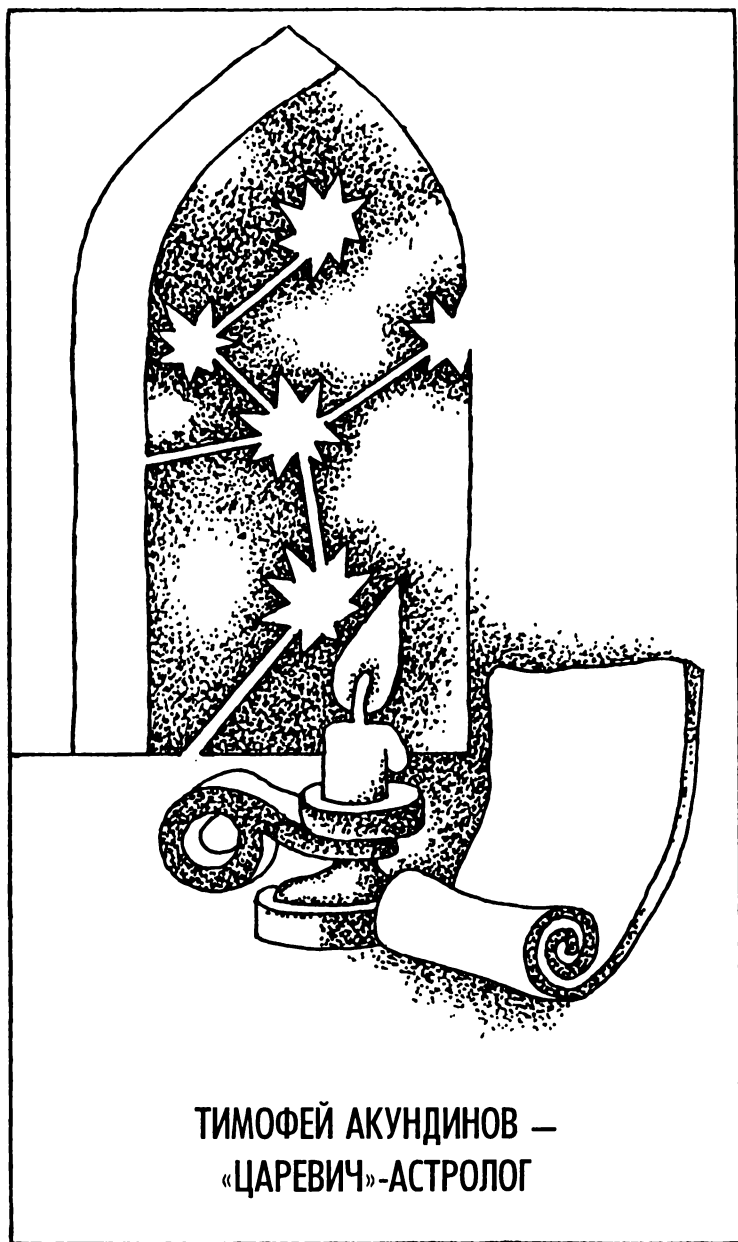
Что с ним случилось дальше и где он теперь, послы выяснить не сумели. На дальнейшие изыскания у них не оставалось времени: навигация открылась, пора было плыть в Стамбул. Лишь прибыв ко двору султана, они узнали, что еще осенью сюда же доставили Вергуненка и теперь тот находится где-то поблизости. Турки берегли его, чтобы в нужный момент выложить на стол этот козырь в дипломатической игре с Москвой. Имея на руках «царевича», можно было, например, потребовать от царя, дабы тот оказал давление на донских казаков, если те предпримут поход на Азов или начнут разбойничать на Черноморском побережье.

Впрочем, поначалу Телепнев и Кузовлев не были уверены, что живущий в Стамбуле «царевич» и есть тот самый «вор», о котором они слышали в Кафе. Послы начали осторожно о нем «проведывать». Наконец никаких сомнений не осталось. Тогда, будучи на аудиенции у великого визиря, послы заявили ему, что султан пригласил на груди змею, что этому «вору» верить никак нельзя: пускай, мол, прикажут допросить его с пристрастием, и на дознании откроется, что он вовсе не царевич, а казачий сын Ивашка Вергуненок.

Увы, протест остался без ответа. Вскоре, однако, вложив к великому визирю греческий православный священник Амфилохий тайно дал знать послам, что само-

званец удален из дворца и посажен под караул в одном из предместий турецкой столицы. Почему он вдруг впал в немилость? Отнюдь не из-за посольских разоблачений. Причина его опалы была самая банальная: Вергуненок вновь проявил неистребимую склонность к тому, за что мать когда-то выгнала его из дома, — стал пить и во хмелю драться с приставленными к нему «басурманами».

Это последнее, что послам удалось о нем узнать. В Москву тоже никаких донесений о Вергуненке больше не поступало, дальнейшая его судьба неизвестна. Скорее всего, он был отправлен гребцом на галеры, где и сгинул.



ТИМОФЕЙ АКУНДИНОВ —
«ЦАРЕВИЧ»-АСТРОЛОГ

Эпидемия самозванчества, терзавшая Россию в начале XVII века, пошла на убыль после избрания на царство Михаила Федоровича Романова в 1613 году, тем не менее и в последующие десятилетия не переводились охотники примерить на себя «царское имя». Помимо уже упоминавшихся «детей» царя Дмитрия, появился «царевич Август» — «сын» Ивана Грозного от Анны Колтовской и «царевич Лаврентий» — «внук» все того же Грозного от убитого им старшего сына Ивана. Что касается царя Федора Ивановича, у него один за другим, а то и одновременно, объявилось целых восемь «сыновей» — Федор, Климентий, Савелий, Семен, Василий, Ерофей, Гавриил и Мартын. Впрочем, ни одному из этих и подобных им «царевичей» не удалось добиться хоть сколько-нибудь заметных успехов.

Но в этой веренице неудачников резко выделяется Тимофей Акундинов — последний из серии самозванцев, чья легенда была связана с событиями Смутного времени, и единственный, кто ареной своей бурной деятельности сумел сделать всю Европу от Стамбула до Стокгольма, от Венеции до Венгрии, от Молдавского княжества до герцогства Голштинского.

Это, вне всякого сомнения, был человек выдающийся.

В то время, когда русские люди практически не выезжали за границу и, как черт от ладана, шарахались от еретических «чужеземных обычаев», Акундинов говорил

на нескольких языках, свободно чувствуя себя и в сербском монастыре, и в Виттенбергском университете, и во дворце турецкого султана, и в покоях римского папы в Ватикане, и в тронном зале шведских королей. Всюду он был принят, всюду с поражающим воображение упорством плел свою интригу и со столь же поразительной беспринципностью менял не только платье, но и кожу, из православия переходя в ислам, из мусульманина превращаясь в католика, из католика — в протестанта, чтобы в конце концов завершить многомятежную жизнь на плахе, под топором московского палача.

Этой жизни хватило бы на несколько авантюрных романов, но мы попытаемся воссоздать ее без затей, в том виде, в каком она вырисовывается из дошедших до нас документов и записок современников.

1

Тимофей Акундинов, по отчеству — Демидович, родился в 1617 году в Вологде. Отец его торговал холстами, но вскоре после рождения сына то ли разорился, то ли по какой-то другой причине оставил свое занятие, не приносившее ему, надо полагать, больших доходов, и перешел в услужение к вологодскому архиепископу Варлааму, переселившись вместе с семьей к нему на подворье. С раннего детства Акундинов-младший рос и воспитывался при архиепископском дворе, здесь же обучился грамоте. Владыка обратил внимание на способного мальчика, кроме всего прочего обладавшего еще и чудесным голосом, взял его в соборные певчие и вообще приблизил к себе.

Сам Акундинов позднее рассказывал, что Варлаам неизменно дивился его уму, называя отроком «княжеского рождения» и «царевой палатой». От подобных лестных прозвищ, как говорил о себе сам Акундинов, ему «в мысль вложилось», будто он и впрямь сын какого-то знатного человека. При этом, правда, он утверждал, что вырос сиротой, отца и матери не помнит, не знает даже, какого они рода и звания. На самом деле он все детство прожил с родителями, но, может быть, став любимцем Варлаама, действительно позволял себе думать, что это

не настоящие его родители, а настоящие — какие-то другие, более соответствующие его природным талантам, чем отец Демид и мать Соломонида. Такое случается с выросшими в простых семьях, но честолюбивыми, самовлюбленными и одаренными богатой фантазией детьми. Тяготясь заурядностью близких, они воображают себя подкидышами с блестящей родословной.

У Акундинова эта игра затянулась на всю жизнь, и порой возникает ощущение, что он не только спекулировал своим якобы царским происхождением, но отчасти сам в него верил.

Во всяком случае, в одном Акундинов не лгал: архиепископ Варлаам любил его, и любил настолько, что выдал за него замуж свою внучку — дочь сына, которого он прижил, будучи еще мирянином. Он же, вероятно, поспособствовал карьере зятя, пристроив его в вологодскую «съезжую избу», иначе говоря, в канцелярию местной судебно-полицейской управы. Здесь Акундинов служил сначала писарем, затем был произведен в подьячие. Здесь же, как он позже рассказывал, произошло событие, круто изменившее его жизнь. Будто бы однажды, разбирая старые казенные бумаги, он случайно обнаружил некий загадочный документ, который наконец-то пролил свет на тайну его рождения. Якобы из этого документа явствовало, что он, Тимофей Акундинов, является не кем иным, как сыном царя Василия Ивановича Шуйского. Проникнув в эту «великую» тайну, он будто бы и решил бежать из Московского государства, чтобы, во-первых, уберечься от опасностей, грозивших ему на родине как царскому сыну, а во-вторых, добиться подобающего человеку такого ранга положения.

Но даже если этот замысел и вправду возник в Вологде, до его исполнения было еще далеко.

В вологодской «съезжей избе» Акундинов служил под началом очень благоволившего ему дьяка Ивана Патрикеева. Затем Патрикеева перевели в Москву, и он взял с собой своего протеже, пристроив его подьячим в «новую четверть» — приказ, ведавший царевыми кабаками и «кружечными домами». Но через некоторое время Патрикеев за какие-то «вины» впал в немилость и подвергся наказанию. Тогда-то Акундинов и бежал в Литву из опа-

сения разделить участь своего, как он говорил, «большого друга и оберегателя».

Такова была его собственная версия, которую он изложил уже под пыткой в московском застенке.

По-иному объяснял дело Константин Конюховский, верный товарищ и спутник самозванца во всех его многолетних скитаниях. По его словам, после смерти отца Акундинова, Демида, его мать второй раз вышла замуж, из-за чего сын жестоко с ней рассорился. К тому же, несмотря на молодость, Акундинов успел нажить немало врагов и был втянут в судебные тяжбы («со многими людьми затягался»). Ссора с матерью стала последней каплей, Акундинов задумал бежать в Литву и соблазнил своего приятеля Конюховского, подбывшего Разбойного приказа, бежать вместе с ним, убедив его, что «им там будет хорошо».

Но еще правдоподобнее выглядит рассказ секретаря голштинского посольства Адама Олеария, хорошо знавшего и самого Акундинова, и всю его историю. Олеарий пишет, что Акундинов оказался в Москве на необычайно выгодной и соблазнительной должности: через его руки проходили колоссальные суммы, поступавшие в «новую четверть» из государевых кабаков и «кружал» по всей Руси. Устоять перед искушением было трудно, тем более что Акундинов питал склонность к вину, игре в кости и даже, по слухам, к плотским утехам с мальчиками. В общем, история его падения развивалась по обычному сценарию: на первых порах он вел себя осторожно, потом стал брать понемногу и наконец растратил столько, что скрыть было уже невозможно. Чтобы возместить растрату, Акундинов начал делать долги, денег все равно не хватило. Кредиторы, в числе которых был некий Шпилькин (мы с ним еще встретимся), потащили его в суд, надвигалась ревизия, положение становилось абсолютно безнадежным: ему грозили кнут и ссылка. Остался один путь — за границу.

В то время Акундинову было двадцать шесть лет, он имел двоих детей — сына и дочь. К жене, надо полагать, никаких нежных чувств не испытывал, иначе не сделал бы того, что сделал.

По своему происхождению Акундинов не мог претендовать на роль политического эмигранта, самозван-

чество было для него единственным, хотя и рискованным, способом вызвать к себе интерес за границей. Но, понимая, что появление самозванца неизбежно привлечет внимание и московских властей, он с характерной для него циничной изобретательностью решил замести следы, инсценировав собственную гибель, чтобы считаться не беглецом, а мертвецом. Жена должна была быть принесена в жертву этому плану.

Вечером накануне побега Акундинов забрал обоих своих детей, увел их к приятелю и под каким-то предлогом оставил там ночевать. Сам вернулся домой и ночью, когда жена уснула, запер ее, а затем поджег дом и бежал. Изба сгорела вместе с несчастной женщиной (это подтверждал и Конюховский, и другие свидетели). Вероятно, Акундинов был уверен, что потушить пожар не удастся, и надеялся, что его тоже сочтут погибшим в огне. Для того чтобы превратиться в царевича из рода Шуйских, он должен был, как в сказке, сначала сгореть дотла, стать пеплом на пожарище родного дома.

2

Акундинов бежал из Москвы осенью 1643 года, а пятью годами раньше, в январе 1639 года, к православному священнику, жившему в окрестностях города Самбора на Львовщине, пришел человек «из черкас», то есть с Украины, и попросился к нему в работники. Священник оставил его у себя. Через неделю, когда работник разделся до пояса, хозяин увидел у него на спине родимое пятно странной формы — классическую отметину всех русских самозванцев. Как правило, они обзаводились ею заблаговременно, дабы, в полном соответствии с народными поверьями, доказать свое царское происхождение.

Работника доставили к коронному подскарбию (казначею) Даниловичу. Тот заставил его раздеться, осмотрел «пятно» в виде звезды и креста, потребовал объяснений и услышал, что звезда и крест — фамильные знаки рода Шуйских и перед ним стоит князь Семен Васильевич Шуйский, сын царя Василия Шуйского. Будто бы в

малолетстве он был выкраден у отца казаками, и лишь теперь ему удалось от них бежать.

Кто был этот человек, неизвестно. Идея носилась в воздухе, и двум людям почти одновременно пришла мысль объявить себя сыновьями давно низложенного русского царя. Разница лишь в том, что Акундинов назвался не Семеном, а Иваном Васильевичем.

Что касается первого, то, как уверяли поляки, Данилович сразу понял, что «этот вор вляется в государственное имя», приказал бить его жожгами и прогнать со двора. Так или нет, но «Семен Шуйский» из Польши подался в Молдавию, где был выдан русскому послу Дубровскому. Самозванца убили, а голову и кусок кожи со спины, вырезанный из того места, где находилось «пятно» в виде звезды и креста, отвезли в Москву как доказательство смерти «вора».

Акундинов слышал о нем и не уличал его во лжи, а, напротив, называл своим «старшим братом», судьбой этого человека иллюстрируя ненависть Романовых к Шуйским. Он рассказывал, что сам молдавский господарь предательски убил «князя Семена», отослав затем содранную с него кожу царю Михаилу Федоровичу, который «велел кожу эту накласть золотом и дорогими камнями» и в таком виде отправил обратно в Молдавию в благодарность за оказанную услугу. Акундинов, очевидно, не знал о «пятне» на теле «брата болшего» и, не понимая, зачем с мертвеца содрали кожу, объяснял дело по-своему.

Сам он под Самбором никогда не появлялся. Из Москвы они с Конюховским пробрались в Тулу, наняли возницу и без приключений прибыли в Новгород-Северский, расположенный уже по ту сторону русско-литовской границы. Здесь Акундинов объявил «подлинное имя», после чего был отвезен в Краков, к королю Владиславу. В отличие от незадачливого «брата», он играл такой образ, что никому в голову не приходило высечь его жожгами.

Акундинов был едва ли не единственным из русских самозванцев середины XVII столетия, кто не стал обзаводиться пресловутым «пятном» в виде двуглавого орла, креста или других популярных религиозных и государственных символов, якобы свидетельствующих о царской

крови, текущей в жилах их обладателя. Подобная хитрость казалась ему чересчур примитивной и вдобавок скомпрометированной многочисленными предшественниками на самозванческом поприще. Его сила была не в «пятне», а в образованности. Другие самозванцы, в большинстве своем выходцы из простонародья, могли действовать лишь в той среде, из которой вышли сами, Акундинов же с детства был «книжному учению навычен», вращался в обществе относительно просвещенной столичной бюрократии, имел дело с придворными кругами, с выходцами из Западной Европы (его дом в Москве находился рядом с подворьем шведского резидента) и знал, как нужно себя вести, чтобы в глазах иностранцев соответствовать возложенному на себя имени. Кроме того, он разработал оригинальную, практически не поддающуюся проверке и частично меняющуюся в зависимости от обстоятельств легенду. Она сделала бы честь любому профессиональному разведчику позднейших эпох.

В главных чертах суть ее такова.

Когда Василия Шуйского в 1610 году свергли с престола, постригли в монахи, а затем увезли на заточение в Польшу, его младшему сыну Ивану было всего полгода. Люди, преданные бывшему государю, спрятали ребенка от возможных преследований, воспитали и позднее предъявили царю Михаилу Федоровичу. Тот, не желая казнить ни в чем не повинного юношу и в то же время стремясь удалить вероятного соперника из Москвы, где он мог быть втянут в какой-нибудь заговор, отправил его в почетную ссылку, сделав наместником Перми Великой. Князь Иван уехал на берега Камы и Колвы. Там, на границе с Сибирью, он прожил несколько лет, но соскучился в таежной глуши и без разрешения возвратился в столицу. Прогневавшись, царь посадил ослушника под стражу, однако те же самые верные люди, которые его вырастили, помогли ему выйти на волю и добраться до Новгорода-Северского.

При польском королевском дворе знали, что полный титул русских государей включает в себя слово «Пермский». Если царь в числе прочих титулов (Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский и пр.) носил и такой, должна быть и земля, по которой он так

себя величает. Действительно, Пермь Великая (с городами Соликамском и Чердынью) была вполне реальной провинцией, но и в Москве-то далеко не все отчетливо представляли, где находится этот богом забытый край, а уж в Кракове и подавно. Акундинов был волен рассказывать о нем все что угодно, не рискуя быть разоблаченным. К тому же сам он происходил из Вологды, его покровитель, архиепископ Варлаам, считался владыкой Вологодским и Великопермским. Наверняка Акундинов мог ярко и со знанием деталей описать эту «полунощную» землю, которая для поляков и вообще для жителей Западной Европы была «землей незнаемой».

Зато род Шуйских в Польше был хорошо известен, причем там знали, что после воцарения Михаила Федоровича все Шуйские находятся в опале. Для человека, принадлежащего к этой некогда славной фамилии, естественно было искать убежище в Речи Посполитой, где всегда принимали родовитых эмигрантов из Москвы.

Впрочем, едва ли поляки поверили Акундинову столь уж безоглядно. Да этого, в общем-то, и не требовалось. Вопрос о доверии самозванцу был вопросом не психологии, а политики. Иметь про запас человека, претендующего на престол или, по крайней мере, на близость к престолу соседнего государства, было выгодно: при удобном случае его могли обменять на какие-то важные политические уступки со стороны этого государства. Но правила игры предполагали, что приютившая самозванца сторона должна делать вид, будто искренне верит в законность его претензий. Соответственно до тех пор, пока такой человек не станет разменной пешкой в дипломатической партии, он вправе был рассчитывать на уважительное с собой обращение, приличное содержание и прочие жизненные блага. Однако ему нужно было быть настороже, чтобы не упустить момент, когда вот-вот готовы будут прийти к соглашению о его выдаче. Тогда следовало бежать как можно дальше и как можно быстрее. Иначе за приятную жизнь в чужой стране пришлось бы расплачиваться на дыбе и на плахе в собственном отечестве.

До того как эта опасность приблизилась к нему вплотную, Акундинов прожил в Польше два года. Здесь он овладел тремя языками — польским, немецким и ла-

тыню, а впоследствии научился говорить еще на турецком и итальянском. Здесь же Акундинов пристрастился к сочинению русских виршей на польский манер и позднее некоторые свои послания писал в стихах. Одновременно увлекся астрологией, а возможно, и другими оккультными науками. Конюховский рассказывал о своем старшем друге: «Он, Тимошка, звездочетные книги читал и остроломейского учения держался, а я, Костка, звездочетью не умею и остроломеи не знаю».

Под «остроломеей» Конюховский понимал вместе астрологию и астрономию и даже высказывал мнение, что «звездочетье» и толкнуло Акундинова на его авантюру. Это свидетельство чрезвычайно любопытно. Не исключено, что Акундинов занимался предсказаниями и составлением гороскопов. Можно допустить, что странная привязанность к нему многих влиятельных людей и коронованных особ в разных странах отчасти объяснялась его талантами и в этой области. С другой стороны, возможно, астрологические штудии привели Акундинова к убеждению, что он является человеком необыкновенным, что он родился под каким-то уникальным расположением небесных светил и ему, следовательно, суждено совершить великие дела. Это убеждение в собственной исключительности ощущается даже в том, как он вел себя под пыткой.

Тем временем в Москве довольно быстро узнали о появившемся в Польше «князе Шуйском» и начали выяснять, кем же на самом деле он является. Это было необходимо, чтобы уличить его как «вора» и самозванца. Тот факт, что у царя Василия Шуйского детей вообще не было, а у двоих его братьев были только дочери, поляков не убедил.

Акундинов сам помог своим преследователям, совершив роковую ошибку: он, видимо, не то на исповеди открыл духовнику свое настоящее имя, не то просто наказал молиться за «раба Божьего Тимофея». Этого было достаточно. Жившие в Речи Посполитой православные священники и монахи всегда лояльно настроены по отношению к единоверной Москве, а многие из них выступали в роли осведомителей.

В Москве произвели сыск и уже с фактами в руках потребовали выдать бывшего подьячего Тимошку Акун-

динова, женоубийцу, называющего себя «князем Шуйским», или казнить его. Начались долгие переговоры. Поляки настаивали на более убедительных доказательствах, из Москвы в Краков слали показания свидетелей. Дело подвигалось медленно, но в целом политическая ситуация была благоприятна для русских: король Владислав собирался воевать с турками и не склонен был ссориться с Москвой по пустякам.

Дождаться окончания этих переговоров, не суливших ему ничего хорошего, Акундинов не стал. То ли он сам узнал о грозящей опасности через своих придворных покровителей, то ли король, соглашаясь его выдать, одновременно предупредил самозванца, что над ним сгущаются тучи. Акундинов бежал в Молдавию, где и услышал о судьбе «старшего брата».

Но ему повезло больше, чем несчастному «князю Семену Васильевичу». Молдавский господарь, выдав одного самозванца русским и заслужив тем самым дружбу московского государя, решил теперь выслужиться и перед турецким султаном. Поэтому второго «сына» Шуйского, свалившегося ему на голову, он отправил уже не в Москву, а в Стамбул.

3

Когда Акундинов предстал перед великим визирем Салих-пашой, тот спросил, почему «князь Шуйский», будучи царского рода, не объявил об этом в Москве, а ездит по чужим государствам.

Акундинов объяснил, что не стал объявлять о себе, боясь казни, и поехал в Польшу, но не захотел там жить, потому что польский король «пожаловал его не по достоинству».

На вопрос визиря, хочет ли он «побусурманиться», то есть принять ислам, Акундинов ответил: «Если султаново величество пожалует меня по достоинству, то я побусурманюсь».

Затем он предложил Салих-паше следующий план действий: султан Ибрагим II даст ему «турских ратных людей», с этим войском он пойдет на «московских ратных людей», которые против него, царского сына, вое-

вать не станут. Он займет русский престол, после чего в благодарность за содействие отдаст султану Астрахань с окрестностями.

У Салих-паши этот план особого энтузиазма не вызвал, тем не менее он оставил Акундинова при себе. К весне 1646 года, когда на берега Босфора прибыло посольство Телепнева и Кузовлева, он по-прежнему пользовался расположением великого визиря, жил при его дворе и даже, что было знаком благоволения, получал блюда с его кухни. Впрочем, эти милости прекратились после того, как русские послы, проведая о самозванце, заявили визирю, что тот имеет дело с обманщиком. Аргументы были весомые: царь Василий Шуйский умер почти сорок лет назад, а «этому воришке и тридцати годов нет». На очной ставке с самозванцем послы лично убедились в его очевидной молодости, и против их резонов Акундинову нечего было возразить. Тем более что свидетельство послов о смерти его «отца» приблизительно совпадало с данным турецких документов. В результате этих архивных разысканий положение Акундинова при дворе Ибрагима II сильно пошатнулось, однако Салих-паша и слышать не хотел о том, чтобы выдать его на расправу. Послы добивались разрешения увезти его с собой, но получили решительный отказ. В случае новых казацких набегов на Причерноморье визирь надеялся сделать самозванца орудием нажима на Москву, и тут важен был сам факт существования «князя Шуйского», а не его подлинность.

Среди приближенных Салих-паши имелся некий Зелфукар-ага (очевидно, принявший мусульманство грек или славянин), подкупленный послами и выполнявший роль их осведомителя и консультанта. Послы подступили к нему с вопросом: «Как бы вора достать?» Зелфукар-ага ответил, что путь один: действовать «большою казною». Но тут же выразил сомнение в надежности этого пути, сказав: «Только не потерять бы казны даром, потому что люди здесь не однословы» (не верны однажды данному слову). Затем многоопытный Зелфукар-ага дал послам такой совет: «Лучше всего бросьте это дело!» Совет был подкреплён рассуждениями о том, что серьезного вреда от Акундинова не будет, все равно его куда-нибудь вышлют или даже отдадут гробцом на

«каторгу» (галеру), а если сулить за него большие деньги, турки могут подумать, будто он и впрямь тот, за кого себя выдает.

На том и порешили.

Зелфукар-ага оказался прав: вскоре Салих-паша, навлекший на себя гнев султана, был удушен собственными телохранителями, на Акундинова перестали обращать какое-либо внимание. Устав ждать, когда султан его «пожалует», он бежал из Стамбула на север, но был пойман и доставлен к Ахмед-паше, после казни Салих-паши принявшему печать великого визиря. Тот предложил беглецу перейти в «магометанскую веру». В противном случае Акундинову предстояло до конца жизни быть прикованным к скамье галерного гребца. Пришлось ему «побусурманиться», правда не до конца, с одним существенным послаблением: он повторил вслед за визирем слова мусульманской молитвы, но сумел отговориться от обрезания. На него надели чалму и освободили.

Все пошло по-прежнему, без всяких надежд на лучшее. Отчаявшись, Акундинов переоделся в греческое платье и с помощью одного из находившихся в Стамбуле русских пленных бежал вторично, пытаясь добраться до Афона и укрыться в тамошних монастырях. Побег тоже не удался, его опять поймали. На этот раз под страхом смерти он вынужден был согласиться и на обрезание, но даже после окончательного перехода в «бусурманство» его все-таки не рискнули оставить на свободе. Акундинова посадили под замок и приставили караул.

4

Позднее Акундинов утверждал, будто он три года просидел «в железах» и вышел на волю после государственного переворота, когда султан Ибрагим II и великий визирь Ахмет-паша были убиты. Но и в этом случае, как почти во всех других, верить ему нельзя. Переворот в Стамбуле произошел 10 августа 1648 года, а двумя месяцами раньше, в июне, сербский православный священник Феодосий и грек Стамаки, сопровождавшие Акундинова в качестве «слуг московского короля» и прибыв-

шие вместе с ним в Рим, сообщали о нем в письме на имя Конгрегации пропаганды веры в Ватикане: «Мы с помощью Божией освободили его из рук турецких и прибыли сюда, к достославной римской церкви, из отдаленнейших стран».

Каким образом Акундинов сумел вырваться на свободу, остается загадкой. Сам он предпочитал об этом помалкивать и, вероятно, имел на то причины. Никакой особой «казны», способной отворить перед ним двери темницы, у него не было, разве что «остроломейские» знания и дар красноречия. Но кто бы ни помог ему — Феодосий и Стамаки, как они о том писали, или кто-то еще, все равно предприимчивость Акундинова, его энергия и талант привлекать к себе людей не могут не вызывать восхищения. Это был, безусловно, авантюрист высочайшего класса.

Итак, обстоятельства его третьего, успешного побега нам неизвестны, но мы знаем, что уже в феврале 1648 года, за полгода до убийства Ибрагима II и Ахмет-паши, Акундинов и его спутники добрались до горной области Старый Влах на границе между Сербией и Черногорией. Здесь они были гостеприимно приняты местным князем. Акундинов произвел на него самое благоприятное впечатление своей преданностью православию и разговорами о том, что, заняв отцовский престол, он объявит войну туркам и освободит изнывающих под турецким игом единоверцев. Совсем недавно он просил у султана войско, чтобы воевать с Москвой, а теперь с той же легкостью, с какой сулил Ибрагиму II отвоеванную у царя Астрахань, обещал сербам навсегда изгнать неверных за море и утвердить православную веру вплоть до Босфора.

Однако через месяц, познакомившись в Хорватии с католическим миссионером Джованни Паскуале, Акундинов тут же позабыл об этих намерениях и, как писал о нем Паскуале, «загорелся желанием облобызать священные стопы римского папы».

В апреле он появился в Венеции, где был принят с большим почетом. Три годами раньше Республика Святого Марка втянулась в тяжелейшую войну с турками на восточном побережье Адриатики, и теперь известные своим легендарным двуличием венецианские политики попались на удочку коварного москвитя: Акунди-

нов, похоже, развернул перед ними те же радужные перспективы, что и перед сербами на Старом Влахе. Исключая, само собой, апофеоз православия.

Из Венеции он проследовал в Рим, где уже наслышаны были о храбром «графе Шуйском», бежавшем из турецкого плена. В покровителях недостатка не было. В Риме и, видимо, еще раньше, на Балканах, применяясь к новой обстановке, Акундинов слегка модифицировал свою легенду. Здесь не имело смысла напирать на «гонения», которые он претерпел у себя на родине, зато полезно было выставить себя пострадавшим от измайлян борцом за общехристианское дело. Поэтому, оставшись «сыном» Василия Шуйского и бывшим «наместником Великопермским», Акундинов утаил факт своего пребывания в Польше. Отныне он рассказывал, что, будучи полководцем царя Михаила Федоровича, воевал с крымским ханом, был пленен татарами, увезен в Стамбул, три года просидел в оковах, но сумел бежать. Попутно он выражал недвусмысленную готовность перейти в католичество. Это, собственно, и привлекло к нему благосклонное внимание Ватикана. Там никогда не оставляли планов распространить свое влияние на весь православный Восток и, естественно, рассчитывали, что обращение «князя Шуйского» в лоно римской церкви послужит хорошим примером для его закосневших в схизме соотечественников. Акундинов чутко уловил эти настроения и ловко их использовал.

«Хотя я был рожден и воспитан в слепоте схизматической греческой веры, — писал он папе Иннокентию X, — тем не менее я всегда горячо желал быть принятым в лоно святой матери, католической апостольской римской церкви, жить и умереть в ней. И ныне, когда Господу угодно было освободить меня из плена и я смог исполнить данный мною обет — прийти в Рим и пасть к священным стопам вашим, святой отец, — молю принять меня, дать отпущение в прежних грехах, пожаловать своим благословением, и я обещаю приложить все старания к тому, чтобы вывести мой народ к свету истинной веры».

Еще в Москве, готовясь к побегу, Акундинов раздобыл какую-то «поместную грамоту» с оттиснугой на ней царской печатью. Взяв ее за образец, но переделав и за-

менив имя царя на имя князя Ивана Васильевича Шуйского, он изготовил собственную печать, которую и приложил к направленному папе прошению об аудиенции. Поддержанное высокопоставленными ходатаями, оно имело успех: Акундинов был принят Иннокентием X, целовал его туфлю, после чего был официально обращен в «папешскую веру».

Новообращенному положили приличное содержание, теперь он ни в чем не нуждался. К тому же, видимо, благодаря поручительству влиятельных духовных особ ему удалось получить в долг какие-то средства. Говоря современным языком, в него вкладывали деньги как в перспективного политика, рассчитывая, что, когда он займет высокое положение у себя на родине, все затраты с лихвой будут окуплены из московской казны и сказочных сокровищ Перми Великой, о которых Акундинов наверняка немало порассказывал. Все это позволило ему вести в Риме не только безбедную, но и роскошную жизнь.

Конюховский выбрался из Стамбула вместе с ним, но остался на Балканах и жил где-то в Болгарии. Письма, которые он и еще какие-то связанные с ним лица на Балканах присылали в Рим, прочитывались, разумеется, приставленными к Акундинову соглядатаями, но он на то и рассчитывал: эти почтительные послания разбросанных по свету верных слуг и сторонников «князя Шуйского» подтверждали его статус, а заодно создавали иллюзию некоей не совсем понятной, но активной политической деятельности. Лишь в 1649 году Конюховский приехал в Рим и воссоединился со своим патроном.

Со свойственным ему даром очаровывать людей, принадлежавших к разным цивилизациям и стоявших на разных ступенях социальной лестницы, Акундинов легко сумел обаять весь высший свет вечного города. Он водил дружбу с испанским послом в Ватикане, состоял в близких отношениях с итальянскими кардиналами, венецианскими сенаторами, представителями Дубровницкой республики, руководством доминиканского ордена. Он бывал и на светских приемах во дворцах римских аристократов, и на торжественных богослужениях в соборе Святого Петра. Этот «обрезанный» вологодский

подъячий обладал, надо полагать, незаурядными актерскими способностями и всюду держался так, как, по мнению итальянцев, подобало держаться истинному отпрыску московитского царского дома.

Однако эта веселая жизнь не могла продолжаться до бесконечности. В один прекрасный день празднику наступил конец: Акундинову ясно дали понять, что ему пора возвращаться на родину и приступить к исполнению взятых на себя обязательств. То есть, как он обещал Иннокентию X, «приложить все старания к тому, дабы вывести свой народ к свету истинной веры».

Путь в Москву пролегал через территорию Речи Посполитой, туда Акундинов и выехал, имея при себе полученные в Ватикане документы, призывающие оказывать ему всяческое содействие. Но в Польше он уже бывал, ничего хорошего там его не ждало, а на родине ему тем более совершенно нечего было делать. Поэтому где-то по дороге он изменил маршрут и оказался в Трансильвании, у венгерского владетельного князя Дьердя II Ракоци.

5

Осенью 1650 года в Москве проводали, что «вор Тимошка Акундинов» объявился на Украине, живет в местечке Лубны на подворье тамошнего Преображенского монастыря. Узнали также, что «достать» самозванца будет непросто, ибо он пользуется покровительством самого Хмельницкого.

Появлению Акундинова в Лубнах предшествовали следующие события.

После того как стало понятно, что условия Зборовского мирного договора, заключенного в августе 1649 года между казаками и новым польским королем Яном Казимиром, не соблюдаются обеими сторонами и военные действия вот-вот возобновятся, у трансильванского князя Дьердя II Ракоци, чьим владениям угрожали поляки, возникла мысль о возможности союза с Хмельницким, направленного против Речи Посполитой. Тут кстати и подвернулся Акундинов, который, должно быть, в этом захолустье с успехом изображал из себя

знатока всех тайных пружин европейской политики. Рассказами о своих приключениях, о милостях, которыми осыпал его Иннокентий X, а возможно, и астрологическими штудиями он произвел сильное впечатление на Ракоци. В итоге тот поручил Акундинову вести переговоры с Хмельницким и послал его в Чигирин, в ставку мятежного гетмана.

Хотя переговоры ни к чему не привели и союз не задался, Акундинов решил не возвращаться в Трансильванию, оставшись в Чигирине. Но если в Италии он мог болтать о себе все, что вздумается, то здесь, вблизи русских границ, среди казаков, чьи отцы и деды в Смутное время хаживали на Москву, имя Василия Шуйского и время его смерти были хорошо известны. Наученный печальным турецким опытом, Акундинов опять видоизменил свою легенду, приспособив ее к собственному возрасту, и стал называться не «сыном», а «внуком» Шуйского. Одновременно из истории его странствий выпало одно важное звено — пребывание в Ватикане и обращение в католичество. На Украине, где католики и римский папа считались злейшими врагами всего казачьего племени, не стоило, разумеется, распространяться ни о жизни в Риме, ни о том, что он, Акундинов, принадлежал к «священным стопам» Иннокентия X и принимал от него причастие по «латынскому чину». То, что впечатлило Ракоци, на гетмана и его соратников произвело бы прямо противоположный эффект. Теперь Акундинов рассказывал, что в разных государствах, через которые он проезжал, многие государи звали его, «внука» Шуйского, к себе на службу, но он не соглашался, потому что «не хочет отстать от православной веры».

К этому времени до Венеции, лихорадочно искавшей союзников для борьбы с султаном, дошла молва о «генерале Хмельницком» и опустошительных набегах «синьоров казаков» вплоть до стен Константинополя. Чтобы попытаться заключить с ними союз, в 1650 году на Украину, в обход не одобрявшей такой план Польши, прибыл венецианский посол Альберто Вилина. В Чигирине его встретили гостеприимно, сам Федор Коробка, один из ближайших сподвижников Хмельницкого, повел венецианца в шинок, потребовал бочонок горилки, устроил музыку, плясал и угощал горилкой всех проходивших

и проезжавших мимо. На обеде у Хмельницкого, данном в честь посла, Вилина стал рассказывать о могуществе Венеции, о самом городе, настолько огромном, что при множестве домов и улиц в нем легко заблудиться. Но казаки с иронией восприняли попытку напрямую связать мощь государства с размерами его столицы. Поразить их не удалось, один из сидевших за столом гостей саркастически заметил: «Я и здесь, когда пьян, дверей не нахожу!»

Возможно, Акундинов тоже присутствовал на этом обеде, и Вилина поднял его акции, засвидетельствовав, что посол Ракоци и «князь Шуйский», побывавший в Венеции два года назад, одно лицо. Так или иначе, но Хмельницкий доверял Акундинову, всячески приветал его и относился к нему с искренней, судя по всему, симпатией. Лишь осенью 1650 года, когда гетман выступил в поход на Молдавию, Акундинов из Чигирина переселился в Лубны.

Узнав об этом, путивльский воевода князь Прозоровский отправил к нему двух «торговых людей». Их задачей было выманить самозванца в Путивль. Они обещали, что если он туда приедет, то «государь его своим жалованьем пожалует», но Акундинов на эти расплывчатые посулы не поддался, заявив, что «одним словесным речам верить нельзя» и пусть ему Прозоровский пришлет охранную грамоту. Вскоре такая грамота была доставлена в Лубны. Прозоровский писал: «Тебе бы ехать ко мне в Путивль тотчас, без всякого опасенья, а великий государь тебя пожаловал, велел принять и в Москву отпустить».

Прочитав письмо, Акундинов воскликнул: «Рад я к великому государю в Москву ехать!» Подъезжему, который привез воеводскую грамоту, он велел пробыть у себя три дня, на третий день позвал его обедать, выпил чашу за здоровье царя Алексея Михайловича и сказал: «С мудрыми я мудрый, с князьями — князь, с простыми — простой, а с изменниками государевыми и с моими недругами рассудит меня моя сабля!» Затем, чего и следовало было ожидать, объявил, что передумал и никуда не поедет, пока царь сам не пришлет ему грамоту, где он будет поименован князем Шуйским. Тем дело и кончилось.

Но в Москве не оставляли попыток «достать Тимошку». Теперь, когда он прибил к Хмельницкому, Варшаве не было смысла его выгораживать, и король Ян Казимир согласился поддержать Алексея Михайловича в вопросе о выдаче самозванца. В сентябре 1650 года объединенная русско-польская делегация предстала перед Хмельницким, но гетман отговорился тем, что не знает, где сейчас находится Акундинов. Да и сама идея совместной акции была неудачной: Хмельницкий напомнил полякам, что король до сих пор не исполнил свое обещание выдать ему Чаплинского — того самого шляхтича, который насмерть засек его десятилетнего сына. Впрочем, не желая понапрасну раздражать Москву, в конце концов осторожный гетман все-таки выдал московскому представителю Протасеву «универсал» на арест Акундинова, но одновременно сам же, видимо, предупредил самозванца о грозящей опасности. Когда Протасев с этим «универсалом» прибыл в Лубны, Акундинова там уже не было. Куда он девался, никто не знал, Протасеву пришлось ни с чем возвращаться в Москву. Тем временем Акундинов перебрался обратно в Чигирин и спокойно жил там под крылом Хмельницкого, который якобы понятия не имел о его местопребывании. Все знали его как «князя Шуйского», будто бы одно время скрывавшегося от гонений под именем Тимофея Акундинова, но сам он тем не менее в обычном своем витиеватом стиле писал в Путивль, Прозоровскому: «Я в Чигирине никому не сказываюсь, кто я, во всем от чужих людей сердечную свою клеть замыкаю, а ключ в руки тебе отдаю».

Москва, однако, на этом не успокоилась, вскоре в Чигирине появился русский посланник Унковский, в числе прочего имевший задание или добиться выдачи «вора», или тайно его убить. Узнав о приезде Унковского, Акундинов написал ему длинное письмо с упоминанием зависти врагов, собственной невинности, а заодно рассказывая о поглотившей его «смердной челюсти турецкой», то есть стамбульской тюрьме, из которой он был освобожден «Божией силой», и прочая. В заключение Акундинов просил о личной встрече. Унковский назначил ему свидание в церкви, здесь между ними состоялся, в частности, такой разговор.

Акундинов. Я не царя Василия сын, я дочери его сын. Дочь его в разоренье взяли казаки, а после казаков за отцом моим была.

Унковский. Все это неправда, у царя Василия детей не было. Мы знаем, как отца твоего и мать звали.

Акундинов. Был отец мой при царе Михаиле Федоровиче наместником в Перми.

Унковский. При царе Михаиле никто нигде в наместниках не бывал. Ты все эти напрасные речи оставь, а поезжай со мной к великому государю и вину свою принеси.

Акундинов. Не смею ехать, если не целуете креста, что меня до Москвы не уморите, и на Москве меня не казнят, и дурного ничего не будет.

Но Унковский не захотел брать греха на душу и целовать крест на таких обещаниях, которые заведомо не будут исполнены. Переговоры с Хмельницким тоже оказались безрезультатными, гетман твердо заявил, что из Запорожского Войска никого никому не выдают. Унковский настаивал, гетман говорил, что не может пойти против обычая, не посоветовавшись прежде с казацкой старшиной, и обещал в ближайшее время созвать их на совет, но его искренность вызывала большие сомнения. Тогда Унковский решил подослать к Акундинову убийц. Он предлагал немалые деньги тому, кто согласится его зарезать или отравить, однако желающих не находилось. Казаки опасались гетмана, явно благоволившего к самозванцу, но еще больше, может быть, побаивались другого, по-своему не менее могущественного человека — войскового писаря Ивана Выговского, которого Акундинов сумел пленить настолько, что тот с ним побратался. Люди же из свиты самого Унковского не могли даже проникнуть к Акундинову на двор. Он жил «очень бережно», тщательно соблюдая меры предосторожности, вдобавок при нем состояла целая ватага «прикормленных» им казаков, представлявших собой нечто среднее между собутыльниками и телохранителями. Деньги у него водились, недаром Конюховский говорил, что его старший друг «был человек нескудный, и ему было что давать».

В это время или немного раньше Акундинов принял единственную, пожалуй, попытку вмешаться в

собственно русские дела. В феврале 1650 года началось известное псковское восстание, вызванное искусственным взвинчиванием цен на хлеб, город на полгода оказался в руках «черных людей». Когда слухи об этом дошли до Акундинова, он, должно быть, зажегся надеждой, что волна бунта вознесет его на свой гребень и вынесет на московский престол или хотя бы позволит утвердиться в городах Северо-Западной Руси, где еще живы были воспоминания о недавней вольности. Да и оставаться далее на Украине было небезопасно: дело шло к новой войне с Польшей, Хмельницкий пытался заручиться поддержкой Москвы, и Акундинов не мог не сознавать, что в этой ситуации гетман вполне способен принести его в жертву. Он отправил восставшим несколько писем, а затем и сам решил переместиться поближе к мятежному Пскову.

Сноситься с мятежниками удобнее всего было из Прибалтики. Заручившись рекомендациями Ракоци и получив от него письма к шведской королеве Кристине, Акундинов, сопровождаемый верным Конюховским, через Трансильванию, Австрию и гетманские княжества двинулся на север. Следы его потерялись в дыму и пожарах прокатившейся по Украине новой, еще более страшной войны. Казаки опустошали Волынь, поляки жгли и грабили православные церкви в Киеве. Из Крыма шел Ислам-Гирей со своей ордой. Акундинов ушел вовремя: ожесточение сторон достигло предела, его могло смолотить в муку этими чудовищными жерновами.

До «князя Шуйского» пока никому не было дела, но Москва о нем не забывала, как никогда не забывала никого из самозванцев, лишь временно выпуская их из виду. Там хорошо изучили характер этого человека, за десять лет накопив на него громадное досье, и надеялись, что рано или поздно он сам даст знать о себе.

Так вскоре и случилось.

6

В 1615 году гонец Головин был отправлен из Москвы в Стокгольм с письмом царя Алексея Михайловича к королеве Кристине. Здесь его посетили двое купцов и

священник Емельян, прибывшие из Новгорода в Швецию по торговым делам. Они сообщили Головину, что недавно в Стокгольм приехал из Ревеля некий русский человек в польском платье, который называет себя князем Иваном Васильевичем Шуйским и бывшим «наместником Великопермским».

Головин сразу понял, о ком речь. При отъезде в Швецию его, видимо, на всякий случай снабдили приметами Акундинова, и он тут же их перечислил, спросив: «Волосом чернорус, лицо продолговатое, нижняя губа поотвисла немного?»

Поп Емельян, лично видевший самозванца и даже говоривший с ним, подтвердил: «Он и есть, точь-в-точь!»

Сомнений больше не оставалось, Головин попробовал связаться с Акундиновым в надежде выманить его в Москву, а затем решил на свой страх и риск захватить «вора» силой. Он сговорился с новгородцами, что те задержат Акундинова, когда тот, как часто бывало, придет на русский торговый двор в Стокгольме, где имелся приспособленный под часовню амбар со священником. Но Акундинов был слишком осторожен, чтобы лезть в западню, схватить удалось лишь высланного на разведку Конюховского. Его связали и доставили к Головину на подворье. Однако из этой лихой затеи ничего не вышло: ретивому московскому гонцу заявили, что не годится в чужой стране хватать людей без спросу. Головин вынужден был отпустить пленника и смириться.

К тому времени Акундинова уже знали при дворе как посла Дьердя II Ракоци и «князя Шуйского». Его принял канцлер Оксенштерн, затем он был на аудиенции у королевы Кристины, известной своим меценатством и покровительством Декарту. Ее, кажется, заинтересовал этот переживший множество приключений, гонимый у себя на родине и странствующий по Европе знатный московит-астролог, столь разительно не похожий на своих соотечественников. Королева приглашала Акундинова к себе, делала ему богатые подарки, тем не менее ссориться из-за него с Москвой шведы не желали. Требования о его выдаче становились все настойчивее, и ему, как видно, посоветовали уехать из Стокгольма. Акундинов применил испытанный прием — перешел в

лютеранство, но и это ему не помогло: его спровадили в Ревель. Конюховский, оставшийся в Стокгольме, вскоре выдан был русскому послу Челищеву, который в оковах увез его с собой в Москву. Самого Акундинова ревельский губернатор засадил в тюрьму, делая вид, будто идет навстречу требованиям русских дипломатов, но сам же потихоньку его и выпустил, не то инсценировав побег, не то просто сообщив Челищеву, что арестованный сбежал и поймать его нет возможности. Ясно, что губернатор не решился бы на это без соответствующих указаний канцлера Оксенштерна и королевы Кристины.

Псковские мятежники давно принесли повинную и открыли ворота московским воеводам. Еще раньше закончилось восстание в Новгороде. Акундинов был этим разочарован и говорил одному встреченному за границей новгородскому купцу, что теперь царь перевешает всех псковичей и новгородцев, как когда-то сделал Иван Грозный. Рухнули надежды оседлать народный бунт, деваться было некуда. Пометавшись по Прибалтике, Акундинов сел на корабль и отплыл в Любек, оттуда двинулся в Бранденбург, затем — в Брабант, к герцогу Леопольду, но нигде не добился успеха. Удача начала ему изменять, его звезда явно клонилась к закату.

Из Брабанта он вернулся в Германию, попытал счастья в Лейпциге, при дворе саксонского курфюрста, но вновь ничего не добился и уехал в Виттенберг. В расчете на покровительство знаменитого университета Акундинов скрыл, что в Швеции он уже принял протестантство, и проделал это еще раз, признав так называемое Аусгбургское вероисповедание, включающее в себя основные догматы лютеранской церкви. Однако все было напрасно, вскоре ему пришлось покинуть и Виттенберг. За ним, а часто и впереди него, уже шла дурная слава. Где бы он ни появлялся, туда рано или поздно прибывали московские уполномоченные. Хотя, как правило, они запаздывали и не заставляли самозванца на месте, то упорство, с каким его преследовали, делало свое дело: с Акундиновым предпочитали больше не связываться.

К тому же в Москве применили новую, гораздо более разумную тактику. Русские дипломаты требовали теперь выдачи Акундинова не как самозванца, который «влыгается в государское имя», а как обыкновенного уголовно-

го преступника — женоубийцу, поджигателя, расхитителя казенных денег. К осени 1653 года всем германским князьям и владетельным особам других европейских стран были разосланы «сыскные грамоты» с описанием примет Акундинова, перечислением его преступлений и просьбой немедленно задержать этого человека, если он появится на подвластной им территории. Все русские дипломаты, по тем или иным делам выезжавшие в Европу, все отправлявшиеся в Германию московские и новгородские купцы имели задание всячески «проведывать» о самозванце и способствовать его поимке. Как затравленный зверь, Акундинов бросался из города в город, но вести жизнь частного лица он не умел, для успеха ему нужна была публичность, и эта же публичность всякий раз его губила.

Наконец он решил затаиться и, перебравшись в Голштинию, обосновался в городе Нейштадте. Однако и здесь его опознали новгородские купцы, схватили прямо на улице и заперли у себя на подворье, намереваясь увезти в Москву. С помощью городских властей, то ли раздраженных таким самоуправством, то ли подкупленных Акундиновым, ему все-таки удалось освободиться, он уехал в столицу герцогства — Готторф, но к тому времени голштинский герцог Фридрих уже получил из Москвы «сыскную грамоту». На этот раз Акундинов был арестован по высочайшему повелению. Ему шел тридцать седьмой год, из Москвы он бежал ровно десять лет назад. Готторф стал последней точкой на карте его заграничных скитаний.

7

В октябре 1653 года в Готторф прибыл московский уполномоченный Шпилькин — тот самый, у которого Акундинов когда-то занял крупную сумму денег, чтобы покрыть растрату, да так и не вернул ему долг. Поскольку он знал самозванца еще до побега и мог его опознать, на него и возложили эту ответственнойшую миссию. Шпилькин исполнил ее с тем большим рвением, что Акундинов был для него врагом не только государевым, но и личным.

Поначалу, правда, дело не клеилось. На первой же очной ставке Акундинов «не узнал» Шпилькина и даже отказался признавать его полномочия, со смехом говоря, что человек с такой фамилией может торговать шпильками, но быть царским послом никак не может. Кроме того, Акундинов заявил, что не понимает русского языка, и говорил со Шпилькиным по-польски, через переводчика.

Однако на следующих свиданиях, проходивших с глазу на глаз, Шпилькин все-таки убедил Акундинова написать письмо патриарху Никону, который будто бы готов вымолить для него прощение у царя. Поддавшись на провокацию, Акундинов написал такое письмо, в обычной своей манере рассказывая о том, как хотел наслать на Москву 300 тысяч турецких мечей, но ангел отклонил его от этого намерения, и прочая. Хитрый Шпилькин распечатал это письмо и, явившись к герцогу Фридриху, продемонстрировал его как доказательство, что Акундинов отлично владеет русским языком. Привели Акундинова. Тот все отрицал, говорил, что не писал никаких писем, что это вовсе не его почерк, и тут же, попросив бумаги и чернил, на глазах у герцога стал писать другим почерком, абсолютно не похожим на тот, которым было написано предъявленное письмо. Он умел подделывать чужой почерк, что в его положении бывало полезно, и до неузнаваемости менять собственный, отправляя, видимо, письма к самому себе от своих мифических сторонников, а затем показывая их нужным людям.

Словом, он довел Шпилькина до того, что тот плюнул ему в лицо и бросил в него этим письмом. Акундинов, не растерявшись, мгновенно порвал его в клочки.

Он был хороший актер и опытный интриган, но против него свидетельствовало слишком многое, в том числе изъятые при аресте бумаги. Тем не менее, соглашаясь выдать Акундинова, герцог Фридрих не забыл о собственных интересах. В обмен на самозванца он запросил отчет о персидской торговле, составленный голштинскими послами в 1634 году. Двадцать лет назад, возвращаясь из Персии, они остановились в Москве, там у них этот отчет отобрали, опасаясь конкуренции со стороны немецких купцов, а теперь его разыскиали в ар-

хиве и со срочным курьером доставили в Готторф. Голова самозванца была ценнее.

В сопровождении Шпилькина и под конвоем голштинских стражников Акундинова повезли в Травемюнде, где должны были посадить на корабль. Он уже понимал, что все кончено, и по дороге, улучив момент, стремительно выбросился из повозки, пытаясь подсунуть голову под колесо. Но почва в этом месте была песчаная, повозка двигалась медленно. Ее удалось вовремя остановить, Акундинов остался цел и невредим. Его привязали к повозке, и, хотя позднее он еще несколько раз пробовал покончить с собой, все эти попытки оказались неудачными.

«Впрочем, — замечает Олеарий, — он постоянно был весел до приезда в Новгород, где стал печален, а от Новгорода до Москвы не хотел даже ни есть, ни пить».

8

В Москве его сразу повели в застенок, но ни кнут, ни страшные «встряски» на дыбе не смогли вырвать у него признание в том, что он — всего лишь беглый подьячий Тимошка Акундинов, а вовсе не «князь Шуйский». После целого дня жесточайших пыток он продолжал стоять на своем.

Так пишет Олеарий, допуская три причины этого необыкновенного упорства.

Первая. Акундинов надеялся, что его сочтут сумасшедшим и помилуют как безумца, не сознающего преступность своих действий.

Вторая. Акундинов знал, что смерть неизбежна в любом случае, раскается он или нет, поэтому «твердостью своих показаний хотел укрепить иностранных государей в том их мнении о самом себе, которое сумел им внушить».

Третья. Акундинов понимал, что ему не миновать адского пламени, и думал, что «лучше уж в аду быть главным, чем идти за уряд», как было бы при его раскаянии.

Вообще-то из «расспросных речей», то есть из выбитых под пыткой показаний Акундинова, видно, что сна-

чала он кое в чем все-таки признался, но затем, по-видимому, вновь начал все отрицать. Иначе не было бы нужды уличать его с помощью свидетелей.

Перед ним ставили разных людей, знавших его в Москве и Вологде, среди них — того человека, к которому накануне побега Акундинов отвел своих детей. Все его признавали, но он не признал никого.

Последней привели его мать, теперь — монахиню Степаниду. Она сказала: «Это мой сын».

В ответ Акундинов спросил: «Инокания, как тебя звать?»

«В миру звали Соломонидой, теперь — Степанидой», — ответила она.

Слова — подлинные. Именно так записал их присутствовавший на допросе подьячий, и за ними ощущается страшное напряжение этой встречи.

Тогда, как говорится в тексте протокола, Акундинов «молчал долго», после чего, жалея мать, но не желая признавать ее своей матерью, сказал: «Эта женщина мне не мать... Но она вырастила меня и была ко мне добра, как мать».

Его снова начали пытаться.

Тогда, чтобы протянуть время и хоть ненадолго избавиться от мучений, он объявил, что откроет всю правду единственному человеку — боярину Никите Ивановичу Романову, одному из влиятельнейших царских родственников. Послали за Романовым. Тот, принимая во внимание серьезность дела, согласился прийти в застенок. Тем временем Акундинов попросил пить. Когда ему подали квас в деревянной чашке, он потребовал, чтобы принесли меду, и не в деревянной посуде, а в серебряной, в противном случае он говорить не станет. Его требование исполнили, однако он уже был так истерзан, что пить не мог и лишь слегка пригубил.

Наконец явился Романов, но Акундинов и ему сказал все то же самое, что говорил прежде.

Пытки возобновились, и больше от него уже ничего не смогли добиться.

На следующий день, 29 декабря 1653 года, опасаясь, видимо, чтобы он не умер до казни, Акундинова вывезли на Красную площадь, зачитали перед народом пере-

чень его преступлений и объявили приговор о четвертовании.

Раздетого донага, его положили на плаху; палач отрубил ему правую руку до локтя, потом левую ногу до колена, потом левую руку, правую ногу и голову.

«Всю эту казнь, — пишет Олеарий, — Тимошка вынес как бы бесчувственный».

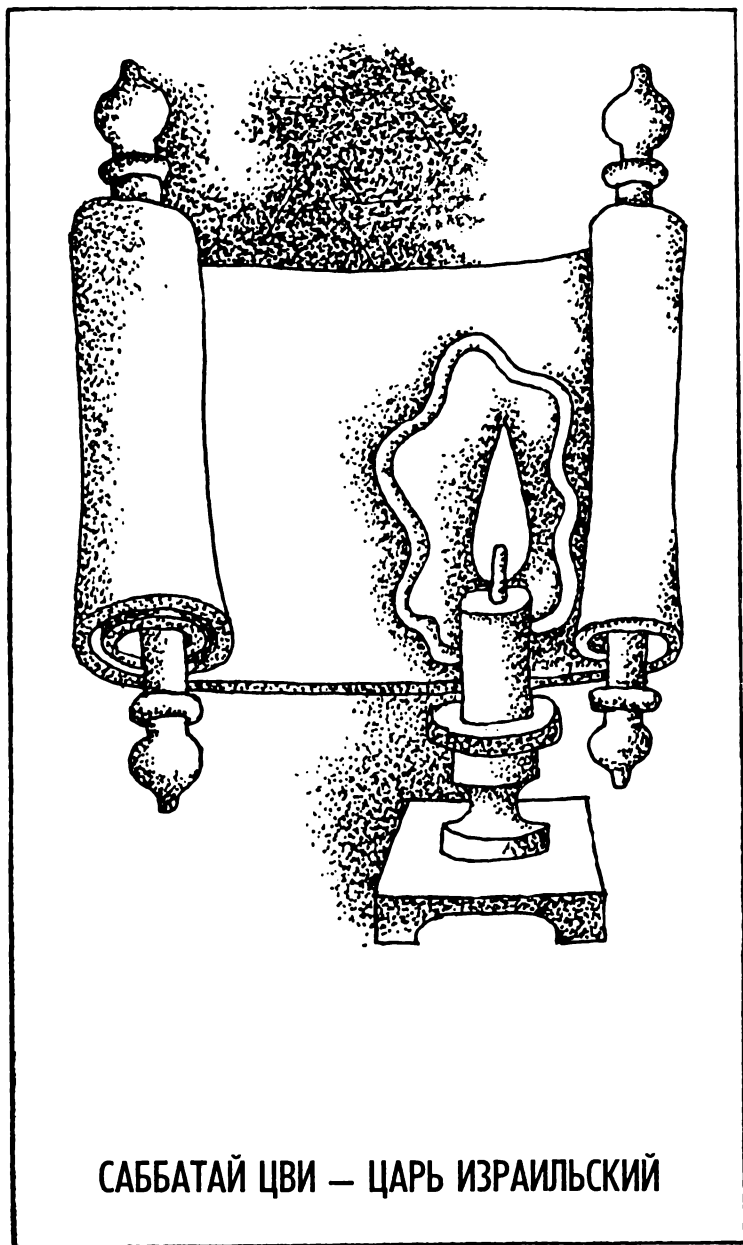
Голову отрубили, но маску, надетую на себя Акундиновым, так и не сумели снять с его лица. Своей мученической смертью он хотел доказать и доказал, что имел право носить имя «князя Шуйского», под которым прожил десять лет и расстаться с которым не пожелал до последнего часа.

На казни присутствовал специально приглашенный польский посланник — он должен был донести до короля Яна Казимира и других монархов Европы весть об ужасном конце самозванца.

Этот посланник видел, как голову Акундинова и отрубленные части его тела водрузили на пять заранее приготовленных кольев и выставили на площади. Туловище оставили тут же, ночью его съели собаки.

На следующий день подручные собрали обглоданные кости, выдернули колья, не снимая с них отрубленных членов, побросали все это на телегу, вывезли за город и свалили в яму возле какой-то живодерни.

Константин Конюховский, верный спутник Акундинова, под пыткой признал все свои «вины» и был помилован. Его приговорили к отсечению трех пальцев на правой руке, но, поскольку тогда он не мог бы креститься, по ходатайству патриарха правую руку заменили на левую. Затем он был сослан в Сибирь, где и прожил остаток жизни.



САББАТАЙ ЦВИ — ЦАРЬ ИЗРАИЛЬСКИЙ

На протяжении столетий рассеянные по всему миру евреи не переставали надеяться на скорое пришествие мессии, по-еврейски — машиаха, который соберет изгнанников на земле предков и воздвигнет свой «трон мудрости» на горе Синайской. Считалось, что мессия будет иметь человеческую природу и происходить из потомков царя Давида, но о том, как именно явится он сынам Израиля, мнения разделялись: одни уверяли, что он придет в смиренном облике, никем не признанный, и въедет в Иерусалим верхом на осле, другие — что он предстанет перед своим народом как грозный триумфатор, восседающий в тучах и сопровождаемый пророком Илией. Неудивительно, что при этой всеобщей вере время от времени находились люди, объявлявшие себя долгожданным мессией. Все они провозглашали своей целью восстановление еврейского царства, но одни молились, другие звали к оружию.

Уникальная историческая судьба еврейского народа породила и совершенно особый тип еврейского самозванца — лжемашиаха, который одновременно был и религиозным пророком, и претендентом на трон несуществующего государства. Таких было немало, но самым знаменитым из всех стал Саббатай Цви, сумевший увлечь за собой сотни тысяч людей.

Саббатай Цви родился в 1626 году в турецкой Смирне, в бедной еврейской семье. В детстве он прилежно изучал Талмуд, хотя уже тогда больше интересовался каббалой¹, а с пятнадцати лет всецело отдался каббалистическим занятиям. Два или три года он прожил затворником, постигая откровения Зога², но постепенно стал центром кружка сверстников, имевших те же наклонности и единодушно признававших его авторитет. Окруженный учениками-ровесниками, он часто спускался на берег моря, совершал омовение и предавался молитве под открытым небом, что было делом не совсем обычным. За ним укрепились репутация человека не только большой учености, но и святой жизни. В еврейской среде это был своего рода капитал, позволявший даже сыну бедных родителей рассчитывать на выгодную партию. Так и случилось: один из богатейших смирненских купцов согласился выдать за Саббатая свою красивую дочь. Свадьба состоялась, но, поскольку молодой супруг жил с женой, как с сестрой, он по настоянию возмущенного тестя вынужден был дать жене развод. Спустя некоторое время отец женил его на другой девушке, однако повторилась та же история, и Саббатаю вновь пришлось развестись. При этом он был красив, обладал чудесным голосом и страстным темпераментом проповедника. Два скандальных развода, вызванных стремлением сохранить девственность и не поддаться пагубным для души плотским вожделениям, принесли ему популярность: вокруг Саббатая начали собираться восторженные почитатели. Людей привлекало в нем достаточно редкое, а потому высоко ценимое сочетание праведной жизни с ученостью еврейского книжника и каббалиста.

В 1645 году началась затяжная война между турками и Венецианской республикой; военные действия велись преимущественно на море, старые торговые пути из Стамбула в порты Италии и Франции стали опасны для

¹ Каббала — мистическое течение в иудаизме.

² Зогар — одна из книг Талмуда, на которой главным образом основывались каббалистические теории.

морских перевозок, и многие европейские купцы перенесли свои операции в Смирну. Отец Саббатая стал маклером одной английской фирмы и быстро разбогател, что было приписано подвижничеству сына. Теперь и в родительском доме к нему относились в высшей степени почтительно, отец уже не пытался женить его в третий раз. По ночам Саббатай уходил из дома, рассвет заставал его где-нибудь в окрестностях Смирны, погруженного в созерцание или молитву. Он регулярно постился, надеясь, что нравственная безупречность и умерщвление плоти помогут ему достичь подлинной святости.

Между тем наступил 1648 год, в котором, согласно одному из каббалистических пророчеств, должен был явиться мессия. Причем это же событие, основываясь на Апокалипсисе, предсказывали и христианские богословы, правда, относили его на восемнадцать лет позже — к 1666 году. В этом году ожидался какой-то невероятный переворот в жизни еврейского народа. Предполагалось, что или все евреи обратятся в христианство, или же будет восстановлен иерусалимский храм и возродится еврейское царство в Палестине. Эти разговоры доходили до Саббатая через отца, бывавшего в домах купцов-христиан. Двадцатидвухлетний мистик, экзальтированный, избалованный поклонением толпы, которая привыкла считать его святым, начал осторожно лелеять смелую, хотя пока еще туманную мысль: не есть ли он тот самый мессия, чье пришествие ожидается и евреями, и христианами?

Но прошло еще три года, прежде чем Саббатай решил публично объявить о том, что достиг абсолютной святости и, следовательно, стал «машиахом». Для начала он сообщил эту новость нескольким ближайшим ученикам. Те вполне с ним согласились, тогда Саббатай отважился на почти безумный по своей дерзости шаг: при большом стечении народа он вслух произнес тайное четырехбуквенное имя Бога, чего никто не делал более полутора тысяч лет, с тех пор как был разрушен иерусалимский храм. Это позволялось исключительно первосвященнику в храме, и то лишь единственный раз в году — на праздничном богослужении в Йом-Кипур¹.

¹ Йом - Кипур — Судный день.

Поступок Саббатая произвел эффект разорвавшейся бомбы. Возмущенные смиренские раввины потребовали объяснений и, услышав от Саббатая, что он сделал это на правах мессии, немедленно предали его анафеме. Ему пришлось покинуть Смирну. С группой учеников он перебрался в Салоники, где число его приверженцев начало расти с такой стремительностью, что местные раввины вынудили Саббатая уехать и из Салоник. Перед отъездом он женился в третий раз, но теперь уже пошел под венец не с невестой, а со свитком Торы¹ в руках. Затем был устроен пышный свадебный пир. Тем самым символизировался вечный и неразрывный союз между новоявленным мессией и Торой.

Уехав из Салоник, Саббатай оказался в Стамбуле. Здесь к нему примкнул талантливый проповедник Авраам Яхини, любимец толпы и знаток старинных еврейских рукописей. Он, пожалуй, первый придал делу политическую окраску. У него возникла идея использовать мессианство Саббатая для организации такого еврейского движения, которое при поддержке христианских монархов могло бы привести к созданию хотя бы частично независимого государства в Палестине, находившейся тогда под властью султана. Яхини быстро изготовил якобы старинный манускрипт, объявив, что нашел его в одном книгохранилище, среди древних рукописей. В этой фальшивке, составленной от имени Авраама, говорилось:

«И я, Авраам, уединялся в течение целого года, предаваясь созерцанию великого крокодила, наполняющего собой реку египетскую, и размышлял, когда наступит его чудесный конец, и услышал голос: «И родится сын у Мордехая Цви в 5386 году², и назовут его Саббатаем. Он победит великого крокодила и лишит силы змею лютую. Он и есть истинный мессия...»

Сфабрикованная рукопись была подарена Саббатаю и произвела на него сильнейшее впечатление: он окончательно уверился в своем призвании. Однако раввины не желали признавать в нем будущего победителя «великого крокодила» и продолжали его преследовать. Тогда

¹ Тора — Священное писание евреев, часть библейского Ветхого завета.

² 1626 год.

Яхини и другие приверженцы Саббата, составившие при нем нечто вроде «штаба», уговорили его перенести свою деятельность в Палестину, чтобы привлечь к себе внимание евреев всего мира: Это было разумно, и Саббатай сделал своей резиденцией Иерусалим. Здесь он постоянно навещал гробницы великих предков, целые ночи проводил у памятников былой еврейской славы, плакал и молился или пел псалмы и «Песнь песней». Шли годы, слава его росла; все новые и новые общины саббатианцев возникали всюду, где жили евреи: от Польши до Северной Африки, от Газы до Амстердама.

Росло и влияние Саббатая. К нему нередко обращались за помощью, и однажды, чтобы ходатайствовать за иерусалимских евреев перед турецкими властями, он выехал в Каир. Здесь его ждал приятный сюрприз.

2

В том же 1648 году, когда ожидалось пришествие мессии, на Украине вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого. Оно сопровождалось кровавой еврейской резней; в одном лишь Немирове за один день погибло около 6 тысяч человек. Многие, в том числе сам Саббатай Цви, решили, что уже наступили «предмессианские муки», те ужасные страдания евреев, которые, как считалось, должны предшествовать явлению «машиаха».

В это время в каком-то польском или украинском местечке казаки взяли в плен семилетнюю еврейскую девочку Сарру. Родители были убиты прямо у нее на глазах, а Сарру, видимо, пожалели за ее красоту и отдали на воспитание в женский монастырь. Она прожила там довольно долго, девочку готовили к обращению в христианство, но ей удалось бежать. Сарра пыталась найти убежище в одной из уцелевших еврейских общин, однако местные евреи побоялись оставить беглянку у себя. В конце концов ее все-таки переправили в Германию, откуда она перебралась в Амстердам, где совершенно случайно встретила чудом спасшегося брата, которого считала погибшим вместе с родителями. Все пережитое произвело на девочку неизгладимое впечатление. Сарра стала думать, что Бог не напрасно сохра-

нил ее жизнь и веру среди стольких опасностей, что ей суждено совершить нечто необычайное. Со временем она убедила себя и сумела внушить другим, что ее предназначение — стать невестой будущего мессии. Из девочки Сарра превратилась в девушку редкой красоты. У нее было множество поклонников, многие просили ее руки, но она, еще не зная о Саббатае Цви, всем отказывала, говоря, что ее суженый — мессия. Когда же до нее дошли слухи о Саббатае, Сарра решила, что это и есть ее жених. Она стала искать встречи с ним и, услышав, что он выехал в Каир, срочно отправилась туда же.

Вскоре Саббатау сообщили, что к нему прибыла известная красавица, считающая себя невестой мессии. При первом же свидании Сарра торжественно объявила, что видит перед собой человека, предназначенного ей в мужа. Трудно сказать, какие чувства она испытывала на самом деле, но Саббатай был потрясен: ему показалось, что сам Бог говорит устами юной прекрасной девушки. Здесь же, в Каире, сыграли свадьбу — четвертую в его жизни, и этот брачный союз всеми был воспринят как чудесный, заключенный воистину на небесах.

Примерно тогда же двое виднейших саббатянцев — Натан Галеви и Самуил Примо — разработали следующий план действий, состоявший из трех основных пунктов:

1. С помощью усиленной пропаганды сделать так, чтобы к определенному сроку как можно больше евреев со всего мира собралось в Стамбуле.
2. С Божией помощью и при поддержке христианских монахов низложить турецкого султана.
3. Возродить Израильское царство.

Предполагалось, что все это должно свершиться в судьбоносном 1666 году. Пока что Примо и Галеви рассылали повсюду свои пламенные послания, призывая евреев к покаянию, дабы стать достойными своего царя-мессии. До наступления роковой даты оставалось еще около двух лет.

В 1665 году Саббатай, сопровождаемый молодой красавицей женой и группой сподвижников, сошел с корабля в порту Смирны. После четырнадцатилетнего отсутствия он триумфатором вступил в родной город. Анафема, которой его тут подвергли, давно забылась; толпы

еврейской бедноты встретили изгнанника радостными криками: «Да здравствует мессия! Да здравствует царь израильский Саббатай Цви!» К мелким лавочникам, разносчикам, ремесленникам примкнули верхи еврейской общины, со всех концов Османской империи стекались люди, чтобы видеть мессию и говорить с ним. Приезжали не только евреи, но и христиане, и мусульмане. Турецкие власти Смирны были подкуплены и сквозь пальцы смотрели на разного рода манифестации, шествия и прочее. В еврейских кварталах шел нескончаемый праздник, из других городов то и дело приходили известия о «пророках» и «пророчицах», причем последних, как всегда во времена массового психоза, было гораздо больше. В трансе или в иступлении эти женщины вещали о приходе мессии в лице Саббатая Цви, о скором восстановлении иерусалимского храма и т. д. Все это сильно действовало на простой народ, под влиянием общего возбуждения начали колебаться и раввины, и ученые книжники.

Кто-то из окружавших Саббатая каббалистов указал, что необходимо по возможности быстрее дать телесную оболочку тому «запасу душ», который уже приготовлен на небесах. С этой целью в одних лишь Салониках состоялось около 700 свадеб между подростками — мальчиками и девочками, чтобы пока еще бесплотные души могли воплотиться в их потомстве и получить свою долю радости при виде возрожденного еврейского царства.

К началу 1666 года саббатинское движение широкой волной разлилось по Северной Африке, по Италии и Голландии, а оттуда двинулось дальше на восток — в германские княжества, Австрию, Венгрию, Чехию, Польшу, Литву. Этому немало способствовали послы европейских держав при дворе султана, которые в своих донесениях много писали о Саббатае, а также рассказы торговавших с Турцией венецианских и генуэзских купцов. Многие христианские священники и богословы с тревогой ожидали наступления 1666 года, что вселяло в евреев еще больше уверенности. Еврейские общины по всему миру раскололись надвое — на «верующих» и «отрицателей». Последние почти повсюду были в меньшинстве, да и выступать против Саббатая становилось небезопасно: в Венеции один «отрицатель» был убит сторонниками мессии

только за то, что не встал при произнесении его имени. В Венгрии происходили настоящие побоища между саббатанцами и антисаббатанцами, а самый яростный из противников Саббатая, гамбургский раввин Якоб Саспортас, жаловался, что остался в одиночестве. Немецкие евреи продавали свои дома, имущество, запасали провизию на дорогу, собираясь в ближайшее время отправиться в Святую Землю. Народ жаждал чудесного избавления. В синагогах были установлены обряды в честь Саббатая, выпускались новые молитвенники со специальной молитвой, прославляющей царя-мессию. День его рождения был объявлен национальным праздником. Те, кто всего этого не признавал, сильно рисковали: не только простые евреи, но и раввины боялись открыто выражать свое осуждение, чтобы не подвергнуться оскорблениям и угрозам. Саббатанцы каялись и бичевали себя по особому ритуалу, разработанному Натаном Галеви; затем, «очищенные» таким образом, они опоясывались зелеными лентами — эмблемой Саббатая, устраивали праздничные шествия, пляски, а иногда и оргии. Лишь самые трезвые головы сумели остаться в стороне от этого почти повального ослепления.

Между тем наступил грозный 1666 год, и Саббатай со своими приближенными решил отправиться в Стамбул, дабы низвергнуть султана и стать царем возрожденного Израиля. Яхини, Галеви и Примо в своих посланиях призывали всех евреев последовать за мессией. Когда наконец корабль, на борту которого находился Саббатай, вышел из смирненской гавани и взял курс на Босфор, евреи всего мира замерли в ожидании чуда.

3

Еврейское население Стамбула встретило Саббатая восторженно, в предвидении каких-то неясных перемен заволновалась и мусульманская беднота, однако саббатанцев сразу же постигло разочарование: выяснилось, что султана нет в столице и свергнуть его нельзя. Вторым удар оказался еще серьезнее: великий визирь Ахмет Кеприли, опасаясь беспорядков, на всякий случай приказал арестовать Саббатая. Сначала его посадили в

обыкновенную долговую тюрьму, но затем заковали в цепи и перевели в крепость Абидос на берегу Дарданелл. Наступили смятение и растерянность, но вожди движения быстро сумели восстановить престиж «царя-мессии». Они заявили, что, если великий визирь, прекрасно зная о революционных намерениях Саббатай, все-таки не решился предать его смертной казни, а ограничился арестом, значит, божественность абидосского узника для турок несомненна. Сам он объяснил случившееся тем, что еврейский народ еще недостаточно покаялся в своих грехах, поэтому мессия должен искупить их собственными страданиями.

Объяснение не отличалось большой оригинальностью, но этого и не требовалось. Народ рьяно принялся исполнять поступившие указания, в синагогах стоял плач и стон кающихся. Богачи саббатянцы, подкупив стражу, получили доступ в камеру, где сидел Саббатай, украсили ее цветами и лентами, нарядили узника в царское одеяние и воздвигли ему престол в темнице. В Стамбул продолжали прибывать сотни и тысячи евреев, Абидосская крепость была переименована в мистическую «башню могущества». На аудиенциях у Саббатай побывали представители еврейских общин Германии, Голландии, Османской империи, Речи Посполитой, Персии, Марокко, Палестины. Лишь под стенами Абидосской крепости свыше 5 тысяч человек участвовало в пышных торжествах по случаю сорокалетия «царя-мессии», но его вера в себя уже дала трещину, он начал сомневаться в собственном призвании, пытаясь найти опору в поклонении окружающих. Чуда не произошло; христианские монархи не спешили вмешиваться в события, султан по-прежнему сидел на престоле, а Саббатай — в тюрьме, поменять их местами никак не удавалось. Более того, стало известно, что турки, потеряв терпение и получив от ситуации все возможные выгоды в виде взяток и подношений, готовят репрессии против приверженцев «машиаха». Все, в том числе сам Саббатай, с нетерпением ждали приезда знаменитого каббалиста Нехемии Га-Когена из Польши. Надеялись, что он сумеет как-то разрешить всеобщее недоумение и укрепить пошатнувшуюся веру.

Наконец Нехемия прибыл в Абидос.

Его провели в камеру Саббатая; три дня и три ночи, как гласит предание, они беседовали с глазу на глаз, после чего Нехемия пришел к выводу, что мессианские времена еще не наступили и Саббатай — не мессия.

На четвертый день, выйдя к собравшимся возле крепостных ворот саббатиянцам, Нехемия сообщил свое заключение и едва не был растерзан разъяренной толпой, обманувшейся в своих лучших надеждах. Напрасно он кричал, что нужно как можно скорее избавиться от заблуждения, что все происшедшее и без того способно обернуться трагедией для еврейского народа. Его сочли клеветником и хотели убить на месте. Нехемии с трудом удалось избежать смерти — вероятно, благодаря вмешательству турецких стражников. Тогда не то в приступе гнева, не то для того, чтобы спасти соплеменников от грозящих им несчастий, он во всеуслышание объявил себя мусульманином и получил возможность говорить с самим великим визирем. Представ перед ним, Нехемия просил о милости к соблазненным лжемессией евреям, поскольку в намерении свергнуть султана виноват исключительно Саббатай.

Похоже, лишь после разговора с Нехемией визирь вполне уяснил революционные планы саббатиянцев, тщательно скрываемые от турецких властей. Он немедленно доложил обо всем султану, и тот пожелал видеть возмутителя спокойствия. Надо полагать, ему любопытно было взглянуть на еврейского святого, который, оказывается, намерен разрушить Блистательную Порту.

Внезапный вызов к грозному владыке правоверных ошеломил и вообще-то слабого духом, подвластного минутным настроениям Саббатая. Вдобавок он еще не успел оправиться от жестокого удара, нанесенного ему Нехемией, и сам не понимал, кто он: мессия или нет? Рядом не было никого, кто мог бы его поддержать. Доступ в крепость был прекращен, теперь ему приходилось опираться лишь на самого себя.

Между тем стамбульских евреев охватила паника. Тысячи людей собрались в синагогах, «верующие» и «отрицатели» вместе молились о том, чтобы встреча Саббатая с султаном не закончилась катастрофой для турецкого еврейства. Ничего хорошего от этой встречи не ждали. Очевидно, мало кто верил, что она завершит-

ся триумфом мессии и чудесным низложением владыки Оттоманской империи.

В сентябре 1666 года (15-го числа месяца элула по еврейскому календарю) Саббатай доставили в один из дворцов султана — Адрианопольский. Турецким языком он не владел, поэтому в качестве переводчика на встрече присутствовал придворный врач Гвидон, еврей, перешедший в ислам.

Прежде всего султан поинтересовался у Саббатай, правда ли, что он — мессия. Тот отвечал уклончиво. Смысл его слов сводился к тому, что так считает не он сам, а большинство евреев и даже многие христиане и мусульмане. По всей видимости, аудиенция продолжалась недолго и закончилась тем, что султан распорядился предать смерти самозванца. Саббатай пришел в ужас, и вот тут-то Гвидон предложил ему спасти свою жизнь ценой обращения в ислам, убеждая его, что без этого все кончено, мессианская затея обернулась полной неудачей. Возможно, были приведены и какие-то более изощренные аргументы, но факт остается фактом: растерявшийся Саббатай ответил согласием. Вместо царского венца на «мессию» надели мусульманский тюрбан, переименовали в Мухаммеда-эфенди и отдали в обучение одному из стамбульских муфтиев. Вслед за ним приняли ислам Сарра и некоторые из его приближенных.

Разгневанный султан намеревался предпринять суровые репрессии против евреев, в частности казнить пятьдесят раввинов, однако в конце концов сменил гнев на милость. На этот раз обошлось без крови, но, когда весть о постыдном отступничестве Саббатай разнеслась по Стамбулу, по другим турецким городам, а затем достигла Европы, евреев охватило невыразимое отчаяние. Насколько сильны были вера в мессию и связанные с ним надежды, настолько же страшным оказалось и разочарование. Большинство с ужасом отшатнулось от ренегата, но многие саббатианцы не могли примириться с этой неожиданной и печальной развязкой. Начали распространяться слухи о том, что ислам принял не Саббатай, а лишь его тень, его призрачный двойник, сам же он вознесся на небеса.

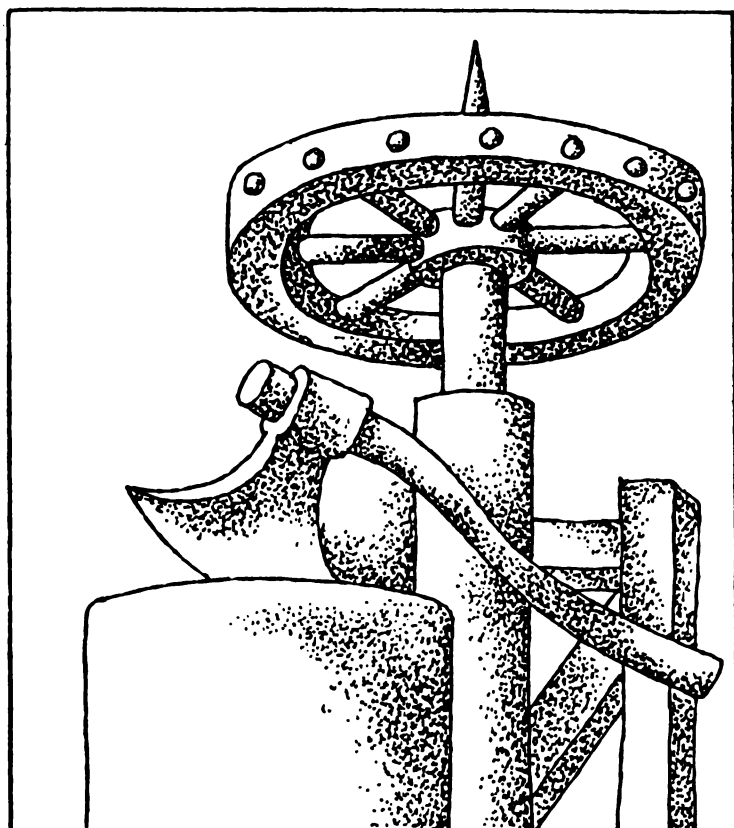
Натан Галеви, один из виднейших саббатианцев, разослал по еврейским общинам послание, в котором го-

ворилось: «Если до вас дошли странные вести о нашем господине — да увеличится слава его! — не бойтесь и крепитесь в вашей вере, ибо его деяния суть таинственные испытания, все это глубочайшая тайна, и никто ее не разгадает...»

Столетием раньше португальский еврей Шломо Молхо пытался с помощью Карла V, императора Священной Римской империи, поднять евреев на вооруженную борьбу с турками, чтобы возродить Израильское царство в отвоеванной у султана Палестине, но, когда ему предложили креститься, отказался и был сожжен на костре. Примеров подобной стойкости перед лицом смерти было предостаточно во все века еврейской истории. Отступничество Саббатая казалось столь невероятно, что в нем хотели видеть не элементарное малодушие, а некий тайный смысл колоссальной важности. В течение последующих десятилетий еврейские книжники не оставляли попыток постичь этот смысл. Саббатианство не умерло, но из широкого народного движения выродилось в несколько замкнутых религиозных сект, в которых идея возрождения национального государства заменилась туманными и отвлеченными каббалистическими теориями.

Одна из таких сект, сочетающая в своем учении иудаизм и ислам, сохранилась до наших дней в греческом городе Салоники. Членов этой секты турки презрительно называли «денме», по-турецки — «вероотступники». В начале XX века их насчитывалось около 4 тысяч человек, теперь — несравненно меньше.

Что касается самого Саббатая Цви, после обращения в ислам он остался жить в Стамбуле и то ревностно изучал Коран под руководством своего наставника, то ночи напролет плакал и пел псалмы царя Давида. Сарра вскоре умерла. Со временем вокруг Саббатая вновь собрался кружок фанатичных почитателей, но султан, узнав, что он продолжает общение с евреями, сослал его в Албанию. Там он и умер в 1676 году, в захолустном городке Дульциньо, в полном одиночестве проведя последние годы жизни. Евреев там не было, и тело лжемессии предали земле местные христиане.



ТРЕТИЙ ПЕТР

В XVIII веке в России продолжали появляться самозванцы, принимавшие имена русских государей, наследников престола или членов царствующей династии.

Многократно «оживали» царевич Алексей, сын Петра I, и рано умерший от оспы Петр II. Восемь раз «поднимался из гроба» Иван Антонович, младенцем низложенный Елизаветой Петровной и убитый стражей при попытке гвардейского поручика Мировича освободить его из Шлиссельбургской крепости в 1764 году.

Время от времени являлись и те, кто возлагал на себя имена фигур совершенно мифических, никогда не существовавших в реальности, — например, «брата» царевича Алексея «царевича Петра Петровича», или какого-то совсем уж фантастического «сына» императрицы Елизаветы Петровны от ее тайного брака с английским королем.

Но никто в этом отношении не мог сравниться с императором Петром III, свергнутым с престола женой, Екатериной II. Его смерть породила целый сонм самозванцев, которые с угрожающей регулярностью то и дело объявлялись в народе до тех пор, пока одному из них не удалось до основания потрясти всю Российскую империю.

Однажды будущая императрица Екатерина II зашла в комнату мужа, будущего императора Петра III, тогда — наследника престола, и ее глазам представилось странное зрелище: с потолка свисала веревка, на конце которой болталась в петле мертвая крыса. На вопрос, что означает эта дикая картина, Петр отвечал, что крыса совершила тягчайшее преступление — забралась в стоявшую на столе картонную крепость и съела двух солдатиков из крахмала. За это она была предана суду и по законам военного времени приговорена к смертной казни через повешение.

В возрасте восемнадцати лет цесаревич Петр продолжал забавляться игрой в солдатиков, которых придворные мастера изготавливали для него из воска, дерева, свинца или даже крахмала, как те двое несчастных, что стали жертвой хвостатой преступницы. У себя в кабинете он часами расставлял их по столам, снабженным особыми приспособлениями, — если дергать за натянутые шнурки, раздавались звуки, напоминающие беглый ружейный огонь. В праздничные дни Петр собирал приближенных, сам надевал генеральский мундир и во главе своей армии давал неприятелю сражение, дергая за шнурки и наслаждаясь звуками битвы.

Самое забавное, что подобными затеями тешился великовозрастный потомок сразу двоих великих монархов и полководцев — российского императора Петра I и шведского короля Карла XII. Первый был родным дедом Петра III, второй — двоюродным, и в мальчике как бы состоялось посмертное примирение этих двух заклятых врагов.

Он был сыном герцога Голштинского, рано остался сиротой, получил никуда не годное воспитание под руководством невежественного наставника, который всячески унижал и даже сек принца. С детства лишенный и родительской заботы, и свободы, он был скрытен, упрям, имел привычку лгать, а в России научился еще и напиваться. Ему была уготована роль владельца захудалого германского княжества, но в один прекрасный день его судьба сделала неожиданный зигзаг: императрица Елизавета Петровна вспомнила о своем голштин-

ском племяннике, мальчика привезли в Петербург и объявили наследником престола. В четырнадцать лет он из лютеранина стал православным, из герцога Карла-Петра-Ульриха превратился в великого князя Петра Федоровича, но до конца жизни так толком и не выучился русскому языку и, после смерти Елизаветы Петровны вступив на престол, имел весьма смутные представления о стране, которой ему предстояло управлять в качестве самодержца.

Знаменитый историк Василий Осипович Ключевский писал о нем: «Он боялся всего в России, называл ее проклятой страной и сам выражал убеждение, что в ней ему непременно придется погибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться с ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался. Она пугала его, как пугаются дети, оставшиеся одни в обширной пустой комнате».

Петр III не считал нужным скрывать своего пренебрежения к православным обрядам, в придворной церкви во время богослужения принимал иностранных послов, расхаживал взад и вперед, словно у себя в кабинете, мог показать язык священнику. Наконец, он решительно восстановил против себя духовенство тем, что, недолго думая, приказал «очистить русские церкви», то есть вынести из них все иконы, кроме икон Спасителя и Божией Матери, а священникам обрить бороды и одеваться как лютеранские пасторы. Правда, этот безумный приказ так и не был исполнен.

Став императором, он также без долгих размышлений подписал мирный договор со своим кумиром, прусским королем Фридрихом II, причем на столь невыгодных для России условиях, что она не сумела воспользоваться плодами одержанных в Семилетней войне побед. Петр III сделал это с такой легкостью, как будто речь шла о войне, разыгранной солдатами из воска или крахмала.

«На серьезные вещи, — замечает Ключевский, — он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. Он походил на ребенка, вообразившего себя взрослым; на самом деле это был взрослый человек, навсегда оставшийся ребенком. Уже будучи женат, в России, он не мог расстаться со своими

любимыми куклами, за которыми его не раз заставляли придворные посетители».

Один из современников вспоминал, как однажды император и его приближенные, развеселившись, начали «все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать».

Поведение, само собой, и вообще-то неприличное для человека в возрасте тридцати лет, а для самодержца всероссийского — тем более. Но при всех его недостатках и слабостях был ли Петр III только полным ничтожеством, притом злонамеренным, каким его обычно изображали?

Пожалуй, нет.

Да, он был дурно воспитан, сумасброден, капризен, обладал вздорным характером, но главное — вел себя совершенно не так, как подобает государю. Играл на скрипке, гулял по Петербургу как частное лицо, без охраны, и на улице заговаривал с прохожими. Мог запросто беседовать с солдатами на плацу или вдруг взять и зайти к своему бывшему камердинеру.

Одна придворная дама, во времена Петра III бывшая молодой девушкой, рассказывала: «Я была очень смешлива. Государь, который часто ездил к моей матушке, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя».

Вот в чем суть!

Петр III *не похож был на императора*, это-то и привлекало к нему народные симпатии. Из Петербурга, через купцов и солдат, слухи о странном государе расходились по всей России. В его «непохожести» видели верный признак того, что он и есть тот самый долгожданный «добрый царь», вера в которого никогда не умирала на Руси.

Вдобавок он был первым мужчиной на троне после трех десятилетий «бабьего царства» — правления Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны. Это тоже вызывало надежды, что при нем все пойдёт по-другому, не так, как прежде. Когда же на трон опять вступила женщина — Екатерина II, свергнутый ею муж был идеализирован раз и навсегда.

И последнее: Петр III просидел на троне всего один год, народ еще не успел в нем разочароваться.

Более того, за этот год был издан ряд важных указов. Монастырские крестьяне переводились в собственность казны, что облегчало их положение; ограничивались права заводчиков покупать крепостных для своих фабрик, гонимым ранее раскольникам разрешалось исповедовать «старую веру», пусть даже и не вполне свободно. В армии и во флоте отныне запрещено было наказывать «нижних чинов» палками и «кошками», но «только шпагою или тростью». Тоже, конечно, не сладко, тем не менее отчасти, может быть, и поэтому первые самозванцы, возложившие на себя имя Петра III, появились именно в солдатской среде.

Чем больше обвинений возводила Екатерина II на своего покойного мужа, тем сильнее народ подозревал ее в обмане. Да ведь и были основания видеть в нем народного заступника!

По именному указу императора была пострижена в монахини помещица Зотова, подвергавшая дворовых людей пыткам, а ее имущество конфисковано для выплаты компенсации пострадавшим. Воронежского поручика Нестерова навечно сослали в Нерчинск — за то, что довел до смерти своего крепостного человека. В законодательство была введена новая статья, где издевательство над крепостными рассматривалось как «тиранское мучение». Слухи об этом, распространяясь в народе, постепенно превратились в уверенность, будто государь собирался отменить крепостное право как таковое, будто бы за его «Указом о вольности дворянства», освобождавшим дворян от обязательной государственной службы, должен был последовать «Указ о вольности крестьянства», но дворяне, мол, испугались и свергли «доброе царя Петра Федоровича».

Гвардейский переворот, в результате которого на престол взошла его жена Екатерина, а затем и таинственная гибель императора окончательно сделали его народным героем. Он был тайно задушен в Ропше 6 июля 1762 года, но в официальном манифесте его кончина объяснялась самым курьезным образом — внезапным припадком геморроя и «прежестоккой коликой». Пове- рить в столь анекдотичные, а для народа — попросту не-

понятные причины смерти государя было невозможно, поэтому почти сразу же поползли слухи о его спасении. Как обычно в таких случаях, говорили, что вместо царя похоронен был кто-то другой, на него похожий, а его самого выкрали верные люди, и теперь он где-то скрывается. Даже среди столичного дворянства многие верили, будто Петр III не убит, а содержится в заточении. Рассказывали, что, когда почти сорок лет спустя на престол вступил его сын, Павел I, он в тот же день поинтересовался у весьма осведомленного в такого рода делах графа Гуровича: «Жив ли мой отец?»

Разумеется, к тому времени Петр III давно был мертв и покоился в Александро-Невской лавре, хотя начиная с Петра I всех русских государей погребали в Петропавловском соборе. Но для сотен тысяч людей по всей России он умер не в 1762 году, а на тринадцать лет позже, и не в Ропше, а в Москве, под топором палача.

Все вроде бы и знали, что «царское имя» возложил на себя самозванец, Емельян Пугачев, но в то же время как бы не вполне в это верили. Даже в 1833 году, когда Пушкин стал расспрашивать о Пугачеве одного старого уральского казака, тот «сердито» заявил: «Он для тебя Пугачев, а для меня он был великий государь Петр Федорович!»

О Пугачеве написано так много, что повторяться не имеет смысла. Но мы немного сместим угол зрения и посмотрим на него не как на вождя крестьянской войны, а прежде всего — как на самозванца.

2

В ноябре 1772 года, будучи в яицком городке¹, Пугачев познакомился с казаком-раскольниковым Пьяновым и как-то в доверительной беседе сказал ему: «Слушай, Денис Степанович! Хоть поведаете ты казакам, хоть не поведаете — как хочешь, только знай: я — государь Петр Третий!» Пьянов стал первым, кто услышал эту «великую тайну». Он, естественно, изумился, а затем,

¹ Столица Яицкого (Уральского) казачьего войска, ныне — Уральск.

«помолчав немного», попросил: «Коли ты государь, расскажи мне, где же ты странствовал». Пугачев отвечал, что он «ходил в Польше, в Цареграде, в Египте», а оттуда, узнав про казачью «нужду», пришел на Яик.

Позднее к этим географическим пунктам он присоединял еще Иерусалим, где сроду не бывал, как, впрочем, и в Стамбуле, и в Египте, но действительно — скитаний на его долю выпало немало.

Емельян Иванович Пугачев родился в 1742 году в донской станице Зимовейской — родной станице Степана Разина. В восемнадцать лет он женился, но уже через неделю после свадьбы отправился на войну с Пруссией и едва вернулся на Дон, как снова пришлось воевать, на этот раз — с турками. В сражении под Бендерами он проявил «отличную проворность и храбрость», за что был произведен в хорунжие. При этом Пугачев был честолюбив, любил прихвастнуть и, к примеру, уверял простодушных товарищей, будто его сабля (он где-то добыл хорошую саблю) подарена ему самим Петром I, его крестным отцом, хотя тот умер за семнадцать лет до появления на свет своего «крестника».

В 1771 году Пугачева «одолела хворь» — «гнили грудь и ноги». От этой болезни у него на теле навсегда остались следы — «знаки», которые он впоследствии предъявлял как доказательство своего царского происхождения. Пугачев хотел добиться отставки по болезни, но не сумел и бежал с Дона, оставив дома жену Софью, к тому времени успевшую родить ему сына и двоих дочерей. Вначале он подался на Терек, там был арестован, но сумел уйти из-под стражи, добрался до Украины, оттуда ушел за границу, в Польшу, где жил среди беглых русских старообрядцев; вскоре вернулся на родину и, наконец, к осени 1772 года оказался на Яике, где и объявил себя Петром III.

Спустя два месяца Пугачева арестовали и отправили в Казань. Из казанской тюрьмы он бежал, снова был пойман, опять бежал — уже из Оренбурга — и опять пришел на Яик. Теперь ему удалось найти себе пристанище в 60 верстах от Яицкого городка, в Таловом умете¹, хозяином которого был крестьянин Степан Обо-

¹ У м е т — постоянный двор в степи.

ляев, известный среди казаков под странным прозвищем — Еремина Курица. Это произошло летом 1773 года. Пугачеву в то время было тридцать лет, а Петру III, будь он жив, исполнилось бы сорок пять. Покойный император был выше среднего роста, имел плотную фигуру, белокурые волосы и голубые глаза; Пугачев был низкоросл, сухощав, смугл и черноглаз. Но все это ничуть не помешало ему с блеском сыграть взятую на себя роль.

По приезде в Талов умет Пугачев и Еремина Курица пошли в баню. Когда гость разделся, хозяин увидел его «знаки» и спросил: «Что это у тебя такое на груди-то?» — «А это знаки государские», — ответил Пугачев. Тогда, как он позднее рассказывал на допросе, Еремина Курица, уже знавший его «великую тайну» от Пьянова, удовлетворенно сказал: «Ну, хорошо, коли так».

Слух о появившемся Петре III быстро облетел окрестные хутора и станицы. Яицкие казаки были взволнованы тем сильнее, что всего год назад они подняли мятеж, добиваясь восстановления прежних казачьих вольностей, убили генерала Трауберга и атамана Тамбовцева, однако были разбиты присланной из Оренбурга воинской командой. Зачинщиков били кнутом и с вырванными ноздрями сослали на каторгу, рядовых участников бунта тоже подвергли суровым наказаниям, всех остальных — денежным штрафам. Казаки были недовольны, всюду слышался глухой ропот. «То ли еще будет! — говорили усмиранные, но несмирившиеся мятежники. — Так ли мы еще тряхнем Москвою!»

«Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам, — пишет Пушкин в «Истории Пугачева». — Все предвещало новый мятеж. Недостава-ло предводителя. Предводитель сыскался».

Довольно скоро несколько видных казаков, извещенные Ереминой Курицей, тайно прибыли в Талов умет, чтобы поглядеть на «государя». Прежде чем дать им «аудиенцию», Пугачев наказал своему хозяину: «Ты поди и спроси у тех казаков, бывали ли они в Петербурге и знают ли, как должно к государю подходить. Если они скажут, что в Петербурге не бывали и не знают, то прикажи им передо мною на колени встать и целовать мою руку».

Это, как видно, было единственное, что сам он знал о придворном церемониале.

Исполнив то, что им было велено, посетители переговорили с Пугачевым, и скоро вслед за ними явились еще четверо — Чика-Зарубин, Мясников, Караваев и Шигаев. Это были наиболее влиятельные представители той части яицкого казачества, что склонялась к новому мятежу.

Пугачев обратился к ним со следующими словами: «Здравствуйте, войско Яицкое! Доселе отцы ваши и деды в Москву и в Петербург к государям езживали, а ныне государь к вам сам приехал». Затем он рассказал, как двенадцать лет назад¹ был взят под караул «гвардией» из-за ненависти к нему «бояр», но его выпустил на свободу некий капитан Маслов (упоминание конкретной фамилии делало всю историю более правдоподобной). Тут же последовал рассказ о многолетних странствиях в Египте, Иерусалиме и т. д., о «претерпленной бедности», но один из пришедших, Караваев, перебил рассказчика и потребовал предъявить «царские знаки», которые видел Еремина Курица.

Пугачев изобразил возмущение, сказав: «Раб ты мой, а повелеваешь мною!» Для пушшего эффекта он схватил нож и хотел разрезать рубаху на груди, чтобы показать «знаки», но Караваев предложил не портить рубаху, а попросту снять ее. Как раз этого-то Пугачев сделать и не мог, иначе казаки увидели бы у него на спине рубцы от наказания плетьюми.

«Не подобает вам видеть все мое царское тело!» — заявил он с обычной для него находчивостью. Прежде чем разрезать ворот, Пугачев спросил: «Кто же из вас знает царские знаки?» Казаки, естественно, отвечали, что никто не знает, как они должны выглядеть. Лишь тогда наконец рубаха была разрезана, открылись оставшиеся от болезни пятна на груди Пугачева, под сосками.

Очевидно, все это было проделано с надлежащей торжественностью, потому что казаков «такой страх

¹ На самом деле переворот произошел 11 лет назад. Возможно, Пугачев об этом и знал, но число «12» казалось ему выразительнее.

обуял, что руки и ноги затряслись». Только Чика-Зарубин продолжал сомневаться и позднее, на допросе, говорил следователям: «Видя Пугачева, думал я и рассуждал сам с собою, что ему государем быть нельзя, а какой-нибудь простой человек». Зарубину казалось подозрительно, что государь острижен по-казацки, одет в казацкое платье, носит бороду. Он вслух высказал свои сомнения, но Караваев его успокоил, объяснив, что «государь так себя прикрывает».

Заметив некоторые колебания, Пугачев приподнял волосы у себя над ухом и продемонстрировал еще одно пятно на левом виске, по форме отдаленно напоминавшее царский герб с двуглавым орлом.

Казаки были потрясены.

«Все цари с таким знаком рождаются? — все же полюбопытствовал Шигаев. — Или это после Божьим изволением делается?»

На этот счет у Пугачева, надо полагать, никакой теории заготовлено не было, и он отговорился тем, что таких вещей подданным знать не подобает — то не их ума дело.

В итоге казаки признали его «государем», после чего Пугачев, сменив тон, обратился к ним с просьбой: «Сберегите меня, детушки!»

Затем пришедшие от лица всего Яицкого казачьего войска присягнули ему на иконах: «Обещаемся перед Богом служить тебе, государь, во верности до последней капли крови. И хотя все войско Яицкое пропадет, а тебя живого в руки никому не отдадим!»

Пугачев тоже присягнул, обещав, что «если Господь допустит его в свое место», то есть на престол, он будет «любить и жаловать войско Яицкое, как и прежние цари». Казакам обещано было «безданное и беспошлинное» владение «рекой Яиком и притоками, рыбными ловлями, землею, сенокосами и всеми угодьями». Кроме того, поскольку яицкие казаки промышляли солеварением, Пугачев посулил им разрешение свободно продавать соль по всей России.

Договор был заключен, однако эти четверо все-таки подозревали, что дело тут нечисто. Подозрения еще усилились после того, как обнаружилось, что «амператор» не умеет читать и писать. Пугачеву пришлось открыться

перед ними. Взяв с них клятву хранить все в тайне, Пугачев объявил свое настоящее имя, после чего сказал: «Я был на Дону и по всем тамошним городкам, и везде молва есть, что государь Петр Третий жив и здравствует. Под его именем я могу взять Москву, ибо прежде наберу по дороге силу, и людей у меня будет много».

Услышав это признание, казаки переговорили между собой, и Мясников выразил общее мнение: «Нам какое дело, государь он или нет? Мы из грязи сумеем сделать князя. Если он не завладеет Московским царством, то мы на Яике свое царство сделаем».

Кроме Каравая, Шигаева, Мясникова и Чижи-Зарубина, правду о Пугачеве знали еще несколько наиболее близких к нему людей, но разглашать ее было не в их интересах. Они уже убедились, что по своим личным качествам Пугачев годится на роль «государя», и охотно признали его таковым. Группа из восьми—десяти влиятельных казаков стала той силой, которая всегда стоит за спиной удачливых самозванцев и от которой те, добившись успеха, норовят избавиться. Пугачеву это так и не удалось, он остался орудием в руках тех, кто из беглого арестанта и бродяги сделал его «великим государем Петром Федоровичем». Пугачев тяготился своей зависимостью от казацких вождей («скучал их опекою», по выражению Пушкина), но бессилен был покончить с ней. Однажды, пируя на свадьбе сына первого своего приверженца, Пьянова, он пожаловался ему: «Улица моя тесна». Это вообще типично для большинства самозванцев, сочетающих в себе своеобразное величие, отнюдь не только показное, и управляемость марионетки, вынужденной подчиняться движениям невидимых для публики нитей. Чужое имя становится и благом, и проклятием. Это грозное оружие, но оно же делает самозванца уязвимым, ибо в любой момент может быть обращено против него самого.

Для яицких казаков Пугачев был и навсегда остался чужаком, которому не следует давать слишком много воли. Он не в состоянии был предпринять что-либо серьезное без согласия своих покровителей, вдобавок знавших его тайну, они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его желаниям. Они оказывали «государю» внешнее почтение, при народе ломали перед

ним шапки, били челом, целовали ему руки и т. д., но наедине обходились с ним как с равным и вместе пьянствовали, сидя в одних рубахах и распевая песни. Между «государем» и его новыми «боярами» во хмелю, бывало, вспыхивали ссоры, порой дело доходило и до рукоприкладства. При этом казачьи вожди ревниво следили, чтобы у «царя» не было других доверенных лиц, способных иметь на него влияние. Когда пленный сержант Кальмицкий стал любимцем Пугачева, его вскоре задушили, а труп бросили в реку. Пугачев осведомился о нем и получил ответ самый наглый: «Он пошел к своей матушке вниз по Яику». Молодая вдова коменданта Нижне-Озерной крепости майора Харлова, которую после казни мужа Пугачев сделал своей наложницей, тоже приобрела на него определенное влияние. Она одна имела право входить к нему в любое время. Этому ей не простили. Несчастливая женщина, неохотно выданная Пугачевым на расправу своим ревнивым соратникам, была расстреляна вместе с семилетним братом.

Самое любопытное, что народные представления о «добром царе», которого окружают «злые бояре», распространились и на самозванца. Им приписывалось все дурное, что происходило во время восстания, на них возлагалась вся напрасно пролитая невинная кровь. Когда, например, спустя много лет Пушкин в разговоре со старыми уральскими казаками упомянул о «скотской жестокости» Пугачева, те всячески старались его оправдать и выгородить, говоря: «Не его воля была».

Но все это случилось потом, а пока что между Пугачевым и его ближайшими сподвижниками царило полное единодушие. Уже через двадцать дней после встречи в Таловом умете, 17 сентября 1773 года, на хуторе приблизительно в сотне верст от Яицкого городка в присутствии нескольких десятков казаков, беглых крепостных, калмыков и татар было оглашено первое воззвание «государя», явившегося «из Египта и Иерусалима».

«Как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей до крови, деды и отцы ваши, так и вы послужите за свое отечество мне, великому государю императору Петру Федоровичу. Когда вы устоите за свое отечество, и не истечет слава ваша казачья отныне и до веку...»

И далее:

«И я, государь Петр Федорович, во всех ваших винах прощаю и жалую вас рекою с вершины и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом».

Когда манифест был прочитан, знаменщики торжественно развернули заранее изготовленные разноцветные знамена с нашитыми на них восьмиконечными раскольничьими крестами, и крошечное войско выступило на Яицкий городок. Началась последняя в истории России крестьянская война.

3

Вслед за казачьей столицей на Яике стремительно пали все крепости и форпосты вплоть до Оренбурга: спустя две недели Пугачев привел к его стенам уже целую армию в несколько тысяч бойцов, с артиллерией. Пленных офицеров и дворян убивали на месте или отправляли на виселицу, солдат приводили к присяге «истинному государю». Всюду его встречали хлебом-солью, под колокольный звон, стоя на коленях.

Обычно Пугачев произносил перед народом прочувствованную речь, рассказывал о «боярах», которые его свергли, ибо им ненавистно было его намерение всех «пожаловать» и четырехконечные кресты на церквах заменить «настоящими» — восьмиконечными: потому-то они и возвели на него напраслину, будто он хотел православные церкви «преобразить» в немецкие кирхи. Нередко излагал он и легенду о своем спасении. В ней фигурировал все тот же освободивший «царя» из-под стражи караульный «капитан Маслов», но иногда всплывал и новый мотив — сделанный по его царскому подобию и похороненный вместо него «восковой чучел». Порой Пугачев принародно обещал не казнить свою «злодейку-жену», Екатерину II, а по вступлении на престол сослать ее в монастырь. Также вспоминал он «сына», цесаревича Павла Петровича, и плакал, сокрушаясь, что в долгой разлуке тот успел позабыть родного отца. Как многие самозванцы, Пугачев обладал недюжинным актерским

талантом и в нужных случаях легко мог проливать натуральные слезы.

Поручик Шванвич, один из немногих офицеров-дворян, перешедших на сторону повстанцев, на допросе так описывал сцену присяги и целования руки Пугачеву: «А как подходили, он в то время плакал и, утирая платком глаза, говорил: «Вот, детушки! Бог привел меня еще над вами царствовать по двенадцатилетнем странствии. Был во Иерусалиме, в Цареграде, в Египте...» Потом, встав с кресел, махнув рукою, сказал: «Жалую всех вас землями, морями, лесами, крестом и бородою и всякою вольностью!»

Подобные сцены производили неизгладимое впечатление на присутствующих, поэтому генерал-аншеф Бибииков, которого Екатерина II назначила командовать всеми действующими против мятежников правительственными войсками, первым делом вступил в борьбу не с самим Пугачевым, а с легендой о том, что он — Петр III.

На родине самозванца, в донской станице Зимовейской, разыскали его жену, Софью Пугачеву. Брошенная мужем, она к тому времени дошла до такой бедности, что ходила по дворам и просила милостыню. Вместе с детьми ее отправили в Казань, к Бибиикову. Тот приказал содержать Софью «на пристойной квартире под присмотром, однако без всякого огорчения, и давать ей пропитание порядочное». Вместе с этим велено было посылать ее в город, где она должна была ходить «среди черни» и рассказывать правду о своем муже. А чтобы Софью не заподозрили в «ложном уверении», проще говоря — в обмане, Бибииков рекомендовал отправлять ее в город по базарным дням, когда ее появление «в народе» выглядело бы более естественно. В такие дни люди скорее могли поверить, что она рассказывает о муже, «ходя будто сама собою», а не по распоряжению начальства.

Дабы устроить донских казаков, произвели экзекуцию над домом самозванца. Готовясь к побегу, Пугачев продал свой дом одному казаку, и тот перевез его в соседнюю станицу. Теперь дом разобрали, доставили обратно в Зимовейскую, снова собрали там, где он раньше стоял, а затем сожгли заодно с садом. Пепел развеяли,

пожарище окопали рвом и все это место оставили «на вечные времена без поселения, яко оскверненное злодейским жительством».

Тем временем Пугачев безуспешно осаждал Оренбург. Осада затянулась на пять месяцев, в городе начался голод, питались кониной, варили даже какой-то кисель из особой местной глины, тем не менее все попытки пугачевцев взять крепость оказались неудачными.

Своей временной столицей Пугачев избрал Бердскую слободу, пригород Оренбурга. Отсюда рассылались «царские» указы и манифесты, здесь была образована Военная коллегия, как в Петербурге, государственная канцелярия и т. д. К серебряным рублям с изображением Петра III приделывали «ушки», превращая их таким образом в медали, которыми Пугачев награждал своих отличившихся военачальников. Его ставка представляла собой как бы пародию на официальный Петербург. Если сам он был Петром III, то Чика-Зарубин — фельд-маршалом графом Чернышевым, Шигаев — графом Воронцовым, Овчинников — графом Паниным, Чумаков — графом Орловым. Впрочем, пугачевские сподвижники не настаивали на своем тождестве с вельможами, окружавшими в то время престол Екатерины II. Это было не настоящее самозванство, скорее — маскарад. Точно так же Бердскую слободу в шутку именовали Москвой, соседнюю станицу Каргалинскую — Петербургом, Сакмарский городок — Киевом. Но маску, надетую на себя Пугачевым, большинство по-прежнему считало его лицом.

Правда, он несколько уронил свой авторитет, женившись на Устинье Кузнецовой, красавице казачке из Яицкого городка. Похоже, это сделано было по совету казацких сподвижников Пугачева — на тот случай, если взять Москву не удастся и придется устраивать на Яике «свое царство». Но многие были недовольны. «Народ тут весь как-то руки опустил, — рассказывал один из участников восстания, — и роптали: для чего он, не окончив своего дела, то есть не получа престола, женился?» Высказывать подобные сомнения вслух было опасно, однако люди недоумевали: как мог царь венчаться с простой казачкой? Да еще при живой жене — императрице Екатерине! Эти же сомнения мучили и саму Устинью, но ей

пришлось подчиниться, хотя сватовство «государя» она и ее отец встретили «великими слезами».

Устроили пышную свадьбу, к Устинье приставили двух «фрейлин» и поселили в доме бывшего войскового старшины — лучшем в городе. Уехав под Оренбург, Пугачев регулярно отправлял молодой жене письма, адресованные следующим образом: «Всеавгустейшей державнейшей великой государыне императрице Устинье Петровне». Оставшись в Яике, «государыня императрица» вела себя тихо, почти не выходила из «дворца» и, если у нее почтительно спрашивали каких-нибудь приказаний по тому или иному поводу, отвечала: «Мне до ваших дел никакой нужды нет. Что хотите, то и делайте!»

Между тем Софья Пугачева с детьми жила в Казани. Когда ее муж, отступив от Оренбурга, двинулся на запад, к Волге, и, неожиданно появившись перед Казанью, 12 июля 1774 года штурмом взял город, Софью вместе с сыном Трофимом и дочерьми Аграфеной и Христиной доставили в лагерь восставших. Они сидели на телеге, а Пугачев со свитой проезжал мимо. Одиннадцатилетний Трофим не видел отца три года, но сразу же узнал его и окликнул. Пугачев подъехал к ним. Даже в этой ситуации он не растерялся. Хотя Софья набросилась на него с руганью, называя «собакой» и «неверным супостатом», Пугачев и тут нашел выход из положения. Он заявил, что эта женщина — жена его друга, донского казака Емельяна Пугачева, и сердится потому, что ее муж был замучен в тюрьме за верность ему, «государю Петру Федоровичу».

В лагере Софью с детьми поместили в отдельной палатке. Многие любопытствовали, за что им такая честь, и Пугачев объяснял, что это жена донского казака Емельяна Пугачева, до смерти замученного за то, что приютил у себя в доме гонимого «государя». Очевидно, этим же фактом объяснялось и сожжение дома в Зимовейской.

Вскоре Пугачев наедине переговорил с Софьей и велел ей придерживаться этой версии, в противном случае обещав «из своих рук голову саблей срубить». Софье не оставалось ничего иного, как повиноваться. Позднее, на допросе, она говорила, что боялась разоблачить

мужа, ибо «он стал такой собака, что хоть чуть на кого осердится, то уж и ступай в петлю».

В самом деле, после боев под Казанью, в которых его армия была разгромлена отрядом Михельсона, теснимый со всех сторон правительственными войсками, Пугачев лютовал, как никогда прежде. Вдобавок многие почти открыто начали заявлять о его самозванстве.

Стараясь подтвердить, что он — истинный Петр III, Пугачев проявлял колоссальную изобретательность. Однажды, например, когда он приказал составить манифест к донским казакам и этот манифест как «именной», то есть написанный от его имени, принесли ему на подпись, не знавший грамоты Пугачев сказал: «Нельзя мне теперь подписывать до тех пор, пока не приму царства. Ну, ежели я окажу свою руку, так ведь и другой кто, узнав, как я пишу, назовется царем! А народ поверит, и будет какое ни есть злодейство».

Иными словами, «царь» отказался подписывать манифест на том основании, что какой-нибудь «самозванец» сможет тогда подделать его почерк, и в государстве начнется смута.

Однако скрывать свою неграмотность Пугачеву становилось все труднее. Как, впрочем, и свое происхождение. Повторилась обычная история: пока он одерживал победы, в нем видели «великого государя Петра Федоровича»; едва счастье от него отвернулось, вдруг прозрели все, кто был ослеплен его недавним величием. Те же, кто изначально знал правду, теперь не считали нужным ее скрывать. Поговаривали, будто четыре сотни донских казаков, ненадолго примкнувших к повстанцам, оттого и ушли, что признали в «государе» своего земляка. Рассказывали, что под Царицыном, когда «государь» подъехал к стенам крепости, какой-то донской казак крикнул ему с крепостного вала: «Эй, Емельян Иванович! Здорово!»

Он, однако, продолжал свою игру. Отойдя от Царицына, штурмовать который так и не решился, Пугачев на сутки задержался в Сарепте, где пожаловал своих приближенных новыми чинами и званиями: Овчинников был произведен в генерал-фельдмаршалы, Перфильев стал генерал-аншефом, начальник артиллерии Чумаков — генерал-фельдцейхмейстером, Творогов — ге-

нерал-поручиком, личный секретарь самозванца Дубровский — обер-секретарем Военной коллегии, Данилин — камергером. «Бог и я, великий государь, жалую вас чинами, — говорил при этом Пугачев. — Послужите мне верою и правдою!» Почти все награжденные были яицкими казаками. В последнее время Пугачев им не слишком-то доверял и напрасно надеялся таким образом крепче привязать к себе и снискать их расположение. Увы! Те, кто сделали его «царем», уже понимали, что эта карта бита, и думали только о том, как бы с наименьшим уроном для себя выйти из игры.

Хотя все Поволжье охвачено было крестьянскими восстаниями, главная «царская» армия таяла с каждым днем, по пятам шел неутомимый Михельсон. Пугачев решил принять бой и в сотне верст южнее Царицына дал последнее в своей жизни сражение. Оно продолжалось недолго. Не выдержав кавалерийской атаки, повстанцы рассеялись; около 7 тысяч было убито, шесть тысяч попало в плен. Михельсон захватил все имевшиеся у Пугачева 24 пушки, что означало конец крупномасштабных военных действий, но «главный злодей» с полутора сотнями яицких казаков ускакал, в районе Черного Яра переправился на левый берег Волги и в огне, сквозь подожженные по приказу Михельсона камыши, все-таки ушел от преследовавшей его кавалерии.

В погоню за ним бросился отряд под командой самого Суворова, спешно вытребованного из Москвы для окончательного разгрома и поимки самозванца. Суворов, по словам Пушкина, «углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды и где днем должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звездам».

Пугачев с немногими спутниками блуждал по той же голодной безводной степи. Он еще не терял надежды где-то перезимовать, отсидеться, причем чуть не ежедневно менял планы — то хотел уйти на Кубань, то к туркменам, то за Каспий, в Персию, чтобы весной вернуться на Яик и вновь собрать войско, но было уже поздно: среди его приближенных созрел заговор. Во главе заговорщиков стояли «генерал-фельдцейхмейстер» Чумаков и «генерал-поручик» Творогов, последний фа-

ворит Пугачева. В начале сентября 1774 года они связали «государя», и нового «капитана Маслова», который выпустил бы его из-под стражи, уже не нашлось.

4

Связанного, с забитыми в «великую колодку» ногами, Пугачева доставили в Яицкий городок; оттуда, через Симбирск, в Москву. Везли его скованного по рукам и ногам, в специально сделанной железной клетке, которую установили на высокой, тоже специально изготовленной телеге с громадными колесами. Перевозкой руководил сам Суворов, конвой состоял из двух рот пехоты, двух казачьих сотен и двух орудий с прислугой. Уже наступил октябрь, ночи были длинные. Для скорости двигались и в темноте, освещая путь факелами. На ночлегах солдаты кормили пленника «из своих рук» и говорили толпившимся возле клетки деревенским детям: «Помните, дети, что вы видели Пугачева!»

Утром 4 ноября въехали в Москву. Пугачев сидел в своей клетке, и от Рогожской заставы до Красной площади, где на Монетном дворе для него устроили временную тюрьму, улицы были полны народа. Меньшинство ликовало, большинство в угрюмом молчании взирало на пойманного «злодея». В течение двух месяцев его денно и нощно охраняли десять солдат Преображенского гвардейского полка и рота grenадер. «Любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене и еще страшного в самом бессилии, — пишет Пушкин. — Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взгляда и грозного голоса».

Следствие продолжалось до конца декабря. Екатерина II настойчиво требовала от следователей обнаружить в бунте следы «чужестранного руководства», но такового при всем старании найти не удалось. На вопрос о том, для чего он собирался идти на Москву, Пугачев ответил, что имел одну цель — «умереть со славою, имея всегда в мыслях, что царем быть не мог». И добавил: «Ведь я смерть заслужил, так похвальней быть со славою убиту!»

В последний день 1774 года его доставили в Тронную залу Кремлевского дворца, где проходило заседание

суда. Пугачеву был объявлен приговор, чуть позже утвержденный Екатериной II: четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города, разложить их на колеса и сжечь.

Но прошло еще десять дней, прежде чем приговор был приведен в исполнение.

В ночь на 10 января 1775 года на Болотной площади в Замоскворечье, работая при свете костров, плотники соорудили эшафот высотой примерно три аршина. Он был обнесен балюстрадой с перильцами, в центре возвышался увенчанный острой железной «спицей» столб; чуть ниже на нем, как на оси, надето было большое деревянное колесо. С раннего утра эшафот окружили полицейские команды и пехотные полки. Стоял жестокий мороз, офицеры были в шубах с надетыми поверх них шарфами и знаками различия. Все крыши домов и лавок были усеяны зрителями, толпа заполнила площадь и прилегающие к ней улицы. Все взоры были устремлены на эшафот, по которому прогуливались палачи и пили водку, чтобы не замерзнуть. Как выяснилось позднее, они получили исходившее от самой императрицы указание сократить мучения своих жертв и отрубить им сначала головы, потом — руки и ноги, а не наоборот, как полагалось при четвертовании.

Пугачева и Перфильева, также приговоренного к четвертованию, привезли в санях, под конвоем отряда кирасир. Пугачев сидел на высоком помосте, в руках у него горели две толстые свечи. Оплывая, они залепляли воском его руки. Все смотрели на него «пожирающими глазами», и «тихий шепот и гул раздавались в народе».

Дадим слово очевидцу казни, известному впоследствии поэту и баснописцу Ивану Дмитриеву:

«Пугачев с непокрытою головою кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: «На караул!» — и один

из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтением имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицмейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко отвечивал: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев». Потом во все продолжение чтения манифеста он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с утормпленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный. Отпусти, в чем я согрубил перед тобою. Прости, народ православный!» При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтання. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы...»

Отрубленные члены были положены на колесе, голову надели на «спицу». По четырем частям города ничего не разносили, и через день, 12 января, останки Пугачева сожгли вместе с эшафотом и санями, на которых он был привезен к месту казни.

Однажды, еще в самом начале восстания, когда Пугачев впереди своего войска подъехал к Татищевой крепости, один старый казак остерег его, сказав: «Берегись, государь, неравно из пушки убьют».

«Старый ты человек, — ответил ему Пугачев, — разве пушки льют на царей!»

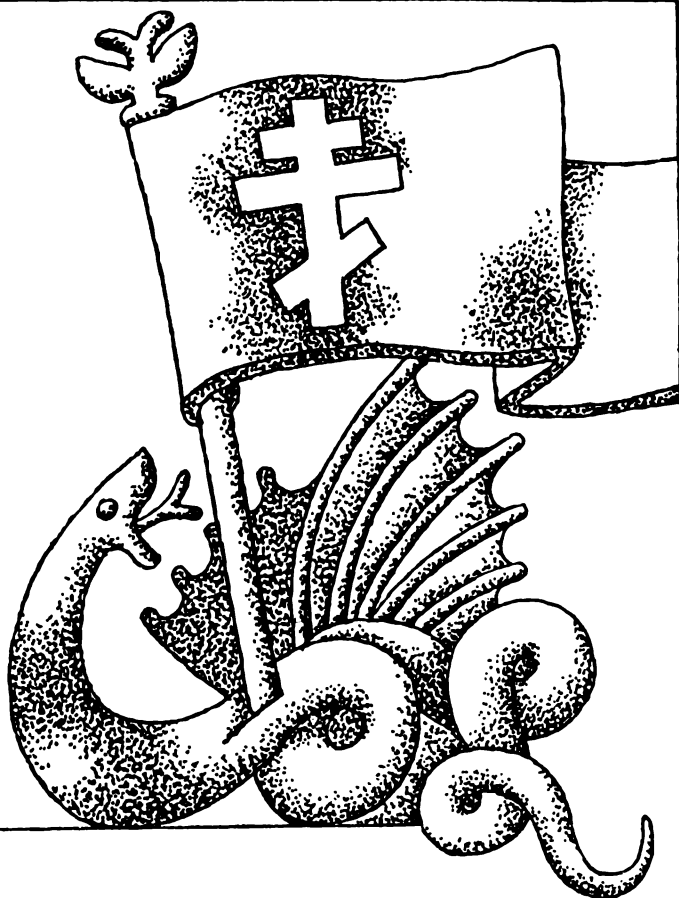
И был прав — против призрака «великого государя Петра Федоровича» бессильны оказались и пушки Михельсона, и суворовский «штык-молодец», и топор пала-

ча. За десять лет после казни на Болотной площади имя Петра III возложили на себя еще 13 самозванцев, действовавших в разных концах России, впрочем без особого успеха.

Четырнадцатым стал глава и вероучитель скопческой секты Кондратий Селиванов, призванный, как верили скопцы, очистить мир от греха и скверны. В сибирской ссылке он объявил себя «императором Петром Федоровичем», а позже, в Москве, даже уверял свою паству, будто сам император Павел I признал в нем родного отца. Из рассказов Селиванова следовало, что, прежде чем взойти на российский престол, Петр III «взошел на престол невинности», то есть подвергся добровольному оскотлению. Узнав об этом, Екатерина II приказала арестовать и убить мужа, но он сумел бежать, поменявшись одеждой с одним из караульных, который затем был убит и похоронен вместо него.

Селиванов окончил свои дни не на троне, а в Обуховской больнице для умалишенных, но одному из тех, кто выдавал себя за Петра III, все-таки удалось достичь верховной власти. Правда, не в России, а далеко за ее пределами.

Об этом — следующий рассказ.



ГОСПОДАРЬ ЧЕРНОЙ ГОРЫ

В XVIII веке маленькая православная Черногория (Черная Гора) оставалась неприступным горным бастионом, который так и не смогли подчинить себе турецкие завоеватели. Столетия борьбы превратили каждого черногорца в неустрашимого и неутомимого воина, не теряющего ни при каких обстоятельствах, всегда предпочитавшего смерть плену.

Зная об этом, в 1711 году, во время Прутского похода, Петр I направил туда капитана Милорадовича, серба по происхождению, который должен был склонить черногорские нахии¹ к совместным с Россией военным действиям против Османской империи. Черногорцы впервые почувствовали себя не в одиночестве. Они немедленно вооружились, осадили несколько турецких крепостей, но тем временем Петр I, окруженный турками, подписал мирный договор с султаном. Крошечная Черногория осталась один на один с грозным противником. Великий визирь Нуман-паша, пригласив черногорских предводителей на переговоры, предательски умертвил их, затем с огромной армией дошел до Цетинье, опустошил страну, но удержаться в ней не сумел.

Однако Петр I не забыл о своих храбрых союзниках, послав им награды и богатые дары. Черногорский архиепископ, владыка Даниил, был приглашен в Петербург,

¹ Нахия — черногорская община. Вся территория страны была поделена на десять нахий.

откуда вернулся со щедрыми пожертвованиями, и такие же поездки совершал позднее каждый из его преемников.

Оттесненные в горы, зажатые между принадлежавшей венецианцам прибрежной Далмацией и необозримыми владениями султана, черногорцы всегда помнили о существовании единой России, далекой, но могущественной, и не переставали надеяться на ее помощь в борьбе с турками. Именно поэтому русский император Петр III, в 1762 году убитый в Ропше, спустя четыре года воскрес на Черной Горе.

1

Осенью 1766 года в черногорской нахии Негуши появился никому здесь не знакомый человек, называвший себя Степаном Малым, и нанялся в работники к некоему Вуку Марковичу. Работая у него в хозяйстве, он одновременно лечил местных жителей целебными травами, которые сам же и собирал, причем с бедных вообще не брал денег, а с богатых брал только в том случае, если лечение помогало. Это помогло ему сблизиться с черногорцами и своим бескорыстием завоевать их доверие.

В следующем, 1767 году он, чтобы вылечить какого-то больного, поехал в находившийся под управлением Венеции портовый город Котор на побережье Адриатики, после чего венецианский проведитор (губернатор провинции) получил загадочное анонимное письмо. В письме сообщалось, что скоро в Которе появится неведомый «свет-император», для торжественной встречи которого необходимо снарядить два корабля, украшенные позолоченными флагами, живыми и мертвыми цветами и пр. На каждом из кораблей должны быть гребцы, кормчий, слуги, а также несколько полных комплектов итальянского, албанского, сербского и греческого платья, но о каком «свет-императоре» идет речь и зачем все это нужно, для провидителя осталось загадкой. Полученное им вскоре второе письмо подтверждало распоряжения, содержащиеся в первом, однако было ничуть не более внятным и тоже анонимным.

Венецианцы провели расследование и выяснили, что среди местных черногорцев, сербов и православных албанцев распространяется странная легенда. Согласно ей,

русский император Петр III якобы не умер, а лишь распустил слух о своей смерти и, подобно своему деду, Петру Великому, под чужим именем начал странствовать по свету. Но если дед когда-то ездил из России на Запад, то внук отправился на Восток — в турецкие владения — и уже будто бы появлялся на Дунае, был в Белграде, а теперь тайно пришел «в Черную Гору».

Отныне проведитору стало ясно, какой именно «свет-император» имелся в виду. Он также понял, видимо, и то, что комплекты разного национального платья, которые должны были находиться на кораблях, означают следующее: русский император не делает различия между равно страдающими от турок христианскими народами Балканского полуострова и готов облачиться в одежду любого из них.

Оба письма, разумеется, остались без ответа, и венецианские шпионы начали выяснять, кто является их автором.

Против ожиданий, сделать это оказалось весьма просто. Скоро проведитору донесли, что письма написал некто Степан Малый, человек неизвестного происхождения, живущий в нахии Негуши, в работниках у Вука Марковича. Степан не только не скрывал своего авторства, но открыто выражал неудовольствие по поводу того, что проведитор не исполнил имевшиеся в письмах указания и даже не соизволил на них ответить.

Однако успехи венецианских шпионов на том и закончились. Все их старания узнать о Степане Малом хоть что-нибудь еще ни к чему не привели. Он охотно встречался с этими людьми, хотя и знал, что они — шпионы, подолгу с ними беседовал, но о себе почти ничего не рассказывал, а если рассказывал, то так скупно и туманно, что из его рассказов невозможно было почерпнуть никаких конкретных сведений. Он говорил загадками, часто цитировал Священное писание, которое хорошо знал. Венецианские агенты терялись в догадках и сорековались в домыслах относительно его личности.

«Я враг всяких обманов, — заявил он одному из них, — поэтому никому, кроме яснейшего дожа¹, не открою, кто я такой!»

¹ До ж — глава сената Венецианской республики.

Понимая, что недосказанность и покров тайны производят гораздо более сильное впечатление, чем откровенное самозванство, Степан никогда прямо не называл себя Петром III. Как опытный мистификатор, он лишь намекал на это и не опровергал подобные утверждения своих сторонников.

Другому агенту проведитора, который настойчиво пытался узнать его настоящее имя, он сказал: «Я — Степан Малый, малейший из всех, но с Божией помощью буду с каждым днем становиться все больше и больше».

Обыгрывая свое прозвище, взятое им явно не случайно, он также говорил, что «из малых Господь творит великих».

Вообще говорил он хорошо, ярко, обладая несомненным даром красноречия и умением привлекать к себе сердца слушателей. В то же время речь его часто была темна и загадочна. Он избегал напрямую отвечать на поставленные вопросы, предпочитая изъясняться притчами. Например, когда однажды его спросили, для чего он пришел в Черногорию, Степан ответил: «Через эту реку построено тридцать мостов, но двадцать из них заперты, и лишь один открыт. Я иду по нему».

С первого дня своего пребывания в Черногории он окружил себя атмосферой таинственности, тем не менее венецианские шпионы, не жалевшие денег, кое-что сумели о нем разузнать, хотя и не ручались за достоверность своей информации. Во всяком случае, никто не знал больше, чем они, и, если суммировать их донесения, история жизни Степана Малого до 1766 года вырисовывается следующим образом.

По происхождению он, видимо, был серб из Герцеговины. Это определили по его выговору, а начитанность в церковной литературе позволяла предположить, что раньше он был послушником или монахом. Такому его прошлому ничуть не противоречило неплохое знание военного дела и умение отлично ездить верхом: монахи-воины нередко встречались в то время в православных областях Османской империи. На вид Степану было лет тридцать, из чего и вывели, что родился он около 1737 года. По некоторым деталям, названиям городов и мест, упоминаемых в его рассказах, можно было заключить, что он много странствовал по разным славянским

землям, занимался контрабандой, одно время был даже корсаром и грабил итальянские корабли на Адриатике, а в начале 60-х годов ездил в Россию с одним из сербских игуменов или епископов, часто отправлявшихся туда для сбора пожертвований. В России он, очевидно, услышал о смерти Петра III, которого идеализировали в народе, о самозванцах, принимавших имена русских царей. Тогда-то у него и родился фантастический план объявить себя чудесно спасшимся императором, чтобы именем Петра III объединить изнывающих под турецким игом православных и начать всеобщую войну с неверными. Возможно, он надеялся, что Россия не останется в стороне от этого движения. В отличие от русских самозванцев, имя которым — легион, Степан был идеалистом чистейшей воды, бескорыстным фанатиком, видевшим личное благо в освобождении соплеменников, и ни в чем ином.

Но прежде чем приступить к исполнению своего замысла, он несколько лет скитался по владениям султана, осматривая вражеские крепости, изучая расположение и боевые навыки турецких войск. В одном из гарнизонов он нанялся пастухом к знатному турку, но в конце концов был заподозрен в шпионстве и едва сумел бежать в венецианский Дубровник. Оттуда он перебрался в Австрию, где тоже продолжал свои разведки, интересуясь устройством фортификационных сооружений, чтобы позднее применить эти знания в войне против турок. Степан сам рассказывал, что комендант одной из пограничных австрийских крепостей хотел даже повесить его как турецкого лазутчика, и он избежал виселицы только благодаря заступничеству комендантши.

Он побывал в Вене, затем вернулся на Балканы, прошел всю Сербию, всю Боснию, нигде надолго не задерживаясь, — нанимался на поденную работу, чтобы заработать на скромное пропитание, и шел дальше. Например, осенью 1766 года он появился в Черногории, с которой и решил начать осуществление своего плана.

Вот, собственно, и все, что удалось узнать венецианским шпионам о его предшествующей жизни, и за истекшие с тех пор два с лишним столетия наши сведения о Степане Малом не стали полнее.

Зато его внешность, характер и привычки были хорошо известны современникам, а следовательно, и нам.

Он был невысокого роста, стройный, худощавый, с небольшим бледным лицом, сохранившим следы перенесенной оспы, с длинными светлыми волосами и живыми темными глазами. Носил усы, одевался обычно по-албански — в турецкую шелковую рубашу, такие же шаровары и безрукавку с меховой оторочкой, но шапку предпочитал греческую. По-сербски он говорил лучше всего, хорошо знал также немецкий и турецкий, однако совсем не знал тех языков, которыми, как считал его враг, черногорский архиепископ Савва, должен был бы владеть российский император, — русского, французского, итальянского и древнегреческого. Роскоши не любил, в обращении был прост всегда — и когда служил в работниках у Вука Марковича, и когда стал господарем Черной Горы. Правда, его замечали в пристрастии к вину и даже к водке, но и это служило еще одним доказательством того, что он — русский. Видимо, склонность к крепким напиткам для черногорцев являлась отличительной чертой русского человека.

Степан производил самое приятное впечатление на всех, в том числе и на венецианских агентов. Они отмечали в нем доброжелательность, «ум быстрый и возвышенный» и вообще давали ему лестные характеристики. Тем не менее что-то грозное и тревожное звучало во многих его высказываниях.

Например, в таком:

«Я читал кое-какие политические сочинения и знаю, что не следует вмешиваться в дела чужих государств. Но есть Змей, разверзший пасть, чтобы поглотить христианство, и с Божией помощью он будет попран и убит!»

Под «Змеем» подразумевалась Османская империя, и у венецианцев было предчувствие, что появление в Черногории этого человека повлечет за собой какие-то перемены, исход которых никто не брался предсказать.

Так оно, в общем-то, и случилось.

2

Первый, кому Степан открылся или намеками дал понять, кто он такой, был его хозяин Вук Маркович. Однажды они вместе присутствовали на свадьбе кого-то

из соседей. Когда за столом Степан налил себе стакан вина, Вук Маркович тут же встал с лавки и почтительно снял шапку. Поскольку такие знаки уважения у сербов и черногорцев оказываются только самым знатным особам, гости его не поняли и стали смеяться над ним.

«Если ты так почитаешь своего работника, почему не оденешь его получше?» — спросил кто-то.

Другой добавил: «Почему не даешь ему оружия? Если у тебя нет для него сабли, пусть хоть палкой опояшется!»

Но постепенно имя Степана сделалось популярно среди черногорцев, которых подкупали его смелость, твердость, рассудительность и какая-то властная надменность, сквозившая во всем облике странного работника. Одновременно стал распространяться пока еще осторожный слух о том, что он — не кто иной, как русский император Петр III, вовсе не умерший, а инкогнито пришедший на Черную Гору и поселившийся здесь, в нахии Негуши. У Степана появились первые горячие приверженцы. Некие Янович и Меркович, бывавшие в Санкт-Петербурге и будто бы видевшие там Петра III, уверяли всех, что Степан необыкновенно на него похож. Наконец, в Маинах, в православном монастыре, отыскался портрет покойного императора. Теперь всякий мог убедиться в их сходстве.

Естественно, монастырь в Маинах посетили и венецианцы, один из которых сообщал в секретном донесении проведитору: «Я внимательно рассмотрел лицо человека, называющего себя Степаном Малым, сравнивая его с портретом русского императора Петра III, и нашел их очень схожими. Лицо продолговатое, маленький рот, толстый немецкий подбородок, блестящие глаза под изогнутыми дугой черными бровями. На левой щеке два рубца, как на портрете. На лице заметны следы перенесенных бедствий...»

Возможно, они действительно были похожи, хотя нельзя исключить, что вовремя найденный портрет был перед этим списан с самого Степана. Но еще вероятнее, что обаяние его личности и сотворенной им легенды заставляли видеть его таким, каким он хотел выглядеть. Едва ли все те, кто свидетельствовал в его пользу, были заурядными обманщиками, делавшими это из корыстных соображений. Недаром уважаемый всеми черногорец

Марко Танович публично поклялся своей жизнью и имуществом и целовал крест на том, что Степан Малый — тот самый Петр III, которого он собственными глазами видел в Петербурге и даже лобызал ему руку. Кстати, позже, когда Степан стал господарем, он назначил этого Тановича своим «канцлером», хотя тот был неграмотен.

Степан уже выступал на сходках, вмешивался в родовые распри. К его голосу прислушивались, к нему обращались в тех случаях, когда требовалось рассудить спорящих. Он начал убеждать черногорцев оставить обычай кровной мести, истреблявшей целые роды, и помнить, что взаимные раздоры ослабляют их силы, необходимые для борьбы за свободу.

Убедившись, что авторитет завоеван, осенью 1767 года он выпустил первую прокламацию. В ней, в частности, говорилось:

«Когда настанет время и созреют плоды, народ найдет в них неисчерпаемые сокровища — рубины, смарагды (изумруды), сапфиры, алмазы, золото и серебро, и каждый, кто уверует в нас, будет иметь все, что пожелает. Мир и благоденствие тем, кто покорится нам. Горе неверующим и непокорным. Они погибнут от нашего меча и будут брошены в море, которое ждет нашего голоса, чтобы восстать и поглотить всех живущих...»

Все это было, как всегда, иносказательно, допускало различные толкования, однако черногорцы были убеждены, что именно таким грозным и малопонятным языком должен говорить помазанник Божий.

На собравшейся вскоре скупшине¹ Степан был избран председателем и сумел добиться, чтобы все черногорские общины согласились заключить мир и забыть старые разногласия. Тогда же впервые раздался общий клич: «Да здравствует царь Петр!»

С этого времени Степан быстро и уверенно двинулся к вершинам власти. Правда, его противником оставался престарелый архиепископ Савва, человек недалекий и корыстолюбивый, подкупленный венецианцами, боявшийся и их, и турок, и австрийцев. По сути дела, он был единственным законным правителем Черногории,

¹ Скупщина — собрание представителей общин у черногорцев и сербов.

но Степан и его подчинил своей воле. Он потребовал от него выслать из страны всех священников и монахов, известных распутным образом жизни, и, когда владыка отказался, разбил его так, что старик в страхе пал на колени и попытался даже поцеловать Степану руку. Тот, впрочем, этого не допустил.

Отныне у черногорцев, местных сербов и православных албанцев не осталось уже никаких сомнений в его царском происхождении. Ему присылали в дар оружие, коней, деньги, съестные припасы. У дверей его кельи в Маинском монастыре, который он сделал своей резиденцией, стояла стража. Где бы он ни появлялся, перед ним шли его приверженцы с криками: «Добра вера! Добра блага!» Встревоженные венецианцы предписали ему покинуть Маины, но он был уже настолько уверен в своих силах, что не подчинился.

В середине октября 1767 года — в крупнейшем поселении страны — Цетинье собралась необычно представительная скупщина: прибыло свыше 7 тысяч делегатов от всех свободных нахий Черногории, а также от тех черногорских общин, которые находились на подвластной венецианцам территории. Степан, однако, не появился и лишь прислал своего бывшего хозяина Вука Марковича, ставшего теперь его личным секретарем. Под громкие возгласы одобрения Маркович зачитал указ Степана о том, что все, уличенные в продолжении братоубийственной вражды, будут изгнаны из Черногории. Вечером того же дня огромная толпа прибывших на скупщину делегатов явилась в Маины. Степан вышел навстречу с пикой в руке, окруженный телохранителями, и сказал: «Призываю на вас благословение Бога, владыки неба и земли! Да дарует он вам силу и храбрость против врагов ваших! Да будут остры ваши сабли и крепки ваши мышцы!» В ответ раздались приветственные клики и ружейная пальба. Затем тысячеголосый хор запел старинную сербскую песню: «Пой, брат! Бог нам в помощь! Да здравствует наш царь!»

Спустя две недели Степан получил официальную грамоту, составленную от имени всего черногорского народа: она гласила, что черногорцы признают его русским императором Петром III и своим господарем.

Получив эту грамоту, он потребовал у Саввы письмо

своего «деда», Петра I, и золотые медали с его изображением, которые полвека назад были присланы из России в качестве наград черногорским предводителям за помощь в войне с турками. Прислано было 160 таких медалей, осталось 20. Степан раздал их старейшинам нахий и своим сторонникам. Из недостающих 140 медалей часть была роздана еще в 1715 году, но другая часть пропала неизвестно куда, и Савве пришлось из собственных средств уплатить штраф за недостачу. Степан взыскал с него 300 цехинов, пошедших на вооружение для будущей армии.

3

Эти события встревожили Стамбул, но еще больше — Венецию. Заволновались жившие на подвластных ей территориях черногорцы и православные албанцы. Тем более что своей резиденцией Степан избрал расположенный в ее владениях Маинский монастырь. Генеральный проведитор Далмации доносил: «Хотя он открыто и не называет себя царем, но прибегает к таинственным выражениям и символическим знакам, возбуждающим воображение толпы. Он распускает слухи о своей переписке с Петербургом, а также с русскими послами в Вене и в Константинополе. Владыка черногорский своими посещениями и подарками ежедневно укрепляет простой народ в заблуждении относительно личности этого человека».

Теперь уже венецианские шпионы не описывали внешность самозванца, не пересказывали его загадочных речей. Их донесения становились все более тревожными. Высказывались опасения, что в ближайшее время черногорский «господарь» сумеет собрать под своим знаменем значительные военные силы, передавались его угрозы в адрес Венеции и обещания освободить из-под ее власти всех православных. Поступали также известия о том, что турки собираются использовать сложившуюся ситуацию, чтобы направить черногорцев против Республики Святого Марка.

Почти сразу после признания Степана «господарем» к нему в Майны прибыл полковник венецианской службы Стефанович, далматинец по происхождению. Между ними состоялся следующий разговор:

Стефанович. Господин Степан, вы взволновали здешний народ и даже православных подданных Турции, уверяя, будто вы — русский царь Петр III.

Степан. Я никогда не говорил ничего подобного. Я всего лишь Степан Малый, малейший из всех. Но Господь из малых творит великих, а из великих — малых.

Стефанович. Такого рода речи возбуждают народное воображение, которое рисует вас царем-избавителем.

Степан. Прошло уже семь лет с тех пор, как Господь заповедал мне идти в мир и возвестить монархам заповеди Его, чтобы все христианские монархи соединились против врагов креста Христова.

Стефанович. Так может говорить лишь человек с расстроенным рассудком! И внимать ему может лишь невежественная чернь!

Степан. Я следую внушению свыше и готов претерпеть любую казнь и любые муки. Через меня действует Бог, я — слепое орудие Его воли.

Напрасно Стефанович пытался убедить его, что Петр III был низложен из-за намерения развестись с императрицей Екатериной, жениться на лютеранке и ввести лютеранство в России. Ничего этого Степан слушать не желал и заявил, что следующему венецианскому послу, который явится к нему с требованием покинуть Майны, он прикажет снести голову.

Визит Стефановича и выслушанные им угрозы были последней каплей, переполнившей чашу терпения «яснейшей синьории». Решено было прибегнуть к испытанному приему венецианской дипломатии. Генеральный проведитор Далмации получил секретное распоряжение «разыскать лицо, наиболее способное, ловкое и верное, хотя бы и преследуемое законом» — то есть уголовного преступника, которому следует обещать прощение всех прежних преступлений и награду в 200 цехинов «за прекращение жизни неизвестного человека, виновника происшедших в Черногории волнений, могущих причинить еще большие беспокойства и насилия».

К этому секретному распоряжению венецианского сената прилагалось пять «предметов», каждый из которых сопровождался краткой инструкцией.

Пузырек, № 1: «Четвертая его часть действует в несколько дней».

Склянка, № 2: «Соль для всякого кушанья в количестве, достаточном для вкуса».

Склянка, № 3: «Корица для употребления там, где это уместно. Действует медленно».

Сверток, № 4: «Шоколад. Четвертая его часть, положенная в чашку настоящего шоколада, действует в течение нескольких дней».

Пузырек, № 5: «Сорок капель, смешанных с вином, производят свое действие».

Однако убийство черногорского господаря было предприятием рискованным, проведитору долго не удавалось найти «способное лицо», готовое за 200 цехинов пустить в дело содержимое всех этих пузырьков и склянок. В конце концов, может быть, такой повар и нашелся бы, поскольку венецианский сенат несколько раз увеличивал награду, но затея с отравлением не увенчалась успехом. Застрелить Степана или заколоть кинжалом было еще сложнее. Догадываясь, что к нему непременно попытаются подослать наемных убийц из Стамбула или из Венеции, он стал осторожен, никуда не выходил без стражи. Его покои в Маинском монастыре тщательно охранялись днем и ночью, и проникнуть туда, и тем более получить доступ на кухню, где приготавливались еда и питье для господаря, постороннему человеку было практически невозможно. Отважиться на его убийство мог только заведомый самоубийца или фанатичный противник Степана, действующий не ради денег, а по идейным соображениям. Но таких противников у него не было, прочих же он мог не опасаться. Черногорцы берегли своего господаря, которого они любили и в которого верили.

4

Очевидно, Степан понимал, что главная угроза если не его жизни, то его власти и судьбе задуманного его дела исходит не из Венеции, даже не из Стамбула, а, как это ни странно, из Петербурга. Он не мог не предвидеть, что появление в Черногории ожившего Петра III вызовет недовольство его царственной вдовы, императрицы Екатерины II.

. Действительно, еще раньше, чем русский консул в

Стамбуле сообщил о черногорском самозванце, сведения о нем дошли в Петербург из иностранных газет. Поначалу Екатерина почему-то подозревала, что это итальянец Вандини, который после ряда мошеннических проделок при ее дворе бежал в венецианские владения на Балканах. Во всяком случае, она была сильно раздражена и в то же время сознавала, что действовать нужно деликатно. Самозванец был ей совершенно не нужен, но черногорцы — очень даже нужны как возможные союзники в начавшейся войне с Турцией. Поэтому русский посол в Вене, князь Голицын, получил предписание командировать кого-нибудь в Черногорию. Предполагалось арестовать самозванца на месте, а уж потом зачитать перед народом указ императрицы, призывающий отречься от обманщика во имя сохранения добрых отношений с Россией.

Эта решительная акция была задумана неплохо, но исполнена хуже некуда. Получив указ Екатерины II, Голицын остановил свой выбор на советнике посольства Юрии Мерке. Однако его миссию не сумели сохранить в секрете. Много было разговоров, обо всем узнал французский посол в Вене, от него — венецианский, а Республика Святого Марка вовсе не хотела усиления русского влияния на границах своих владений. Когда корабль, на борту которого находился Мерк, прибыл в порт Котор, венецианцы даже не позволили российскому уполномоченному сойти на берег. Черногорскую делегацию, как он о том просил, к нему тоже не допустили. Мерк был вынужден уехать ни с чем, увозя с собой указ Екатерины II и не повидав ни одного черногорца.

Гораздо более эффективным оказалось письмо, которое русский консул в Стамбуле прислал архиепископу Савве: в письме содержалось официальное уведомление о том, что Петр III, император всероссийский, преставился 6 июля 1762 года и со всеми подобающими почестями был погребен в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Далее следовало предостережение, что если владыко не вразумит «заблудший народ» и почитание самозванца будет продолжаться, то черногорские монастыри навсегда лишатся царской милости. Это было существенно: пожертвования из России составляли значительную долю бюджета православной церкви в Черногории. Савва испугался и начал действовать. Он показал полученное

письмо старейшинам нахий, затем сам направил Степану четыре письма на четырех языках — русском, французском, итальянском и греческом. Савва утверждал, что эти языки обязательно должен знать русский царь, и если Степан их не знает, значит, он не царь, а самозванец.

Однако Степан, упреждая нежелательный для него оборот событий, ловко нанес ответный удар. Он объявил, что письмо русского консула — подложное, что Савва дали его венецианцы, подкупив предателя за 5 тысяч цехинов, и авансом выдали ему награду за голову господаря. «Пусть же, — объявил Степан, — эти деньги достанутся не изменнику, а тем, кто его покарат!»

Корыстолюбие и лживость владыки были всем известны. Возмущенная «предательством» и вдохновленная призывом Степана толпа ворвалась в резиденцию владыки. В его сокровищнице нашли колоссальную сумму — 32 тысячи золотых цехинов. Часть ее досталась тем, кто «покарал изменника», другая была конфискована. Самого Савву посадили в келью под арест, новым архиепископом стал его племянник Арсений, приверженец Степана.

Примерно в это же время в Черногорию прибыл патриарх Берчич из Сербии, известный враг турок, несколько лет проведенный в стамбульской тюрьме. Он привез в дар Степану прекрасного коня. Всю ночь они беседовали с глазу на глаз, а к утру Берчич был вполне убежден (или счел нужным делать вид, что убежден) в царском происхождении своего собеседника. Он разослал по всем окрестным епархиям грамоту, призывая духовных особ и мирян чтить Степана как царя Петра III, который, умерев для родной страны, живет теперь для православных сербов и черногорцев. Не случайно, писал Берчич, он взял себе имя Степан, что по-гречески означает «венценосец», и прозвание Малый, что показывает его стремление добровольно умалить себя, как подобает истинно христианскому государю.

Имя Берчича пользовалось всеобщим уважением, и его поддержка пришлась очень кстати: колеблющиеся перестали сомневаться, сторонники Степана обрели еще большую уверенность. Сам он по-прежнему не называл себя Петром III открыто, но не упускал случая продемонстрировать с ним тождество. В день святых Петра и Павла, 29 июня 1768 года, он пышно отпраздновал тезо-

именитство русского императора, а на следующий день — тезоименитство наследника престола, Павла Петровича (будущего Павла I). Когда на службе в церкви поминали цесаревича, Степан, как бы страдая от разлуки с сыном, утирал платком слезы. На присутствующих это произвело громадное впечатление, многие плакали.

При этом Степан вел себя как настоящий правитель, мудрый и дальновидный. Труднее всего ему было примирить враждующие общины. Эти ослаблявшие воинственных черногорцев междоусобные распри поддерживались Венецией, но Степан и здесь добился успеха, наложив на непокорных крупные штрафы. Деньги пошли на подготовку армии. Закупали порох и олово для пуль, запасали провиант. Степан призвал всех быть наготове и по первому зову являться с оружием в Маины. На подступах к горным проходам рыли траншеи, возводили укрепления: Степан применял свои знания в фортификации, добытые во время скитаний по балканским владениям турок и австрийцев. В Венецию поступали донесения о том, что его армия превосходно вооружена и занимает неприступные позиции, поэтому нечего и думать о наступлении. Венецианские крепости вблизи Черногории были приведены в боевую готовность. Но в Стамбуле тревожились несравненно больше.

За десять лет до появления Степана, в 1756 году, черногорцы наголову разбили высланную против них восьмидесятитысячную армию султана. Почти половина ее осталась на полях сражений, сам великий визирь был ранен в бою и едва спасся от плена. Тем не менее и после этой победы черногорцы формально оставались подданными султана и должны были платить ему дань, которую, впрочем, не платили. До поры до времени в Стамбуле закрывали на это глаза, требуя лишь соблюдения внешних признаков покорности, но с появлением Степана, который с точки зрения султана был правителем абсолютно незаконным, ситуация резко изменилась. Турки решили воспользоваться поводом, чтобы взять реванш и окончательно подчинить себе страну. В Стамбуле начали деятельно готовиться к войне.

Тем временем войско Степана увеличилось и к лету 1768 года достигло 10 тысяч человек. Кроме черногорцев, к нему чуть ли не ежедневно приходили боснийские

сербы, греки, православные албанцы. Степан обратился за помощью и к тем черногорцам, кто уехал на заработки в Стамбул, в другие турецкие и венецианские города. Они откликнулись на его призыв и спешно возвращались на родину, чтобы защищать ее с оружием в руках.

На Черногорию надвигалась военная гроза.

5

Турки начали стягивать войска в Боснию и Албанию. Их общая численность быстро достигла 100 тысяч человек, разделенных на две армии. Главнокомандующим был назначен румелийский беглебей Мехмед-паша. Предполагалось вначале предъявить черногорцам требования о выдаче Степана и патриарха Берчича, а также о выплате «харача» (дани) за семь лет. Однако ясно было, что эти требования выполнены не будут. В таком случае Мехмед-паша согласно полученному приказу должен был опустошить страну, сжечь села, вырезать всех мужчин старше семи лет, а детей и женщин угнать в плен. Обе армии должны были с двух сторон двинуться на Черногорию и соединиться после первой же победы. С Венецией провели предварительные переговоры, получив от нее согласие сохранять благожелательный к туркам нейтралитет.

Приготовления велись и Степаном. Закупалось оружие, срочно укреплялись горные проходы со стороны Никшича, откуда следовало ждать нападения турок. Удалось перехватить письмо Мехмед-паши к одному из его помощников, из которого стал ясен план задуманной военной кампании. Черногорцы были полны энтузиазма, распространялся слух о грандиозной войне, которую якобы затевают все христианские монархи под предводительством русского императора (то есть самого Степана), чтобы навсегда покончить с Османской империей. Теперь вспомнили старинные пророчества о гибели полумесяца от русского царя. Весьма кстати появился и какой-то настоящий русский по имени Яков. Похоже, что это был беглый солдат, но он выдавал себя за генерала, присланного из Петербурга в помощь императору Петру III. Ему верили и охотно подчинялись.

Под Спужем турки уже напали на отряд черногорцев,

пролилась первая кровь. Степан перебрался из Маин в более безопасное горное село Мирец и призвал к оружию все свободные черногорские нахии. По его подсчетам, страна могла выставить около 30 тысяч бойцов, но на деле собралось много меньше.

После того как предъявленные Мехмед-пашой требования о выдаче Степана и выплате «харача» были, разумеется, отвергнуты, в первых числах сентября 1768 года одна из двух турецких армий, подошедшая со стороны Боснии, начала бомбардировать черногорские траншеи под Острогом, неподалеку от Никшича. Эти траншеи прикрывали узкий горный проход, мешавший соединению обеих армий Мехмед-паши — боснийской и той, что наступала из Албании.

После артиллерийского обстрела на приступ двинулась турецкая пехота, но вынуждена была отступить. Черногорцы метко поражали врага из своих длинных ружей, сами оставаясь в укрытиях. Воодушевленные успехом, они вышли из траншей, из каменных завалов и, преследуя бегущих турок, спустились в долину. Это была роковая неосторожность. Прежде чем победители успели осознать свою ошибку, они были с нескольких сторон атакованы турецкой кавалерией, которая на открытом пространстве могла развернуться и сделала это быстро и умело.

Исход битвы был печален. Часть черногорских отрядов была истреблена, остальные в беспорядке бежали, но при переправе через реку множество бойцов Степана попало в плен. Сам он чудом не угодил в руки турок и с несколькими сотнями человек заперся в хорошо укрепленном Введенском монастыре, располагавшемся на двух горных террасах. Подтянув пушки, турки осаждали его два дня, на третий день штурмом взяли нижнюю террасу, сожгли находившиеся там постройки и готовились штурмовать верхнюю часть монастыря, куда отошли уцелевшие защитники, но наутро турецкий начальник неожиданно снял осаду. Ночью ему стало известно, что Степан потайной тропой бежал в горы.

Мехмед-паша торжествовал, в Стамбул были отправлены два захваченных на поле боя знамени, двадцать пять отрубленных голов, мешки с отрезанными у пленных ушами и носами. Все эти устрашающие трофеи выставили для всеобщего обозрения на одной из площадей

столицы Османской Порты. Гонцы, доставившие султану весть о победе, получили по нескольку кошельков золота. Однако позднейшие, более подробные и точные донесения выглядели далеко не столь оптимистично, как первые победные раеляции. Как выяснилось, турки понесли ощутимые потери, самозванец ускользнул, и в итоге Мехмед-паша был даже наказан за нерасторопность.

Но это случилось потом, а пока что обе турецкие армии соединились и двинулись вперед, методично сжигая селения, уничтожая виноградники и посевы. Разорялись монастыри и церкви, в Турцию отсылались тысячи пленных мальчиков и девушек, тысячи голов убитых мужчин. Подобного ужаса Черногория не знала более полувека, со времен нашествия Нуман-паши.

Несмотря на поражение, черногорские отряды продолжали сопротивляться, заняв горные проходы и преграждая завоевателям дорогу в глубь страны. От окончательного разгрома черногорцев спасла счастливая случайность или, по мнению сторонников Степана, вмешательство благосклонных к нему небес. Последнее надо понимать в буквальном смысле.

Чтобы прорваться сквозь горы к Цетинье и полностью овладеть страной, туркам нужна была поддержка пушек, но у них иссякли артиллерийские припасы. Наконец два обоза со всем необходимым двинулись на помощь армии Мехмед-паши: один шел из Стамбула, другой — из Боснии. Первый по пути перехватили черногорцы, а со вторым действительно произошло нечто из ряда вон выходящее: в дороге началась гроза, молния ударила в подводу, везшую бочки с порохом, и в результате взорвался весь обоз. Страшным взрывом уничтожило почти все пушечные заряды и порох, а то немногое, что уцелело, было вымочено проливным дождем.

После этой фантастической катастрофы турки лишились преимущества в артиллерии, Мехмед-паша начал постепенно отводить войска, которые требовались для начавшейся войны с Россией. Теперь, продемонстрировав могущество Блистательной Порты, султан Мустафа III решил добиться покорности черногорцев другим способом: он обещал им полное прощение, если они признают над собой покровительство Турции и выдадут самозванца.

Первая неудача возбудила недоверие к Степану; его положение сильно пошатнулось, когда выяснилось, что обещанный им крестовый поход христианских государей не состоялся и ни австрийская, ни русская армия не спешат на помощь маленькой Черногории, истекающей кровью в неравной борьбе с турецким гигантом. Стали раздаваться голоса о невозможности дальнейшего сопротивления, о необходимости покориться туркам и даже о выдаче им Степана. Между тем никто не знал, где он находится. Одни говорили, что бежал, другие — что убит и его лошадь, подарок патриарха Берчича, отправлена к Мехмед-паше в качестве почетного трофея. Но он был жив и скрывался в горах, временно предпочитая не вмешиваться в ход событий.

6

Летом 1769 года в Средиземном море появилась русская эскадра под командованием Алексея Орлова, в скором будущем — графа Орлова-Чесменского, победителя турок в знаменитом морском сражении при Чесме. Эскадра бросила якорь в Ливорно, а спустя несколько недель поздно вечером кто-то постучал в дом черногорского крестьянина Радована, расположенный на краю селения в той части страны, которая находилась под властью Венеции.

«Уж не разбойники ли?» — испугался хозяин.

«Нет, отец, разбойники не просятся, а ломаются, — ответил его старший сын. — Поглядим, что за гости».

Он открыл дверь, вошли двое. Это был князь Долгоруков, направленный к черногорцам с призывом продолжить совместную с Россией войну против турок, и его офицер Княжевич, серб по происхождению. Они тайно прибыли сюда из Италии с двумя десятками солдат, а также с грузом пороха, олова и деньгами для поощрения союзников.

После краткой дискуссии о том, жив ли император Петр III, хозяин и гость остались каждый при своем мнении, но Радован согласился горными тропами провести прибывших в Черногорию. Вскоре весть о приезде важного уполномоченного из России облетела всю стра-

ну. В Цетинье собралась скупщина, делегаты обещали Долгорукову вновь вооружиться против общего врага.

Казалось, обещания Степана теперь начали сбываться, и он торжественно въехал в Цетинье с вооруженным конвоем своих приверженцев. Увидев его, черногорцы вспомнили прежнее к нему расположение, опять раздался старый клич: «Благо нам! Вот наш господарь!»

В этой ситуации Долгоруков действовал решительно. В мгновение ока русские солдаты окружили самозванца, отняли у него саблю, затем на глазах потрясенной толпы увели его и посадили под арест. Все прошло на удивление гладко. Черногорцы растерялись, за Степана никто не вступился.

Закованный в цепи, он сидел в келье, в верхнем этаже одного из монастырских зданий. В нижнем этаже того же здания жил Долгоруков, и Степан говорил: «Видите, князь признает меня выше себя! Не то он сам поселился бы наверху, а меня запер внизу!»

Когда Долгоруков спросил его, как он посмел называться именем покойного императора, Степан ответил, что никогда не называл себя Петром III, так его называли другие, а он им не препятствовал, потому что иначе не мог бы объединить черногорцев и поднять их против турок. О себе, как всегда, он сообщил только то, что он — Степан Малый, «малейший в мире».

И вот тут-то произошло самое неожиданное.

После нескольких разговоров с самозванцем Долгоруков проникся к нему искренней симпатией и понял, что в интересах России не свергать, а всемерно поддержать этого человека. Вскоре Степана освободили. Он присягнул на верность Екатерине II, получил военные припасы, несколько сотен цехинов и во главе почетного эскорта проводил Долгорукова до корабля. На прощание они расцеловались, князь призвал черногорцев во всем повиноваться своему господарю. Подняли паруса, корабль вышел в море. Долгоруков спешил. Он знал, что русская эскадра уже покинула Ливорно, а турки назначили награду за его голову.

Но черногорская летопись содержит иную версию этих же событий. В ней рассказывается, что, когда на скупщине в Цетинье русский посол зачитал грамоту о смерти Петра III, никто ему не поверил, он ушел ни с

чем и еле добрался до Ливорно на рыбацьем судне. Во время этого плавания Долгоруков и его спутники жестоко страдали от жажды и голода, потому что второпях не успели запастись ни водой, ни провизией.

7

Степан продолжал властно и умело управлять страной. Он отразил нападение венецианских войск на черногорские села и монастыри, но в отношениях с турками проявлял теперь несравненно большую дипломатичность и даже вступил в переписку с заклятым врагом Мехмед-пашой. Он готовился к новой войне, однако не начинал военных действий, более того — удерживал своих рвущихся в бой подданных, уговаривая их не рисковать до прибытия русского флота и армии, для которой уже начали строить обширные казармы в Цермнице. Казармы, впрочем, негодились, да и русская эскадра так и не появилась вблизи Черной Горы.

Теперь Степан занялся и вполне мирными делами. Он провел перепись населения, строил дороги, учредил первый в истории страны регулярный суд, состоявший из двенадцати старейшин, половина которых постоянно находилась в его резиденции, а другая половина разъезжала по нахиям и проводила судебные заседания на местах. Часто суд вершил сам Степан, причем отличался справедливостью и доходящей до деспотизма суровостью. Однажды, например, ему доложили, что в Цермницкой нахии совершено братоубийство и убийца укрылся в церкви, у алтаря, где, согласно древним черногорским обычаям, всякий преступник неприкосновенен. Степан прекрасно знал обычай, тем не менее он распорядился схватить «нового Каина» и повесить его перед воротами родного дома. Воров он приказывал бить палками по пяткам, подвешивать за руки и за ноги, и никто не находил это наказание несправедливым или чрезмерно жестоким. Спустя сто лет правнуки его подданных были уверены, что именно Степан полностью искоренил в стране воровство, и с тех пор среди черногорцев невозможно найти вора. Рассказывали, будто на дороге между Котором и Цетинье он в разных местах раскладывал десять золотых цехинов,

а где-то между ними оставлял еще и богато отделанный серебром пистолет, но никто из проходивших и проезжавших по этой оживленной дороге не смел коснуться ни монет, ни пистолета: в течение нескольких месяцев они лежали там, где их положил Степан.

Он мог бы совершить еще многое, если бы трагическая случайность не вмешалась в его планы.

В горах пробивали дорогу, и Степан, проявив не то удалство, не то неосторожность, не отошел на безопасное расстояние от заложенной под скалу мины. Он едва не истек кровью, пока его на руках несли в ближайший монастырь. Врач насчитал на его теле шестьдесят две раны. Кроме того, взрывом он был контужен так сильно, что временно потерял память. Хуже всего было то, что ему выжгло глаза. Память вернулась, раны зажили, но он уже навсегда остался слепым.

Теперь он больше не выходил из монастыря, однако и незрячий продолжал управлять страной из своей кельи, по-прежнему пользуясь полным доверием черногорцев. Сменивший Савву новый владыка, Арсений, стал его преданным другом и помощником.

Но султан Мустафа III не верил, что Степан оставил свои планы борьбы с Османской империей и мечты о создании великого славянского государства на Балканах. К тому же турок не устраивали его чересчур близкие отношения с Россией, которая в любой момент могла опереться на этого человека. Голова черногорского господаря была оценена, вскоре нашлось и «способное лицо», готовое сделать то, что так и не удалось венецианцам. Этим «лицом» был морейский грек Станко Класомунья, замечательный певец, находившийся тогда в турецком плену. Наградой ему должна была стать свобода и пятнадцать кошельков золота.

Класомунья понимал, что убить Степана и самому остаться в живых можно лишь при условии, если господарь будет безоглядно ему доверять. Поэтому план убийства был продуман досконально, а его исполнение отложилось чуть ли не на год.

С несколькими спутниками Класомунья пришел в Цермницу и заявил, что все они бежали из турецкого плена (так, вероятно, и было, но турки сознательно закрыли глаза на их побег, чтобы убийца имел не только вы-

годную для него легенду, но и свидетелей, могущих подтвердить ее достоверность). Беглецов приняли, обещав не выдавать туркам. В Цермнице они много рассказывали о своих приключениях, наконец сам Степан пожелал говорить с ними. На этой встрече Класомунья пленил господаря тем, что искусно играл на лире и чудесным голосом пел греческие народные романсы. Его товарищей отправили дальше в горы, а Класомунья остался при Степане. Тот привязался к нему, часто и подолгу слушая его игру и пение. Грек исполнял при нем обязанности слуги и, казалось, питал самую нежную любовь к слепому господарю, приютившему его после побега из турецкой неволи.

Почти год он изучал привычки Степана, распорядок жизни в монастыре, где находилась его резиденция, завязывал дружбу с монахами, другими слугами и телохранителями господаря. Он знал всех, и все знали его, никому в голову не приходило подозревать в нем подосланного турками наемного убийцу.

Наконец Класомунья решил, что пора действовать, и ждал лишь удобного момента. Все рассчитав, он счел за лучшее для себя убить Степана не ночью, а прямо среди бела дня, и подходящий случай вскоре представился.

Однажды утром владыка Арсений уехал по делам в Цетинье, монахи были на работах, в монастыре оставалось только несколько стариков. Стража, правда, стояла на обычном месте у дверей дома, но никто из часовых, разумеется, не предполагал, что угроза жизни господаря может исходить от кого-то из тех, кто пребывает в его покоях. Обстановка была самая безмятежная — полуденный зной, тишина, безлюдье. В монастыре и вокруг него царило полнейшее спокойствие.

Все утро Класомунья находился при Степане, усердно угощал его вином, пел, а когда тот уснул под пение и звуки лиры, отрубил спящему голову. Затем он запер дверь, кликнул одного из стражников, сказав, что господарь уснул и велел никому себя не тревожить, а сам не спеша покинул монастырь, не вызвав ничьих подозрений.

Лишь к вечеру стража и вернувшиеся с работ монахи встревожились, что Степан спит что-то слишком уж долго. Взломали дверь и увидели обезглавленное тело.

Класомунья между тем бежал. За ним отрядили погоню, но схватить не сумели, он пробрался в турецкий

Скадр, где получил обещанные пятнадцать кошельков с золотом. Сверх того тамошний паша на радостях подарил ему еще и украшенный серебром панцирь ценой в восемнадцать цехинов.

Степана Малого, «малейшего из всех», похоронили в Берченском монастыре, под церковью святого Николая. В памяти черногорцев он остался как великий государь, мудрый и справедливый. Позднее имя его обросло легендами: рассказывали, что он был могущественный чародей, творил чудеса, ездил на коне по морю, вызывал молнии с небес, и когда турки пошли на него войной, он устрасил их своими чародействами, и они бежали, не в силах противостоять его волшебным чарам.

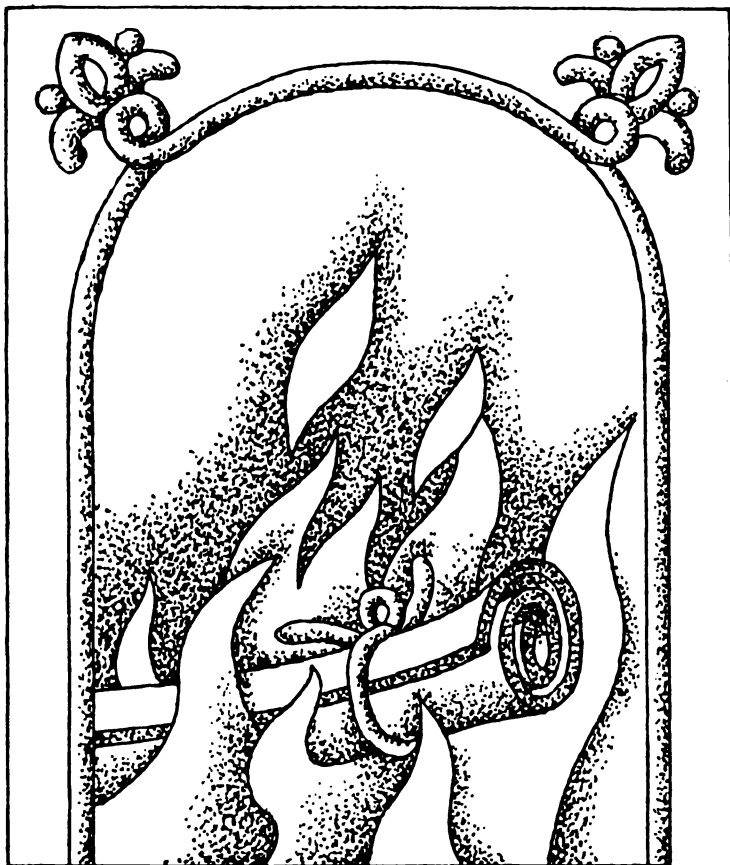
Он говорил о себе:

«Я — пахарь, пашущий землю, пашу и буду пахать ее, пока не принесет она желанные плоды. Хочу или уметь, или закончить мой труд...»

Его труд не был закончен, но многие черногорцы отказывались верить, что Степан умер, так и не сумев объединить христианских монархов для борьбы с Османской империей и не основав на Балканах великой славянской державы. Его «канцлер», неграмотный Марко Танович, долго еще ходил по черногорским нахиям, уверяя, что враги господаря распустили ложный слух о его смерти, что он вовсе не убит, а уехал в Россию, где снаряжает огромный флот, который затмит славу Чесмы; что он скоро вернется с войском, пойдет на Стамбул, возродит оскверненную турками Святую Софию и восстановит Сербское государство в тех пределах, в каких оно существовало при Стефане Душане¹.

Будто бы, как рассказывали, Танович добирался до Петербурга, виделся там с графом Орловым-Чесменским и клялся ему, что господарь Степан жив. Орлов дал старику денег, тот ушел обратно в Черногорию и продолжал свои странствия. Но проходили годы, Степан не возвращался, никто уже не верил полубезумным речам и пророчествам бывшего «канцлера».

¹ Стефан Душан (ок. 1308—1355) — король Сербии с 1331 года, царь сербо-греческого царства с 1345 года; при нем Сербия достигла наибольшего могущества.



ПЕРСИДСКАЯ НЕВЕСТА,
ОНА ЖЕ «ВНУЧКА» ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В 1864 году на ежегодной выставке Академии художеств в Санкт-Петербурге настоящий фурор произвела картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». На ней изображена красивая молодая женщина в роскошном, но уже ветхом платье из атласа и бархата: она стоит, прижавшись к стене, на покрытой овчинным одеялом убогой тюремной койке, с ужасом глядя на потоки воды, хлещущей сквозь оконную решетку, на крыс, которые плывут через полузатопленную камеру и забираются на кровать, чтобы найти мимолетное спасение рядом с несчастной арестанткой, сознающей свою скорую и неизбежную гибель. У зрителя не возникает ни малейшего сомнения в том, что развязка близка, что загадочная претендентка на русский престол обречена в этом каменном мешке.

Собиравшиеся перед картиной толпы восхищенных посетителей живо обсуждали не только мастерство художника, сумевшего передать смертельное отчаяние своей героини, но и сам исторический сюжет, вдохновивший его на создание этого полотна. Интерес публики подстегивался тем обстоятельством, что история жизни и смерти так называемой княжны Таракановой, дочери императрицы Елизаветы Петровны от брака с ее фаворитом Алексеем Григорьевичем Разумовским, в течение почти ста лет оставалась тайной за семью печатями. Екатерина II, а за ней и ее наследники наложили вето на любые публикации, касающиеся этой шекотли-

вой темы. Вплоть до смерти Николая I в 1855 году тема считалась запретной, научные изыскания не поощрялись, архивные документы были закрыты для исследователей и для любопытствующих, и, хотя слухов, разумеется, ходило множество, всей правды не знал никто, в том числе и сам Флавицкий.

Его картина была удостоена академической медали, спустя четыре года ее отправили на всемирную выставку в Париже, дабы она там представляла русское искусство, и этот очевидный успех еще более утвердил легенду о том, будто дочь Елизаветы Петровны, заточенная Екатериной II в Петропавловскую крепость, погибла во время наводнения 1777 года в своей камере, откуда ее то ли забыли, то ли просто не захотели вывести.

На самом деле Флавицкий ошибся дважды.

Во-первых, подлинная княжна Тараканова никогда не сидела в Петропавловской крепости.

Во-вторых, таинственная самозванка, называвшая себя этим именем и действительно заточенная в Алексеевском равелине, умерла от чахотки года за два до знаменитого наводнения 1777 года.

1

В 1762 году, после низложения, а затем и убийства Петра III приняв титул императрицы всероссийской, но понимая, что ее права на престол достаточно шатки, Екатерина II решила обезопасить себя от соперничества со стороны других возможных престолонаследников. В числе прочих несомненную угрозу для нее представляли дети от тайного брака Елизаветы Петровны с графом Алексеем Разумовским (дочь Петра Великого была возведена на престол при условии пожизненного девичества), но лишь в том случае, если брак был законный, церковный, что может быть подтверждено соответствующими документами. Если таковые имелись, их следовало изъять у Разумовского, который в то время был еще жив, и уничтожить. Но как? Чтобы избежать скандала, был выработан план вполне в духе секретной дипломатии XVIII столетия. Екатерина повелела графу Воронцову написать указ о даровании Разумовскому как

супругу покойной императрицы титула «Его Высочество», показать ему проект указа, но предупредить, что он вступит в силу только после того, как будут предъявлены документы, доказывающие абсолютную законность его брака с Елизаветой Петровной. Последнее было единственной целью этой хитроумной акции, которая, само собой, тем бы и кончилась.

Приехав к Разумовскому, Воронцов застал его сидящим у камина и читающим Священное писание. Хозяин потребовал у гостя проект указа, прочел его, затем, как со слов Воронцова рассказывал впоследствии граф Уваров, «встал тихо со своих кресел, подошел к комоду, где стоял ларец черного дерева, окованный серебром и выложенный перламутром, отыскал в комодке ключ, отпер им ларец и из потайного ящичка вынул бумаги, обернутые в розовый атлас, развернул их, атлас спрятал обратно в ящичек, а бумаги начал читать с благоговейным вниманием. Все это он делал, не прерывая молчания. Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, возвел глаза, орошенные слезами, к образам, перекрестился и, возвратясь с приметным волнением души к камину, у которого оставался граф Воронцов, бросил сверток в огонь...»

Затем Разумовский сказал: «Я не был ничем более, как верным рабом ее величества... Прощайте, ваше сиятельство! Да останется все происшедшее между нами в тайне!»

Возможно, сцена и не была столь чувствительной. «Орошенные слезами» глаза, «приметное волнение души», Библия в руках сидящего у камина старика — все это можно оставить на совести рассказчика. Одно несомненно: угадав желание Екатерины, Разумовский предпочел сжечь имевшиеся у него бумаги, чтобы тем самым продемонстрировать свою лояльность по отношению к новой власти.

Но в любом случае цель была достигнута. Явившись к Екатерине и доложив о происшедшем, Воронцов услышал в ответ: «Мы друг друга понимаем: тайного брака не существовало».

Однако слишком многие современники были уверены в обратном. Хор свидетелей настолько дружен, что едва ли такая всеобщая уверенность покоилась на пус-

том месте (по одним сведениям, Елизавета Петровна и Разумовский венчались в Москве, в церкви Вознесения на Покровке, по другим — в подмосковном селе Перово). Скорее всего, брак существовал, и дети от него существовали тоже. Их было двое: сын и дочь. О первом почти ничего не известно, предание не сохранило даже его имени (по слухам, он окончил свои дни в одном из монастырей Переславля-Залесского), а девочка, родившаяся в 1745 году, получила царственное имя — Августа и совершенно не подходящую к имени фамилию — Тараканова. Эта странная для внучки Петра Великого фамилия была дана ей не то по названию слободы Таракановки, откуда якобы родом был Разумовский (он происходил из простых казаков Черниговской губернии и пленил сердце Елизаветы, будучи певчим придворной капеллы), не то еще по какой-то высочайшей прихоти, смысл которой уже не поддается расшифровке. Где и у кого жила и воспитывалась княжна Тараканова, опять же не известно, но в возрасте сорока лет по именному повелению Екатерины II ее привезли в московский Ивановский монастырь и постригли в монахини. После этого она получила иноческое имя Досифея.

На ее содержание от казны отпускались особые деньги, поэтому Досифея никогда не бывала в общей трапезной, имея собственный, обильный и изысканный стол. Она почти ни с кем не встречалась, даже церковь посещала редко и проходила туда по специально устроенной крытой галерее прямо от дверей своей кельи. Будто бы в это время церковные двери запирались изнутри, дабы никто посторонний случайно не вошел и не увидел бы таинственную монахиню. Кроме нее в церкви оставался только священник, совершавший богослужение. Рассказывали, что Досифея имела свидание с Екатериной II и согласилась удалиться в монастырь, чтобы не стать игрушкой в руках каких-нибудь заговорщиков, задумавших очередной переворот вроде того, что привел на престол и ее мать, и саму Екатерину.

Целые дни Досифея посвящала молитвам, чтению душеспасительных книг и рукоделию, но, несмотря на праведную жизнь, покой так и не снизошел в ее сердце. При каждом стуке в дверь кельи она бледнела и начинала дрожать всем телом. До последних дней несчастную

терзал въевшийся в душу застарелый страх: она боялась, что происхождение станет причиной ее смерти.

Но этого не произошло. Дочь Елизаветы Петровны и внучка великого государя, поднявшего Россию на дыбы, мирно скончалась в 1810 году. На ее необыкновенно пышных для простой монахини похоронах присутствовали московский генерал-губернатор граф Гудович¹, доживавшие свой век в Москве старые екатерининские сенаторы и вельможи в мундирах позапрошлого царствования. Разумеется, нет никаких документов, доказывающих, что Досифей была дочерью Елизаветы Петровны. Но есть косвенное тому подтверждение. Не случайно, видимо, она была похоронена не в родном для нее Ивановском монастыре, а в Ново-Спасском, на родовом кладбище бояр Романовых, где в XVII столетии погребали отпрысков боковых ветвей царствующих династий.

«Боже, всели ее в вечных Твоих обителях» — такими словами заканчивалась надпись на гробовом камне. Лежащая под ним смиренная инокиня так никогда и не узнала о той женщине, которая сделала ее имя известным всей Европе и чья бурная жизнь была полной противоположностью ее собственной, одинокой и затворнической жизни «невесты Христовой».

2

В 1772 году в Париже появилась юная и обворожительная мадам Тремуйль, прибывшая на берега Сены с берегов Темзы. Друзья называли ее Алиной, или Али-Эмете. Это была женщина редкой, ослепительной красоты. Стройная, удивительно грациозная фигура, роскошные пепельные волосы, наполненные загадочным и чарующим блеском глаза, странным образом способные менять свой цвет от синего до иссиня-черного. Хотя она немного косила на один глаз, этот недостаток не только не портил ее, но, напротив, прибавлял ей очарования.

¹ Это к нему, взойдя на престол, Павел I обратился с вопросом: «Жив ли мой отец?» Гудович был из тех немногих, кто знал кое-какие тайны Екатерины II, в том числе, возможно, и тайну Августи-Досифеи.

Видно было, что мадам Тремуиль получила хорошее воспитание. Она свободно, без малейшего акцента говорила по-французски и по-немецки, несколько хуже владела итальянским и английским и совсем не владела русским и польским. Зато, по ее словам, ей были знакомы персидский и арабский языки. Этого, правда, никто из парижских знакомых очаровательной Али-Эмете не удосужился проверить, но у них не было оснований подозревать ее во лжи. Ведь она всем представлялась как черкешенка, дочь знатного черкесского князя, после смерти которого ее взял на воспитание родной дядя, живший в Персии. Когда она выросла, этот персидский дядюшка отправил горячо любимую племянницу путешествовать по Европе с образовательными целями, а сам недавно умер. Само собой, он завещал ей все свои несметные богатства. Теперь она под именем мадам Тремуиль прибыла в Париж, чтобы после некоторых формальностей вступить в законное владение наследством.

Наследница была настолько хороша собой, что смело могла рассказывать о себе еще и не такие истории. Мужчины с легкостью верили всему, что она говорила. Черкешенка? Почему бы нет! Париж трудно чем-либо удивить, да и в самом деле — в ее красоте было что-то восточное. Это уж потом кое-кто из современников начал утверждать, что она была еврейкой родом откуда-то из Польши.

Но чуть позже, после знакомства с польским послом во Франции, графом Огинским, Али-Эмете несколько изменила версию своего происхождения. Она стала называть себя уже не черкешенкой, а русской, единственной оставшейся в живых представительницей знаменитого и древнего рода князей Владимирских. Впрочем, персидский дядя и тут сохранился в целости и неприкосновенности, как и его наследство. Будто бы она им воспитана после того, как в детстве лишилась родителей, жила в Персии, а теперь приехала в Европу и собирается ехать в Россию, чтобы заявить свое право на оставшиеся там фамильные владения.

Никаких князей Владимирских на Руси не существовало с XVI века, но парижане, ясное дело, об этом и понятия не имели. Во всем, что касалось России, францу-

зы издавна полагались на ее ближайших соседей, поляков. А если граф Огинский и его жившие в Париже соотечественники сразу же признали за «княгиней Владимирской» ее титул, значит, так оно и есть. Им лучше знать. Разве черкешенке нельзя быть одновременно русской княгиней? Разве русские князья не могут иметь персидскую родню? Ведь, по мнению парижан, Черкесия, Персия и Россия — это почти одно и то же.

В расчете на азиатские сокровища Алина занимала крупные суммы у французских банкиров. Вернее, сама она оставалась чиста от финансовых обязательств, деньги добывали для нее двое приближенных — бароны Шенк и Эмбс. Первого из них она представляла как своего управляющего, второго — как родственника, хотя на самом деле бароном был только один из этих двоих, зато ее любовниками — оба. Раздавая векселя направо и налево, они снабжали деньгами «княгиню Владимирскую», а сами рядом с ней вели веселую и беззаботную жизнь в Париже.

Прекрасная Алина была умна, любезна, кокетлива и обладала даром сводить с ума всякого мужчину, с которым имела дело, и превращать его в своего покорного раба. Ее успехи на этом поприще не заставили себя долго ждать. Первой жертвой стал граф Огинский, за ним — маркиз де Марин, старый волокита, имевший, однако, немалые связи при дворе Людовика XV. Он влюбился в Алину так страстно, что готов был ради нее пожертвовать буквально всем. Затем к этой компании присоединился граф Рошфор-де-Валькур, гофмаршал владетельного германского князя Лимбургского, приехавший в Париж по делам своего государя. Он прельстился Алиной до такой степени, что предложил ей руку и сердце. Она дала согласие. Уговорено было венчаться в Германии, как только Рошфор-де-Валькур как гофмаршал князя Лимбургского получит от него согласие на этот брак. Но, разумеется, жениху и невесте ничто не мешало отдаваться супружеским утехам прямо сейчас, не дожидаясь венца. Жених был на седьмом небе от счастья, не подозревая, что его невеста дарит такие же наслаждения баронам Шенку и Эмбсу, графу Огинскому и маркизу де Марину.

В приятном обществе пяти любовников и целого

сонма светских воздыхателей, купаясь в роскоши, «княгиня Владимирская» чудесно провела в Париже всю зиму 1772 года. Мотовство ее не знало границ, однако с получением персидского наследства что-то промедлилось. В итоге один из баронов угодил в долговую тюрьму, другому грозила та же участь. Рошфор-де-Валькур отбыл к своему государю, обещав скоро вернуться за невестой или вызвать ее к себе, но ситуация в Париже становилась уже чересчур опасной. Кредиторы не дремали. Оставался один выход — бежать от займодавцев. Куда? Конечно же в Германию, к возлюбленному жениху. С помощью маркиза де Марина вызволив из тюрьмы своего верного барона, Алина уехала во Франкфурт. Огинский как польский посол остался в Париже, остальные трое любовников последовали за ней. Все они, само собой, знали, в каких отношениях каждый из них состоит с «княгиней Владимирской», но это ничуть их не смущало. Каждый из троих готов был делить Алину с кем угодно, только бы не лишаться ее милостей.

Итак, дружная четверка очутилась во Франкфурте, но, увы, парижским кредиторам стало известно, где они находятся. Один из баронов опять попал за решетку, положение Алины и ее друзей сделалось крайне затруднительным. Она пребывала под надзором местных властей и не могла никуда выехать из города, пока не заплатит долги. Наконец, жених, измученный долгим ожиданием, сам прибыл к ней во Франкфурт. Счастливая невеста упала ему на грудь, все ее финансовые трудности были улажены, но, на свою беду, Рошфор-де-Валькур столько всего нарасказал о ней своему повелителю, князю Лимбургскому, что тот захотел познакомиться с избранницей собственного гофмаршала. Знакомство состоялось, и сорокадвухлетний князь, холостяк и большой ценитель женской красоты, был совершенно очарован «княгиней Владимирской».

Это был хоть и мелкий, но настоящий государь, имевший все, что полагается иметь коронованным особам: столицу, двор с гофмаршалом, гофмейстером и камергерами, посланников при венском и версальском дворах. Он содержал миниатюрную армию, чеканил свою монету, награждал собственными орденами и т. д. Князь Лимбургский был человек образованный, но сла-

бый и легко подпадал под влияние своих пассий. Вскоре прелестная Алина полностью прибрала его к рукам. Он всюду появлялся только с ней, осыпал ее подарками, заплатил все долги, сделанные ее любовниками. Графу Рошфору-де-Валькуру, разумеется, не понравилось, что государь отбивает у него невесту. К тому же Алина теперь выказывала полное равнодушие к жениху и в июне 1773 года уехала с князем Лимбургским в принадлежавший ему замок Нейсес во Франконии. Рошфор-де-Валькур попытался было протестовать, но соперник быстро с ним разделался: незадачливого жениха обвинили в государственной измене и засадили в тюрьму.

В Нейсесе «княгиня Владимирская» начала прежнюю роскошную и блестящую жизнь. Здесь она стала называть себя «султаншей» и даже учредила свой орден Азиатского креста. Влюбленный князь Лимбургский верил всему, что она о себе рассказывала, и не отказывал ей ни в чем. Дни проходили в развлечениях, ночи — в наслаждениях взаимной, как искренне полагал князь, пламенной страсти. В шутку он называл свою возлюбленную «нимфой Каллипсо», а себя — Телемахом, хотя имя юного сына Одиссея не вполне подходило ему по возрасту.

Наконец настал момент, когда «нимфа Каллипсо» объявила своему Телемаху, что она от него беременна. Тот немедленно предложил жениться на ней. Прежний ее жених уже получил отставку и сидел в тюрьме, так что для свадьбы не было никаких помех. Алина не прочь была присоединить к своим титулам еще и титул владетельной княгини Лимбургской, Стирумской, Оберштейнской и прочая, но, как подобает настоящей женщине, сочла полезным немного покапризничать. Дабы крепче привязать к себе князя, она заявила ему, что счастлива была бы стать его женой, но неотложные дела призывают ее в Персию. Там, вероятно, ей придется остаться навсегда. Естественно, князь был потрясен. Как? Почему? Неужели они больше никогда не увидят друг друга? Нет, он этого не допустит!

Для Алины тоже была невыносима мысль о разлуке. Но что делать? Началась обычная женская игра со слезами, письмами, твердыми решениями, которые наутро отменялись и заменялись другими, прямо противополо-

ложными, но не менее твердыми. Алина виртуозно вела свою партию, и за этими хлопотами ожидаемый младенец куда-то пропал из ее чрева. Во всяком случае, на свет он так и не появился. Неизвестно, каким образом она объяснила его исчезновение, но лимбургский Телемах нисколько не охладел к своей нимфе, черкешенке, султанше, персидской пери, московской княгине. Хотя до него начали доходить слухи о том, что ее поведение не всегда было безупречно, он по-прежнему пылал страстью. Чтобы доказать свою любовь, князь подарил «княгине Владимирской» поместье Оберштейн, которое вместе с замком было передано ей в полное и неотъемлемое владение. Это воистину был королевский подарок, и Алина смягчилась. Она дала согласие на брак, вновь допустила исстрадавшегося князя к своим прелестям, а сама тем временем переселилась в Оберштейн, быстро показав себя властной и своенравной хозяйкой.

Это случилось поздней осенью 1773 года, как раз в то время, когда в немецких газетах появились первые сообщения о восстании Пугачева.

Тогда же новую владелицу Оберштейнского замка стал навещать таинственный молодой человек, приезжавший из соседнего Мосбаха. Чуть ли не ежедневно они проводили наедине по несколько часов. Узнав от прислуги о визитах мосбахского незнакомца, князь Лимбургский был возмущен. Для того ли он подарил невесте этот замок, чтобы она принимала там любовников? У князя были основания подозревать ее в неверности, но сейчас он ошибся: тут пахло не любовью, а политикой. Если даже у Алины и завязался роман с этим загадочным молодым человеком, то всего лишь между делом. Их объединяло нечто гораздо более важное.

Но в одном князь Лимбургский был прав: он почувствовал, что невеста, как и положено нимфе, начинает ускользать из его рук. Она вдруг стала с ним холодна и, кажется, вовсе не помышляла о свадьбе. Князь терялся в догадках, но ничего не мог понять. Не помогали ни мольбы, ни упреки, ни сцены ревности. Впрочем, однажды Алина обмолвилась, что затевает какое-то новое, блестящее и чрезвычайно выгодное предприятие, и даже

попросила у жениха взаймы 100 тысяч золотых, но для чего они ей нужны, так и не объяснила.

Однако чуть позже покров тайны над этим «блестящим предприятием» начал потихоньку приподниматься. Спустя некоторое время до князя Лимбургского дошли слухи о том, что в Оберштейнском замке под именем «княгиня Владимирской» проживает не кто-нибудь, а внучка Петра Великого, родная дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны «принцесса Елизавета».

3

Что побудило прелестную Алину решиться на такой шаг? Почему она оставила уже загнанную дичь — князя Лимбургского и устремилась в погоню за миражем? Каким образом обыкновенная авантюристка обернулась претенденткой на русский престол? В чьей руке находилась волшебная палочка, по мановению которой произошло это внезапное превращение?

Роль феи (как выяснилось позднее — злой) сыграл мосбахский незнакомец. Это был поляк Михаил Доманский, доверенное лицо могущественного польского магната Карла Радзивилла. Спустя пару месяцев после того как Доманский зачастил в Оберштейн, Радзивилл отправил Алине почтительное письмо. «Я, — писал он, — смотрю на предприятие Вашего Высочества как на чудо Провидения, которое не оставило нашу несчастную страну. Оно послало ей на помощь Вас, столь великую героиню...»

Под «несчастной страной» подразумевается Польша. Это понятно. Гораздо труднее понять, почему Провидению вздумалось послать на помощь полякам очаровательную, но легкомысленную Алину. С каких пор она сделалась «великой героиней»? Кажется странным, что именно в ней Радзивилл усмотрел чуть ли не новую Жанну д'Арк.

Но все эти недоумения легко разрешаются, если вспомнить о событиях, происходивших далеко за пределами владений князя Лимбургского.

Когда Екатерина II посадила на польский престол

своего ставленника и бывшего любовника Станислава Понятовского, многие магнаты и шляхта отказались его признать. Недовольные подняли мятеж против «короля Стася», но, несмотря на поддержку Франции, были разбиты. В 1772 году, когда Алина блистала в Париже, произошел первый раздел Польши: часть территории Речи Посполитой была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. Сотни поляков эмигрировали, среди них — Радзивилл, поселившийся на берегах Рейна. Главной виновницей постигшей Польшу трагедии эмигранты считали русскую императрицу, а успехи Пугачева, который выдавал себя за Петра III, свидетельствовали, что народ недоволен своей правительницей. Тогда-то в окружении Карла Радзивилла и созрела мысль использовать против Екатерины II старое, но грозное оружие, не заржавевшее, как оказалось, за те полтора с лишним столетия, что прошли со времен обоих Лжедмитриев. Но теперь, когда в России прочно установилось «бабье царство», предпочтительнее казалось выдвинуть не самозванца, а самозванку. Начались поиски подходящей кандидатуры, и в конце концов остановились на Алине. Познакомившись с ней, Доманский, по-видимому, доложил Радзивиллу, что хозяйка Оберштейна будет идеальной претенденткой на русский престол, а затем устроил их личное свидание. Радзивилл одобрил выбор своего слуги. К тому времени Алина уже поддалась на уговоры Доманского и готова была участвовать в этом «блестящем предприятии». Стороны заключили между собой соглашение, интрига началась.

Но тут есть один темный момент. Разумеется, Алина никогда прежде не слыхала ни о браке Елизаветы Петровны с Разумовским, ни об их детях от этого брака. Обо всем этом она узнала от Доманского. Но была ли она только мошенницей? Или же ее сумели уверить в том, что она действительно является дочерью Елизаветы Петровны? Последний вариант весьма вероятен. Убедить Алину в ее царственном происхождении было тем проще, что она не знала ни своих родителей, ни своего настоящего имени.

«Я помню только, — уже в Петербурге, незадолго до смерти, говорила она допрашивавшему ее князю Голицыну, — что старая нянька моя, Катерина, уверяла

меня, что о происхождении моем знают учитель арифметики Шмидт и маршал лорд Кейт, брат которого прежде находился в русской службе и воевал против турок. Этого Кейта я видела только однажды, мельком, проездом через Швейцарию, куда меня в детстве возили на короткое время из Киля. Я помню, что Кейт держал у себя турчанку, присланную ему братом из Очакова или с Кавказа. Эта турчанка воспитывала нескольких маленьких девочек, вместе с нею плененных. Хотя я наверное знаю, что я не из числа этих девочек, но легко может быть, что я родилась в Черкесии».

Рассказав, что в детстве она жила в Германии, в Киле, Алина сказала тому же Голицыну: «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители, да и сама я мало заботилась, чтобы узнать, чья я дочь, потому что не ожидала от того никакой себе пользы».

Английский посол в Петербурге уверял Екатерину II, что самозванка — дочь какого-то трактирщика из Праги, а английский же консул в Ливорно сообщил графу Орлову, что ее отцом был булочник из Нюрнберга.

«Но, — пишет один из биографов Алины, — принимая в соображение замечательное образование загадочной женщины, ее ловкость в политической интриге, ее короткое знакомство с дипломатическими тайнами кабинетов, ее умение держать себя не только в среде лиц высокопоставленных, но даже в кругу владетельных немецких государей, трудно поверить, чтобы она воспитывалась в трактире или булочной».

Словом, никто из современников не знал тайну происхождения Алины. Не знаем ее и мы. Похоже, что ее не знала и сама Алина, а если и знала, то унесла эту тайну с собой в могилу.

Известно только, что детство она провела в Киле, потом жила в Берлине, потом — в Нидерландах, в Генте, откуда перебралась в Лондон, а из Лондона — в Париж. Везде она обзаводилась преданными любовниками и отовсюду уезжала, спасаясь от кредиторов. Известно также, что вначале она странствовала под именем девицы Франк, позже взяла себе фамилию Шель, а

в Париж, как мы уже говорили, прибыла как мадам Тремуйль.

В 1783 году, спустя восемь лет после ее смерти, посол Людовика XVI в Петербурге пришел к выводу, что эта женщина и в самом деле была дочерью Елизаветы Петровны. Его мнение разделяет современный французский историк Шарль де Ларивьер.

Вряд ли они правы.

Но не исключено, что организаторам интриги удалось заронить в душу хозяйки Оберштейна зерно сомнения. Похоже, Доманский действовал именно так: он не просто склонял Алину выступить в роли наследницы русского престола, но внушал ей, что эта роль принадлежит ей по праву рождения.

4

Свидание Алины с Радзивиллом состоялось в начале 1774 года в Цвейбрюккене. После этого они поддерживали постоянную переписку, и к весне, при деятельном участии польских агентов влияния, хлопотавших о признании самозванки при дворе Людовика XV, был разработан план дальнейших действий.

Поскольку Россия в то время вела войну с Турцией, решено было ехать в Венецию, а оттуда плыть в Стамбул. Там Алине предстояло заручиться поддержкой турецкого султана, который должен был принять ее с распростертыми объятиями. Предполагалось, что из Стамбула она обратится с воззванием к русским войскам, призывая их прекратить войну с турками, дабы возвести на престол «внучку Петра Великого» — «принцессу Елизавету». План был совершенно фантастический, не имевший никаких шансов на успех. Тем не менее Алина и ее соратники были преисполнены самых радужных надежд.

Как ни странно, князь Лимбургский тоже был доволен подобным оборотом дела. Несмотря на многочисленные разочарования, даже измены, которые не были для него секретом, он по-прежнему любил Алину, мечтал жениться на ней, верил всем ее рассказам и надеялся, что теперь, узнав о столь высоком происхождении

невесты, его родственники больше не будут возражать против этого брака.

Хотя князь испытывал сильные денежные затруднения, в значительной степени связанные с безудержным мотовством дамы его сердца, он на последние средства снарядил ее в дорогу до Венеции и в мае 1774 года вместе с ней выехал из Оберштейна. В Цвейбрюккене они расстались. Оба не предполагали, что встретиться снова им не суждено. Алина обещала скоро вернуться; на прощание они торжественно поклялись стать мужем и женой и позднее в письмах называли друг друга не иначе как супругами.

Радзивилл уже находился в Венеции, для «принцессы Елизаветы» были приготовлены роскошные апартаменты в доме французского посла в Венецианской республике. Она, впрочем, по дороге усомнилась было в успехе задуманного предприятия и даже хотела вернуться к жениху, но Доманский и другие состоявшие при ней поляки убедили ее, что все будет хорошо. Не устояв перед соблазном стать русской императрицей, Алина отбросила все сомнения. Она твердо решила до конца следовать по избранному пути, не зная, что он приведет ее к гибели.

С первых же дней своего пребывания в Венеции она повела обычную блестящую жизнь. Каждый вечер ее приемные покои наполняли толпы польских и французских офицеров, которые вместе с ней и Радзивиллом собирались ехать в Стамбул, на помощь туркам в их войне с Россией.

Наконец вся эта компания с комфортом разместилась на двух турецких кораблях. Якоря были подняты, плавание началось, но разыгравшаяся буря заставила обоих капитанов укрыться в гавани острова Корфу. Один из них предпочел не испытывать судьбу и объявил, что возвращается обратно в Венецию. Часть пассажиров, не рискуя плыть дальше, пожелала вернуться вместе с ним, но хрупкая Алина не побоялась перейти на борт второго корабля, который продолжил плавание. Она стойко переносила все тяготы морского путешествия, однако ей не везло. Сильным противным ветром корабль отнесло на север; в конце июня 1774 года, устав

от бесплодной борьбы со стихиями, капитан бросил якорь у балканского побережья, в порту города Рагуза¹.

Сойдя на берег, Радзивилл и «принцесса Елизавета» решили сделать Рагузу своей временной штаб-квартирой, чтобы без проволочек приступить к исполнению задуманного. А именно: послать одно воззвание в русскую армию, другое — на русскую эскадру, действовавшую против турок в Средиземном море. «Постараясь, — кокетничая собственной лихостью, сообщила Алина одному из своих французских приятелей, — овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно». Увы, эти ее воинственные замыслы построены были даже не на песке, а в воздухе.

Одновременно в канцелярии Радзивилла было сфабриковано «завещание» Елизаветы Петровны, в котором покойная императрица «объявляла принцессу Елизавету» своей единственной законной наследницей.

На приемах, которые своей пышностью не уступали венецианским, Алина рассказывала о себе следующее:

«Я дочь Елизаветы Петровны от брака ее с казацким гетманом Разумовским. Я родилась в 1753 году² и до девятилетнего возраста жила при матери. Когда она скончалась, управление Российской империей перешло к ее племяннику, принцу Голштинскому, и, согласно завещанию моей матери, он был провозглашен императором под именем Петра III. Я должна была лишь по достижении совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, которую не надел Петр, не имея на то права. Но через полгода после смерти моей матери жена императора, Екатерина, низложила мужа и короновалась в Москве мне принадлежащей древней короной царей московских. Лишенный власти Петр, мой опекун, умер. Меня, девятилетнего ребенка, сослали в Сибирь. Там я пробыла год. Один священник сжалился над моей

¹ Ныне г. Дубровник.

² Алина даже не знала, что ее «отцом» был старший из братьев Разумовских — Алексей Григорьевич; гетманом же Украины был его младший брат — Кирилл Григорьевич. Также Алина страдала известной женской слабостью: она всегда уменьшала свой возраст. Выглядела она очень молодо, но на самом деле в это время ей было 28 лет, а не 21.

судьбой и освободил меня из заточения. Он вывез меня из Сибири в столицу донских казаков. Друзья моего отца укрыли меня в его доме¹, но обо мне узнали, и я была отравлена. Принятыми своевременно лекарствами удалось, однако, возвратить меня к жизни. Чтобы избавить меня от новых опасностей, отец мой, князь Разумовский, отправил меня к своему родственнику — персидскому шаху» и т. д.

В общем, «персидский дядюшка» превратился в шаха, который полюбил «принцессу Елизавету» всем сердцем, осыпал ее благодеяниями, пригласил к ней лучших учителей из Европы. Дальше — больше. Когда она достигла семнадцатилетнего возраста, покоренный ее красотой шах предложил ей руку и сердце.

«Как ни блистательно было предложение, сделанное мне богатейшим и могущественнейшим государем Азии, — не моргнув глазом рассказывала Алина, — но так как в случае согласия мне пришлось бы отречься от Христа и православной веры, к которой я принадлежу с рождения, я отказалась от предложенной мне чести».

Слушатели с восторгом внимали этой восхитительной истории. Прелесть самой Шехерезады усиливала впечатление, производимое замечательными творениями ее фантазии. К тому же у Алины на все был готов ответ. Чем занимается сейчас персидский шах? Он настраивает азиатское общественное мнение в пользу «принцессы Елизаветы». Кто такой Пугачев? Это ее родной брат, тоже сын Разумовского, и единственная цель поднятого им восстания — возвести на престол свою сестру.

Окруженная поклонением местного общества, Алина дошла до того, что и к Радзивиллу начала относиться покровительственно. В конце концов они поссорились. Тем более что предприятие затягивалось, из Стамбула поступали плохие вести: султан склоняется к миру с Россией и вовсе не горит желанием видеть у себя во дворце «принцессу Елизавету». Вдобавок ко всему у Радзивилла кончились деньги, ибо «король Стась» кон-

¹ Алина не знала, что ее «отец», Алексей Разумовский, был родом с Украины и к донским казакам никакого отношения не имел.

фисковал его огромные имения в Литве и Польше, теперь оттуда не поступало ни гроша. Он еще терпел, еще сносил все капризы «принцессы Елизаветы», все претензии ее кредиторов, все слухи о ее любовниках, в число которых вошел и турецкий капитан, на чьем корабле они прибыли в Рагузу. Радзивилл еще на что-то надеялся, но тут как гром грянули два известия: Пугачев разбит, султан подписал с Россией мирный договор в Кючук-Кайнарджи. Надежд более не оставалось, Радзивилл вконец разругался с Алиной, махнул рукой на все и уехал в Венецию.

Тогда она решила продолжить интригу уже на собственный страх и риск, хотя в то время у нее появились первые признаки болезни, которая скоро должна была свести ее в могилу. Алина нехорошо кашляла, доктора ставили грозный диагноз: чахотка.

Между тем князь Лимбургский уединенно жил в Оберштейне, предаваясь воспоминаниям о милой невесте и уповая на близкую встречу. В Рагузу он ехать не решался по недостатку денег, необходимых на то, чтобы подобающим государя образом обставить свое там пребывание. Его удерживали опасения ударить перед Алиной в грязь лицом, а также слухи о ее тамошних любовниках. Немецкие и французские газеты полны были сплетнями о любовных похождениях «принцессы Елизаветы», но князь готов был все простить. Он слал ей письмо за письмом, умоляя оставить бессмысленную затею, вернуться в Оберштейн, стать его женой. Алина же в ответ сообщала ему, что дела идут прекрасно, что ее сторонники в России добились блистательных успехов, что она заключила союз с султаном и в ближайшем будущем сделает своим союзником шведского короля. Словом, несмотря на открывающуюся чахотку, Алина не унывала.

Она была настолько уверена в безграничной любви к ней князя Лимбургского, что просто не считала нужным отвечать на все его письма. У нее на это не находилось времени.

Раздосадованный и оскорбленный ее долгим молчанием, князь в пространным письме к невесте высказал ей все свои накопившиеся обиды. Он напомнил Алине, что она расстроила его состояние, сделала посмешищем

всей Европы, испортила его отношения с Парижем, Петербургом и прочее. И после всего этого до него доходят слухи, что она состоит в связи с каким-то ничтожным польским шляхтичем¹ и даже предполагает выйти за него замуж. Как это согласуется с данным ему, князю Лимбургскому, обещанием? «Я нисколько не думаю мешать вашему счастью, — с горечью писал он, — если только желания ваши согласны с вашей честью. Впрочем, если вы готовы отказаться от своего прошлого и никогда более не будете поминать ни о Персии, ни о Пугачеве, ни о прочих такого же рода глупостях, то у вас есть еще время вернуться ко мне в Оберштейн».

Ответа на это письмо князь так и не получил.

Оно было отправлено 30 октября 1774 года и прибыло в Рагузу уже после того, как Алина села на корабль своего очередного любовника, турецкого капитана Гасана, и в сопровождении нескольких оставшихся при ней поляков, в том числе Доманского, отплыла в Неаполь.

Князь Лимбургский понятия не имел, куда подевалась его обожаемая невеста. В течение четырех месяцев она не прислала в Оберштейн даже весточки о себе. Лишь тогда князь решил порвать все отношения с ней и сообщил об этом Алине в последнем своем письме. Впрочем, прибавлял он, она всегда может рассчитывать на его участие и в любое время вернуться к нему, но уже «только как к отцу».

Ответом ему вновь было молчание.

Разумеется, Алина не воспользовалась великодушным предложением жениха, готового заменить ей отца. «Злой Рок, — пишет биограф нашей героини, — уже увлекал ее к гибели».

5

В то время в Италии, в Ливорно, стояла русская эскадра под флагом адмирала Грейга, но под общим командованием графа Алексея Орлова. Алина еще из Рагу-

¹ Вероятно, имеется в виду все тот же Доманский.

зы отправила ему письмо, спрашивая: «Принцесса Елизавета Всероссийская желает знать, чью сторону вы, граф, примете при настоящих обстоятельствах?»

«Торжественно провозглашая законные права свои на российский престол, — писала она далее, — принцесса Елизавета обращается к вам, граф. Долг, честь, слава — все обязывает вас встать в ряды ее приверженцев!»

Получив это послание, Орлов немедленно переправил его в Петербург, приложив к нему собственное письмо на имя Екатерины II. Предлагаемый им план действий в отношении самозванки был таков: *«Заманя ее на корабль, отослать прямо в Кронштадт»*.

«Буду ожидать повеления, — писал Орлов императрице. — Каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейше исполнять буду».

Но до Петербурга было далеко, ответ прибыл лишь спустя два месяца. Взбешенная Екатерина, до которой давно уже дошли известия о сопернице, повелела следующее: со всей эскадрой подойти к Рагузе, потребовать выдачи самозванки и, если в том будет отказано, бомбардировать город из корабельных орудий.

По одному только этому распоряжению можно заключить, что Екатерина была вне себя от ярости. Можно не сомневаться, Орлов «наиусерднейше» исполнил бы приказ императрицы, но, к счастью для жителей Рагузы, Алина к тому времени давно уже покинула город.

Оказавшись в Неаполе, она сумела очаровать английского посла Уильяма Гамильтона и его супругу, леди Гамильтон, известную тем, что ее всю жизнь любил адмирал Нельсон. Они выхлопотали для Алины паспорт, с которым та отбыла в Рим. У нее явилась новая идея: добиться покровительства Ватикана в обмен на обращение в католичество и отказ от православия, к которому она, «принцесса Елизавета», якобы «принадлежала с рождения» и отречься от которого не захотела даже ради возможности стать персидской шахиней.

Но аудиенцию у папы римского получить было не просто, а здоровье Алины совсем расстроилось: она беспрестанно кашляла, порой впадала в горячку. Но лечиться ей было недосуг. С помощью новых поклонни-

ков раздобыв кое-какие деньги, она и в Риме повела привычную светскую жизнь. Из отзывов ее итальянских обожателей мы знаем, что в дополнение ко всему Алина умела быть душой общества, любила живопись и архитектуру, сама неплохо рисовала и прекрасно играла на арфе.

Тем временем Орлов, после отъезда самозванки из Рагузы потерявший ее из виду, узнал, что она обосновалась в Риме. Тут же он отправил туда своего адъютанта Христенека с поручением войти к ней в доверие.

Поначалу Алина приняла его недоверчиво, но ловкий Христенек сумел усыпить ее подозрения. Он, в частности, устроил ей кредит у одного связанного с Орловым английского банкира, что пришлось весьма кстати: прежние заимодавцы шли за ней по пятам, римская полиция уже обратила на «принцессу Елизавету» самое пристальное внимание, в то время как папа римский не проявлял к ней особого интереса.

Эскадра адмирала Грейга стояла в Ливорно, сам же Орлов со своим штабом находился в Пизе. От его имени Христенек заверил Алину, что Орлов готов признать в ней дочь Елизаветы Петровны и предоставить в ее распоряжение вверенный ему флот, но прежде хотел бы встретиться с ней для личных переговоров. Почему бы ей не приехать к нему в Пизу? Алина колебалась, чувствуя подвох, но выбора у нее не было: в Риме полиция со дня на день грозила ей арестом. Наконец роковое решение было принято: да, она едет.

14 февраля 1775 года Алина прибыла в Пизу, где для нее и ее свиты уже приготовили роскошное палаццо со слугами и подходящей обстановкой. Орлов не замедлил представиться «принцессе Елизавете», причем вел себя с ней чрезвычайно почтительно, словно она уже была императрицей, а он — ее верноподданным. Он являлся к ней ежедневно и только в парадной форме, с орденскими лентами. Он никогда не садился в ее присутствии. Он предупреждал все ее желания, но не забывал о главном. Екатерина II подозревала, что в интриге самозванки, помимо поляков, участвуют какие-то русские вельможи, поэтому Орлов осторожно старался выведать планы «принцессы Елизаветы», историю ее предприятия, имена ее помощников. Однако Алина спела ему

все ту же песню о своем трудном детстве, Сибири, таинственных отравителях, благородном персидском шахе и пр.

Тогда, зная по слухам о ее пылком темпераменте, Орлов решил разыграть влюбленного. В этой игре он был большой мастер и с первых же ходов так искусно повел свою партию, что победа осталась за ним, хотя Алина тоже знала толк в подобных забавах.

В то время Орлову исполнилось 38 лет. Огромного роста, широкоплечий, обладающий редкой физической силой, но отнюдь не чудовище, напротив — с приятным, умным и выразительным лицом, он быстро покорила Алину, которая ценила мужскую красоту и была, мягко говоря, неравнодушна к чувственным наслаждениям. Здесь же, в Пизе, они стали любовниками. Очевидно, и при интимных свиданиях Орлов показал себя настоящим русским богатырем. Но ему и этого казалось мало. Чтобы окончательно завоевать доверие «принцессы Елизаветы», он попросил ее руки. Просьба была принята благосклонно. Правда, Алина заявила, что сейчас не время думать о браке, сначала нужно восстановить ее законные права в России. «Сейчас я еще не счастлива, — сказала она Орлову, — а когда буду *на своем месте*, тогда и вас сделаю счастливым».

Ну а если бы она согласилась венчаться немедленно, прямо в Пизе? Что в таком случае стал бы делать Орлов? Пошел бы на попятную?

Ничуть!

Его усердие простиралось до такой степени, что он готов был пойти с «принцессой Елизаветой» под венец, дабы вернее увлечь ее в расставленные сети. Рассказав о своем предложении жениться на ней «хоть сегодня», Орлов писал Екатерине II: «Признаюсь, всемиловейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь бы только достичь того, чтобы волю Вашего Величества исполнить».

Вот как он описывал самозванку в другом своем донесении:

«Оная женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицом ни бела ни черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки».

И еще:

«Свойство она имеет довольно отважное и своей смелостью много хвалится».

Этим-то ее «свойством» и решил воспользоваться Орлов, чтобы осуществить давно задуманное: *«Заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт»*.

Алина уже вполне ему доверяла. Едва ли она была в него так уж страстно влюблена, что потеряла голову от любви. Скорее другое: она привыкла к тому, что все ее любовники становились ее послушными рабами, и мысли не допускала о возможных исключениях из этого правила. Орлов считал, что он ее обольстил, Алина — что она его соблазнила и теперь может вертеть им как хочет. Эта ошибка стоила ей жизни.

Захватить «принцессу» прямо в Пизе, где ее все знали, Орлов не решался, это вызвало бы чересчур громкий скандал. Притворившись, будто срочное дело вызывает его в Ливорно, он предложил возлюбленной вместе с ним съездить туда на денек, полюбоваться на флот, который скоро станет ее флотом, а затем вернуться обратно в Пизу. Алина согласилась.

В Ливорно она остановилась в доме тамошнего английского консула, посвященного в замысел Орлова. Вечером она была в опере, наслаждаясь вниманием публики, сияя счастьем и не подозревая, что это ее последний вечер на свободе.

Наутро, во время завтрака у консула, все присутствующие обращались с ней как с особой царственного происхождения. Алина была необыкновенно весела. Зашла речь о флоте, и она сама изъявила желание осмотреть русские корабли. Орлов галантно отвечал, что ее желание будет исполнено незамедлительно. Более того, он обещал произвести кое-какие маневры, чтобы «принцесса Елизавета» могла бы получить представление о том, как проходят морские сражения. Не угодно ли будет ей тотчас же поехать на адмиральский корабль?

Храбрая Алина не колебалась ни секунды. Конечно! Ведь это так интересно!

Адмирал Грейг, тоже присутствовавший на завтраке в доме консула, приказал готовить шлюпки. Корабли приказано было украсить флагами, офицеры надели па-

радные мундиры. В ожидании обещанных маневров жители Ливорно высыпали на берег. Они помнили, как незадолго перед тем, когда один итальянский художник должен был написать для Орлова картину, изображающую морское сражение, для него был устроен грандиозный спектакль с пушечной пальбой, взрывами, пожарами, ломкой мачт и тому подобными эффектами. Теперь горожане ожидали того же самого, но на сей раз они стали зрителями совершенно иного спектакля.

Когда шлюпка с «принцессой Елизаветой» приблизилась к флагманскому фрегату «Три иерарха», на палубе заиграл оркестр. Грянул орудийный салют. Матросы стояли на реях и громко кричали «ура». Алина была в восхищении. С борта спустили кресло и на нем подняли ее на палубу. Под руку с Орловым она прошла вдоль строя, приветствуя офицеров, ласково кланяясь матросам. «Ура» не смолкало на всех кораблях эскадры.

Начались маневры. Алина стояла у борта, увлекшись и не замечая, что Орлова уже нет возле нее. Вдруг она услышала, как чей-то повелительный голос требует у Доманского и других ее спутников отдать их шпаги. Это был гвардейский капитан Литвинов.

«Что это значит?» — строго спросила Алина.

«По именному повелению ее императорского величества вы арестованы», — отвечал Литвинов.

«Где граф Орлов?» — воскликнула она.

«Арестован по приказанию адмирала».

Алина лишилась чувств. Ее подхватили под руки и отвели в каюту.

6

Вскоре ей передали письмо Орлова, написанное по-немецки.

«Ах! — писал он. — В каком мы несчастии! Но не надо отчаиваться, будем терпеливы. Всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном положении, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение».

На всякий случай Орлов не подписал это письмо и тотчас же донес о нем императрице: «У нее есть и моей

руки письмо на немецком языке, только без подписания имени моего, что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу спасти ее».

Бедная Алина поверила предателю. Между тем Орлов подал ей надежду на освобождение с единственной целью: чтобы она не покончила с собой. И ему, и Грейгу хотелось доставить самозванку в Кронштадт и передать в руки Екатерины II.

Несколько дней спустя после ареста «принцессы Елизаветы» русская эскадра вышла в море. Но сам Орлов остался в Ливорно. Для своей жертвы он сделал напоследок лишь одно доброе дело: взял у английского консула пачку книг и отослал ей на корабль, чтобы она не скучала в дороге.

Поначалу Алина много читала, гоня от себя тревожные мысли. Во время плавания до берегов Англии она была еще относительно спокойна, сохраняя надежду, что Орлов как-нибудь сумеет выручить ее и себя. Она полагала, что он находится под арестом или здесь же, на «Трех иерархах», или на другом корабле. Но в Плимуте, где эскадра бросила якоря для небольшого ремонта и пополнения запасов продовольствия и пресной воды, ей все стало окончательно ясно. Вероятно, тогда же она узнала и о том, как коварно обошелся с ней ее любовник. Мрачное будущее обрисовалось перед ней во всем своем ужасе. Что ожидало ее в России? Вечное заточение, Сибирь или, может быть, позорная казнь? Алина пришла в бешенство, в истерике билась о дверь каюты. Затем силы ей изменили, она лишилась чувств и так долго не приходила в себя, что врачи, опасаясь за ее жизнь, рекомендовали вынести арестованную на палубу, на свежий воздух.

Но Алина, по-видимому, лишь симулировала обморок. Улучив момент, она вскочила на ноги и стремительно бросилась к борту, намереваясь прыгнуть в стоявшую возле корабля английскую шлюпку. Ее едва успели удержать. Но слух о содержащейся на русской эскадре таинственной пленнице уже дошел до Лондона, появилось множество любопытствующих, и Грейг постарался по возможности скорее покинуть Плимут. Ему было нелегко. «Во всю жизнь мою никогда не ис-

полнял я такого тяжелого поручения», — писал он Орлову.

Там же, в Плимуте, Алина почувствовала, что она беременна от человека, предавшего ее. Она несколько раз пыталась покончить с собой, но безуспешно: после попытки бегства особо назначенные люди не оставляли ее одну ни днем ни ночью.

Наконец эскадра встала на кронштадтском рейде. В ночь на 25 мая 1775 года к борту «Трех иерархов» подошла яхта с офицерами и несколькими солдатами Преображенского полка; они взяли под стражу переданную им Грейгом несчастную пленницу. Так же незаметно, под покровом темноты, яхта поплыла назад, вошла в устье Невы и в третьем часу ночи причалила возле гранитных стен Петропавловской крепости. Здесь, в Алексеевском равелине, для «принцессы Елизаветы» уже были приготовлены комнаты.

Утром сюда прибыл генерал-губернатор Санкт-Петербурга, фельдмаршал князь Голицын, которому императрица поручила допросить самозванку.

Та встретила его без робости, спросив: «Какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?»

На то Голицын строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все вопросы, которые он предложит. Допрос начался.

Голицын. Как вас зовут?

Алина. Елизаветой.

Голицын. Кто ваши родители?

Алина. Не знаю.

Голицын. Сколько вам лет?

Алина. Двадцать три года.

Голицын. Какой вы веры?

Алина. Я крещена по греко-восточному обряду.

Голицын. Кто вас крестил и кто были воспитанники?

Алина. Не знаю.

Голицын. Где вы провели детство?

Алина. В Киле, у госпожи Пере, или Перон.

Голицын. Кто при вас находился тогда?

Алина. При мне была нянька, ее звали Катериной. Она немка, родом из Голштинии.

Затем, по словам Алины, какие-то люди увезли ее в Россию, там она была отравлена, но спаслась, после чего нянька вместе с ней отправилась в Персию, и т. д. В общем, Голицын услышал ее обычную историю, правда в несколько обновленном варианте. Персидский шах, в частности, был заменен на некоего знатного перса по имени Гали, который дал своей воспитаннице блестящее образование и отослал ее в Европу.

На вопрос, по чьему наущению она выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны, Алина ответила: «Я никогда, ни одного раза не утверждала, что я — дочь императрицы. Правда, иногда в разговорах с князем Лимбургским, с князем Радзивиллом и другими знатными особами, которым я рассказывала о странных обстоятельствах моего детства, они говорили мне, что я напрасно скрываю свое происхождение, что им наверное известно, что я рождена русской императрицей. Но каждый раз, чтобы отделаться от подобных расспросов, я шутливо отвечала: «Да принимайте меня за кого хотите! Пусть буду я дочь турецкого султана, или персидского шаха, или русской императрицы, раз я ничего не знаю о своем рождении».

Допрос продолжался четыре дня, но ничего нового Голицын более не услышал. Он был разочарован, а Екатерина II, прочитав показания самозванки, пришла в ярость. «Эта наглая лгунья продолжает играть свою комедию!» — сказала она.

Приказано было принять по отношению к арестантке «надлежащие меры строгости».

У Алины отобрали прислугу, отняли все, кроме постели и самой необходимой одежды. Голицын распорядился давать ей ровно столько пищи, сколько нужно «для поддержания жизни», причем пища должна быть такая же, как у всех арестантов. Караулу из офицера и двоих солдат предписано было находиться при ней безотлучно. Даже естественные отправления ей приходилось теперь совершать в присутствии мужчин.

В отчаянии Алина писала Голицыну, прося отпустить ее к жениху, князю Лимбургскому, умоляла сжалиться над ней, но показаний своих не меняла. Раздраженная Екатерина повелела пригрозить арестантке «крайними мерами» — пытками, но, когда Голицын в

очередном разговоре с Алиной употребил эти страшные слова, та ответила твердо: «Я сказала вам все, что знаю. Чего же вы еще от меня хотите? Знайте, господин фельдмаршал, что не только самые ужасные мучения, но и сама смерть не может заставить меня отказаться от первого моего показания!»

Между тем ее смерть была уже не за горами. Чахотка быстро развивалась у несчастной женщины, находившейся теперь во второй половине срока беременности. Она таяла на глазах, а посещавший ее доктор воспринимал это с полным равнодушием. Алина уже начала понимать, что дни ее сочтены. Она кашляла кровью, почти не прикасалась к пище.

Но твердость ее была поразительна.

На одном из допросов Голицын спросил: «Вы говорите, что воспитывались в Персии, у этого Гали; знаете ли вы восточные языки?»

«Да, — ответила Алина, — я знаю по-персидски и по-арабски».

«Не можете ли вы написать мне на этих языках то, что я скажу вам по-французски?»

«С большим удовольствием!»

Алина взяла перо, написала продиктованную фразу непонятными Голицыну буквами и, подавая ему бумагу, пояснила: «Вот это по-арабски, а это по-персидски».

На следующий день Голицын показал каким-то «сведущим людям» то, что она написала. Знатoki восточных языков имелись в то время в Коллегии иностранных дел и в Академии наук. Мы не знаем, кто именно выступал в качестве экспертов, но отзыв был дан следующий: фраза написана какими-то неизвестными буквами, во всякой случае — не персидскими и не арабскими.

Голицын тут же поехал в Петропавловскую крепость, думая смутить пленницу этим отзывом и уличить ее во лжи. Он сообщил ей мнение «сведущих людей», после чего спросил: «Что же это все, наконец, значит?»

«Это значит, — спокойно и даже насмешливо ответила ему Алина, — что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-арабски, ни по-персидски».

На протяжении трех месяцев она ни в чем не изменила своих показаний, данных в день первого допроса.

«Она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности, — доносил Голицын императрице. — Все мои старания узнать от нее истину об ее сообщниках остались совершенно напрасными. Ничто не действовало на нее: ни увещания, ни строгость, ни ограничения в пище, одежде и вообще в потребностях жизни, ни разлучение со служанкой, ни постоянное присутствие карательных солдат в ее комнате».

«Не допрашивайте более бесстыдную лгуню, — ответила Екатерина. — Объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заточение».

Но хитрая Алина и на этот раз ускользнула от всемогущей императрицы единственным оставшимся у нее в запасе способом — она умерла.

В конце ноября пленница родила мальчика, а через несколько дней, 2 декабря 1775 года, священник принял у нее предсмертную исповедь. По приказу Голицына он расспрашивал умирающую о сообщниках, о том, как родился у нее преступный замысел, и т. д. Она отвечала, что говорила Голицыну и писала императрице одну только правду, ей нечего прибавить к сказанному.

«Вы стоите на краю гроба, — заклинал ее священник. — Вспомните о жизни вечной и скажите истину!»

Но все его старания оказались тщетны. Алина покаялась лишь в том, что огорчала Бога своей греховной жизнью, что с ранней юности жила в телесной нечистоте, часто отдавалась разным мужчинам и чувствует себя великой грешницей.

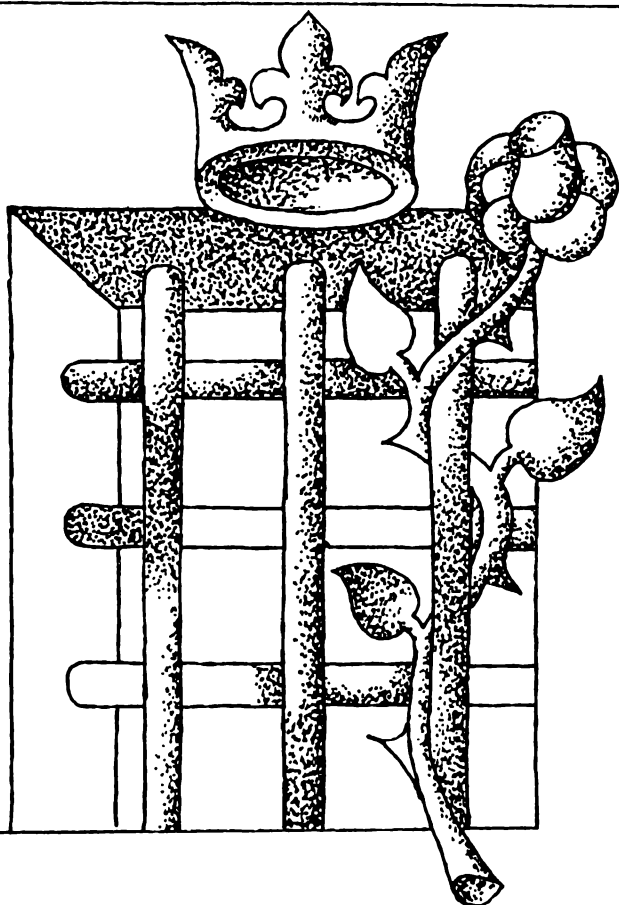
Она говорила все тише, голос ее слабел. Священник уже не мог разобрать слов и оставил умирающую, так и не удостоив ее святого причастия.

Началась агония. Спустя два дня, не приходя в сознание, Алина умерла и унесла с собой в могилу тайну своего рождения, если только сама знала ее.

Чтобы сохранить в секрете смерть арестантки, велено было не выносить ее из крепости, а захоронить тут же, внутри Алексеевского рavelина. Солдаты, бессменно находившиеся при ней вплоть до ее смертного часа, выры-

ли яму, опустили в нее иссохшее тело прекрасной Алины, закидали землей и заровняли поверхность. Никаких погребальных обрядов совершено не было.

В честь Орлова, разгромившего турок при Чесме, сын Алины получил фамилию Чесменский, был воспитан на казенный счет, позднее служил офицером в Конногвардейском полку, но рано умер. Что касается его отца, то блестяще проведенная операция по захвату самозванки не принесла ему желанных радостей. Вскоре Орлову пришлось выйти в отставку, он уехал в Москву, где и доживал свой век. О смерти своей жертвы он не знал. Рассказывают, будто Орлов никогда не проезжал мимо Ивановского монастыря, полагая, что под именем инокини Досифеи там содержится та женщина, которую он когда-то предал.



ДОФИН-СОЛДАТ И ДОФИН-ЧАСОВЩИК

21 января 1793 года в очередной раз опустился нож гильотины, установленной на Гревской площади в Париже, и в корзину скатилась отрубленная голова Людовика XVI, короля Франции.

Незадолго перед тем, когда депутаты революционного Конвента должны были решить его участь, один из судей, голосуя за смертный приговор, сказал: «Король полезен только одним — своей смертью».

«Мне отвратительно пролитие человеческой крови, — заявил другой, — но кровь короля — это не человеческая кровь. Смерть!»

«Смерть! — подал голос третий и предложил: — Пускай отольют пушку калибром с голову Людовика XVI и стреляют из нее по врагу».

«Смерть Людовику последнему!» — выкрикнул четвертый.

Пятый провозгласил: «Пока дышит тиран, задыхается свобода. Смерть!»

«Нет, пускай живет, — рассудил шестой. — Зачем нам мертвец, которого Рим превратит в святого?»

Седьмой проголосовал за пожизненное заключение, восьмой — за изгнание, сказав: «Я хочу, чтобы впервые в мире король занялся каким-нибудь ремеслом и в поте лица добывал хлеб свой».

Но большинство высказалось за смертный приговор. Один из депутатов уснул прямо на скамье, ибо заседание длилось 37 часов подряд; когда его разбудили для

подачи голоса, он с трудом продрал глаза, крикнул: «Смерть!» — и снова заснул.

Вслед за мужем вошла на эшафот королева Мария-Антуанетта. Оба умерли на глазах многотысячной толпы, свидетелей казни было множество, да и чересчур громко звучали имена этой венценосной четы, чтобы кто-то осмелился возложить их на себя. Другое дело — загадочная и скрытая от посторонних глаз смерть их сына, известного под именем Людовика XVII. Тут было раздолье для самозванцев, которые вообще любят царственных отроков. Десятилетний мальчик, по официальной версии умерший в Тампле¹ через два года после казни родителей, породил такое количество призраков, что в этом отношении с ним, пожалуй, может соперничать лишь русский император Петр III.

К настоящему времени историки насчитали 32 самозванца, выдававших себя за Людовика XVII. Об одном из них мы расскажем коротко; о другом, самом из всех знаменитом, подробно.

1

Второй сын Людовика XVI и Марии-Антуанетты был крепкий, чуть полноватый мальчик с курчавыми пепельными волосами и ямочкой на подбородке. Слева от этой ямочки имелся небольшой шрам — принца укусил его любимый кролик, которого он держал у себя во дворце Тюильри. Это был нежный, чувствительный, склонный к фантазии ребенок. Мать ласково называла его «Шу д'амур», что приблизительно можно перевести как «лапочка», «лапушка».

Родился он в Версале в 1785 году, но дофином² стал спустя четыре года, после смерти своего старшего брата. Это произошло 4 июня 1789 года, а 14 июля закончилось его детство: парижане штурмом взяли Бастилию, пламя революции охватило страну. В нем суждено было сгореть и несчастному дофину.

Сначала вместе с семьей он жил под арестом в Люк-

¹ Тамплъ — тюрьма в Париже, бывший монастырь.

² Дофин — наследник престола.

сембургском дворце, затем был переведен в Тамплъ. В семь лет его навсегда разлучили с отцом, еще через полгода — с матерью. Осиротевший мальчик отдан был на попечение сапожника-якобинца¹ Симона и его жены, которые заменили прежних воспитателей и гувернанток. Новый наставник взялся сделать из маленького дофина настоящего санюлота, поэтому постоянно осыпал его бранью, строго наказывал, всячески поносил его отца, мать, родственников и вообще всех аристократов. Можно себе представить состояние семилетнего ребенка, ставшего жертвой подобного перевоспитания в революционном духе и вдобавок не вполне понимавшего, что с ним происходит. Правда, мадам Симон была добра к нему, старалась его приласкать и утешить.

В январе 1794 года Симон был смещен со своего поста «надзирателя за ребенком-Капетом»². С этого момента дофин поступил под наблюдение комиссаров Конвента, которые находились при нем безотлучно, сменяясь каждый вечер. Условия его содержания резко изменились, причем в худшую сторону. Как ни плох был революционер-сапожник, он казался добрым ангелом по сравнению с его преемниками. К девятилетнему мальчику предприняты были совершенно бесчеловечные «меры безопасности». Отныне он содержался в полной изоляции, под неусыпным надзором. В то же время в нем почти не разговаривали, не заботились о нем.

Якобинская диктатура пала в августе 1794 года. Буквально на следующий день после того как Робеспьер, Сен-Жюст и другие вожди якобинцев умерли на гильотине, в Тамплъ приехал Баррас, будущий глава правительства Директории. Когда ему показали сына Людовика XVI, мальчик произвел на него ужасающее впечатление: это был жалкий больной ребенок, до неузнаваемости обезображенный золотухой и едва способный выговорить несколько слов.

Баррас распорядился смягчить условия заточения, однако и теперь к дофину не допустили его родную се-

¹ Якобинцы — в период Великой французской революции члены Якобинского клуба в Париже, революционной организации левого толка.

² Капет — презрительное прозвище Людовика XVI.

стру, которая содержалась в той же башне этажом ниже. Несмотря на послабления в тюремном режиме, здоровье мальчика продолжало ухудшаться, 8 июня 1795 года он скоропостижно скончался.

Само собой, эта внезапная смерть вызвала много толков. Парижане не сомневались в том, что малолетний узник Тампля был отравлен. Но вот кто был этим узником? Дофин или какой-то другой ребенок? Может быть, потому его и отравили, что хотели скрыть подмену? Кто поручится, что Баррас видел сына короля? Ведь мальчик был весь в золотушных пятнах и почти не мог говорить!

Похороны дофина, которые состоялись на кладбище Сент-Маргерит, дали новую пищу такого рода слухам. Действительно, кое-какие обстоятельства погребения не могли не настораживать. Почему, спрашивали парижане, крышка гроба ни разу не была открыта? Почему никому из тех, кто знал дофина при жизни, не позволили проститься с ним?

В самом деле, та абсолютная и никакими разумными причинами не объяснимая изоляция, в которой дофин содержался в Тампле с января 1794 года, позволяет допустить возможность подмены. Например, по словам мадам Симон, она своими глазами видела, как в Тамплъ пронесли какого-то мальчика, спрятанного в корзине с бельем. Он-то, рассказывала мадам Симон, и заменил собой настоящего принца. Нет, сама она этого не видела, в то время уже ни ее, ни мужа не пускали к дофину. Ей по секрету сообщил знакомый повар, служивший в Тампле и готовивший пищу для узников. Да что там говорить! Слава Богу, дофин жив, он приходил к ней в 1802 году, спустя семь лет после своей мнимой смерти. Это чистая правда! Овдовев, она тогда жила в приюте Анкюрабль в Париже, на улице Севр, туда-то он однажды и явился в сопровождении какого-то негра. Дело было ночью, но она сразу же узнала бывшего воспитанника, хотя, конечно, он изменился, из мальчика превратился в юношу. Жестом приказав ей молчать, он тоже молча несколько минут простоял возле ее кровати, затем улыбнулся, помахал на прощание рукой и ушел. Больше она никогда его не видела.

Скорее всего, рассказ мадам Симон — плод ее воображения, разогретого тогдашними слухами о спасении сына Людовика XVI. Однако и вполне заслуживающие

доверия современники событий, и солидные историки, знатоки эпохи, не исключают вероятность того, что дофина тайно вывели из Тампля и заменили другим ребенком. Кто произвел подлог? Те самые комиссары Конвента, которые якобы так бдительно его охраняли. Зачем это им понадобилось? Неужели они были тайными монархистами и действовали из идейных соображений? Отнюдь. Спрятанный в укромном месте сын казненного короля нужен был им на тот случай, если, не ровен час, Бурбоны вернутся к власти во Франции. Тогда этот мальчик стал бы предметом торга, залогом их собственной безопасности.

Но если так, то где же спрятали выкраденного из Тампля дофина? Что с ним случилось потом?

Ответов на эти вопросы не было двести лет назад, нет их и сейчас. Есть лишь 32 самозванца, один из которых, может быть, был не самозванцем.

2

Через год после того как было объявлено о смерти Людовика XVII в Тампле¹, французская полиция арестовала в Шербуре, на берегу Ла-Манша, беспризорного мальчугана. Этот сирота рассказывал о себе, что он — отпрыск некоей знатной фамилии, погибшей во время якобинского террора.

А чуть раньше портной Рене Эрваго из Сен-Ло обратился в полицию с просьбой разыскать его сбежавшего из дому сына по имени Жан-Мари. Портному сообщили о пойманном бродяжке, он приехал в Шербур, признал своего сына и увез его домой. Однако тот почти сразу же сбежал опять. Теперь для большей конспирации хитрый Жан-Мари переоделся в женское платье, превратившись в очень хорошенькую девочку. Но это ему не помогло, вскоре он вновь был арестован за бродяжничество. Отец вновь поехал за ним, беглеца водворили обратно под отчий кров. Прошло два месяца, и весной 1798 года Эр-

¹ Хотя дофин ни дня не просидел на престоле, французские эмигранты-аристократы признавали его королем Людовиком XVII. Под этим именем он и вошел в историю.

ваго-младший убежал в третий раз, чтобы уже никогда больше не переступить порог родительского дома.

У супругов Эрваго было шестеро детей, но лишь один из них никак не мог ужиться с отцом и с матерью. Может быть, они его обижали? Может быть, он был не родной их сын? Последнее предположение справедливо, но только наполовину.

Мадам Эрваго в молодости слыла красавицей. Она жила в Версале, плела кружева для придворных дам, и однажды на нее обратил внимание герцог Валентинуа, принц Монакский. Вскоре прелестная кружевница от него забеременела. Герцог срочно выдал ее замуж за своего слугу Рене Эрваго. Тот получил от хозяина приличную сумму денег, увез молодую жену в Сен-Ло и занялся портняжным ремеслом. Спустя три месяца после свадьбы у них родился сын Жан-Мари.

От матери он, очевидно, и узнал тайну своего рождения. Мальчик был тщеславен, презирал приемного отца и полагал, что при такой родословной ему следует жить во дворце, а не в доме какого-то портняжки. Поэтому он рвался куда-то, где можно будет жить жизнью, достойной его происхождения. Куда? Он и сам не знал. Не столько сама по себе кровь герцога Валентинуа, сколько сознание того, что эта голубая кровь течет в его жилах, не давало ему покоя.

В том же 1798 году, когда он в третий раз бежал из дому, Эрваго угодил в тюрьму города Шалона. Будучи на редкость красивым мальчиком, с усвоенными от матери светскими манерами и хорошо подвешенным языком, он сумел очаровать жену и дочь главного тюремщика. Они снабжали его изысканными лакомствами, давали ему тончайшее белье и туалетную воду по цене в несколько десятков франков каждый флакон. В благодарность он открыл им свою тайну: перед ними не кто иной, как сын Людовика XVI собственной персоной. Нет, он не умер, как было написано в газетах. Умер другой мальчик, а его, дофина, верные слуги короля сумели освободить из заточения. Каким образом? Оказывается, тем же самым, о котором говорила мадам Симон, — его вынесли из Тампля в корзине с грязным бельем, а в корзине с чистым бельем внесли того мальчика и посадили в его камеру. Ох уж эта корзина!

Жена и дочь смотрителя шалонской тюрьмы немедленно поверили всему, что рассказал о себе Эрваго. Да и как же не поверить! Ведь он был такой хорошенький! Такой чистюля, такой умница! Кем же ему и быть, как не дофином? Вдобавок от матери, когда-то жившей в Версале, он знал, видимо, кое-какие придворные сплетни, живые подробности быта королевской семьи, которыми щедро одаривал слушательниц. Словом, женщины были совершенно покорены этим юным пройдохой. Но они были женщинами и, разумеется, не могли ни с кем не поделиться открывшейся перед ними волшебной тайной. Скоро у Эрваго появились новые поклонницы и почитательницы, с разрешения смотрителя тюрьмы посещавшие его камеру. Одна из них на свои деньги даже украсила тюремный каземат коврами и изящной мебелью. Как всегда, наиболее горячими приверженцами спасенного «дофина» стали представительницы слабого пола, но на его удочку попадались и мужчины — например, бывший королевский гвардеец де Берневиль. В былые годы ему приходилось видеть маленького принца, и теперь он узнал его с первого же взгляда (обычное дело в истории многих самозванцев). После такого признания разве можно было еще в чем-то сомневаться? К тому же на глазах у мальчика «невольню» выступали слезы, стоило лишь упомянуть в разговоре имена Людовика XVI или Марии-Антуанетты. Это ли не верное доказательство того, что он — подлинный дофин?

Наконец Эрваго вышел из тюрьмы. Некоторое время он скитался по Франции, выдавая себя за Людовика XVII, за что вновь попал за решетку. Выйдя на свободу, «дофин» вернулся в гостеприимный Шалон, где был восторженно встречен прежними своими почитателями. Он рассказывал им, что гостил при дворе английского короля, затем навестил папу римского, а из Ватикана уехал в Португалию. Там его полюбила португальская принцесса, с которой он и обручился.

И опять ему верили!

Слухи о том, что в Шалоне объявился Людовик XVII, дошли до Парижа. Этой историей заинтересовался всемогущий и всезнающий министр Фуше. Неужели и он поверил самозванцу? Разумеется, нет. Кто-то, а Фуше был уверен, что, если бы настоящий дофин

спасся, уж ему-то, министру полиции, донесли об этом его бесчисленные осведомители. Фуше не сомневался, что подлинный Людовик XVII мертв, тем не менее он приказал арестовать Эрваго и доставить его в Париж. Зачем? Есть известие, что Фуше собирался предложить Наполеону, тогда еще первому консулу Французской Республики, следующий хитроумный план: публично признать самозванца истинным Людовиком XVII, а затем объявить, что он отрекается от своих прав на престол в пользу Наполеона. Таким образом первый консул стал бы монархом, но при этом была бы соблюдена видимость преемственности и законности. В то время (дело было в 1802 году) Наполеон уже подумывал о том, чтобы надеть королевскую корону, но затея Фуше ему не понравилась: он счел ее унижительной для себя. В итоге Эрваго так и не пригодился сильным мира сего. В Париже его судили и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Но, видимо, с ним все-таки успели провести предварительные переговоры еще до того, как Наполеон отверг предложение Фуше. Похоже, Эрваго или знал, или, по крайней мере, догадывался о планах министра полиции. Поэтому, когда в 1806 году самозванец, отсидев положенное, освобожден из заключения, Фуше на всякий случай решил спровадить его подальше от Франции. Он распорядился отдать Эрваго в солдаты и в составе колониального батальона отправить за океан, в Канаду.

Батальон отплыл на фрегате «Кибела». Капитану корабля дано было секретное предписание: расстрелять Эрваго, если в пути возникнет угроза нападения английских военных кораблей. Фуше опасался, что самозванец попадет в плен и откроет англичанам то, чего им знать не следует.

Эта мера предосторожности оказалась не напрасной: британское сторожевое судно атаковало «Кибелу», едва она вышла в открытое море. Сам того не зная, Эрваго был на волосок от гибели, но его спасла собственная храбрость. С первых же минут сражения он проявил чудеса отваги, и совесть не позволила капитану расстрелять смельчака. Но и ходатайствовать о награде для Эрваго он тоже не посмел, решительно вычеркнув его имя из списка тех, кто был представлен к ордену Почетного легиона. Иначе капитан поступить не мог, не то выяснилось бы,

что он пренебрег инструкцией, в которой ему предписывалось расстрелять Эрваго еще до начала сражения.

В Канаде «дофин» заболел и в 1809 году вернулся во Францию. Никаких средств к существованию у него не было. Он попробовал взяться за старое, но теперь ему не верили: тюрьмы, морские ветры и перенесенные лишения наложили на его лицо неизгладимую печать, трудно было заподозрить в этом бродяге сына Людовика XVI. Эрваго странствовал из города в город, пока его не арестовала полиция в Руане. При обыске у него нашли четыре стихотворных памфлета, «оскорбительных для его императорского величества», то есть Наполеона. Как «дофин» Эрваго, разумеется, был сторонником свергнутых Бурбонов и свою неприязнь к узурпатору французского престола выразил в язвительных стихах. Это его и погубило. Он вновь был засажен в тюрьму, из которой уже не вышел. Бедный «дофин» умер в мае 1812 года, не дожив до тридцати лет. До последней минуты он продолжал играть свою роль и, умирая, на предсмертной исповеди сказал священнику, что тот отпустил грехи не кому-нибудь, а сыну Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Кто же он был? Обычный мошенник? Или трагическая личность, бунтарь, пытавшийся вырваться из тесного русла предначертанной ему судьбы? Или прирожденный актер, не нашедший себе применения на сцене и превративший в театр собственную жизнь? Или, может быть, психически больной человек, одержимый манией величия?

Вероятно, мы не ошибемся, если скажем, что Жан-Мари Эрваго был един в этих четырех лицах, как и многие другие талантливые самозванцы.

3

Как ни странно, самый знаменитый из всех Людовиков XVII не только не был французом, но даже плохо говорил по-французски. Когда в 1833 году он впервые появился на берегах Сены, парижане с трудом понимали его чудовищный выговор. Этот человек пришел в Париж пешком, в лохмотьях, с узелком, в котором помещалось все его имущество, без гроша в кармане, так

что не мог заплатить за комнату в самой дешевой гостинице и первое время вынужден был ночевать на улице. Он голодал, спал прямо на земле, между могильными плитами на кладбище Пер-Лашез, но вскоре его судьба волшебным образом переменялась. Прошло несколько месяцев, и нищий бродяга, иностранец, не имевший в Париже ни одной знакомой души, сумел привлечь к себе внимание всей Франции, а затем и всей Европы.

Этого человека звали Карл-Вильгельм Наундорф, он был немец. Его происхождение неизвестно, история его жизни покрыта туманом вплоть до 1810 года, когда он неведомо откуда прибыл в Берлин и начал заниматься ремеслом часового мастера. Еще через два года часовщик Наундорф переселился в прусский городок Шпандау, где тихо и незаметно прожил почти десять лет.

Над Европой шумели последние грозы Наполеоновской эпохи. Бородино, пожар Москвы, «Битва народов» под Лейпцигом. Союзники вошли в Париж, посадив на французский престол короля Людовика XVIII; Наполеон бежал с Эльбы, на сто дней его звезда вновь засияла над Францией и навсегда закатилась после Ватерлоо. Все это никак не коснулось Наундорфа: он ремонтировал и мастерил часы — в основном стенные, с музыкой, а также изготавливал музыкальные шкатулки. Руки у него были золотые. Особенно ценили его искусство местные дамы, поскольку часовщик был очень хорош собой, к тому же холост.

В 1818 году Наундорф женился на шестнадцатилетней Иоганне Эйнерт, дочери ремесленника, мастерившего курительные трубки. Когда счастливый муж после свадьбы ввел молодую жену к себе в дом, та была поражена подготовленным для нее сюрпризом: пол в комнате покрывал слой дерна, из него торчали маленькие деревца, на них висели птичьи гнезда, а в гнездах сидели ручные птицы, которые время от времени вспархивали, пролетали над головами новобрачных и радовали их своим пением. Надо сказать, Наундорф вообще был великий мастер на такого рода выдумки. Фантазии ему было не занимать, причем он умел воплощать в жизнь самые, казалось бы, невероятные замыслы.

В 1821 году, когда Наполеон умер на острове Святой Елены, Наундорф с семьей из маленького Шпандау перебрался в Бранденбург, где было гораздо больше жи-

телей, а следовательно, и заказчиков. К тому времени жена уже успела родить ему троих детей — мальчика и двух девочек. Наундорф боготворил жену и обожал малюток. По отзывам всех, кто его знал, он был на редкость нежный муж и отец.

Поначалу его дела шли отлично, за три года Наундорф сумел скопить денег на покупку дома в Бранденбурге. Тут-то и начались неприятности.

Купив дом с аукциона, в рассрочку, Наундорф по закону сделал первый взнос в кассу городского суда. Требуемая сумма была внесена серебряными прусскими талерами, а вечером того же дня — о, ужас! — к нему домой нагрянула полиция. Оказалось, что некоторые из уплаченных им талеров — фальшивые.

На глазах потрясенной жены и плачущих детей полиция произвела обыск, и хотя не найдено было ни фальшивых монет, ни приспособлений для их чеканки, Наундорфа арестовали. Он влип в дурную историю: сидевший в местной тюрьме фальшивомонетчик, некий Энгель, указал на него как на своего сообщника. Позднее сам же Энгель признался, что это ложь, что он указал на Наундорфа, чтобы свалить на него часть вины, тем не менее дело было передано в суд.

На допросе Наундорф сказал, что он родом из Веймара. Неизвестно, почему следователям показался подозрительным такой ответ на вопрос о месте рождения, но они направили запрос в Веймар и выяснили следующее: ни в одном из тамошних церковных приходов не отмечено появление на свет младенца Карла-Вильгельма Наундорфа, и вообще ни один человек с такой фамилией никогда в Веймаре не проживал. Значит, подсудимый солгал? Почему? Не потому ли, что ему есть что скрывать? Но что?

За попытку ввести суд в заблуждение Наундорф был наказан пятнадцатью ударами плети. Ему грозила тюрьма, и тогда он заявил, что готов рассказать всю правду о своем происхождении, но только не публично. Пусть ему дадут бумагу и чернила, и он напишет все как есть.

Его просьбу исполнили; спустя пару дней удивленный судья, прочитав исповедь Наундорфа, узнал, что настоящее имя подсудимого — Людовик Бурбон, что он принц, сын французского короля Людовика XVI, и родился, разумеется, не в Веймаре, а в Париже. Во время

революции его переправили в Америку, потом он пережил множество приключений, пока не попал в Пруссию, где один добрый человек обучил его ремеслу часовщика. Сначала он поселился в Берлине, потом... Впрочем, дальнейшее нам уже известно.

Наундорф надеялся, что такое «признание» спасет его от тюрьмы, но вышло как раз наоборот: судья, раздраженный этой фантастической историей, решил, что его дурачат. Чтобы объявить подсудимого фальшивомонетчиком, улики явно не хватало, тем не менее Наундорфа приговорили к трем годам тюрьмы — за дачу ложных показаний о своем происхождении. Это приравнивалось к лжесвидетельству и рассматривалось как преступное намерение обмануть суд.

Лишь весной 1828 года Наундорф вышел на свободу, но на этом его несчастья не закончились. Отныне ему запрещено было жить в Бранденбурге, и он с семьей вынужден был покинуть город. Берлин и некоторые другие крупные города тоже не дали вышедшему из тюрьмы «преступнику» вида на жительство. Денег не было, Наундорф с больной женой и тремя детьми, из которых старшему было семь лет, два месяца скитался по Германии, ночуя порой под открытым небом. Сердце его обливалось кровью при взгляде на голодных плачущих детей. Наконец Наундорфу было разрешено поселиться в Кроссене, крошечном городке в прусской Силезии. Но и здесь его не оставили в покое: советник городского магистрата Петцольд получил приказ установить наблюдение за освобожденным «преступником».

Желая узнать, в чем состоит преступление этого милейшего человека и добропорядочного семьянина, Петцольд запросил из Бранденбурга копию решения тамошнего суда. Прочитав присланные бумаги, он был поражен. Как? Дофин-часовщик? Сын Людовика XVI и Марии-Антуанетты живет в Кроссене и ремонтирует часы? Петцольд по душам переговорил со своим поднадзорным и... поверил ему всем сердцем. Да мало того что поверил! Он начал действовать. В Кроссене сроду не происходило ничего интересного, и Петцольд был в восторге уже от одного того, что волею судеб оказался участником великой исторической драмы. Он решил оповестить о случившемся весь мир, дабы мир признал

Наундорфа тем, кем он, по искреннему убеждению Петцольда, является. Пылкий советник городского магистрата направил послание королям Пруссии, Англии и Франции, императорам Австрии и России. Он заклинал их восстановить поправленную справедливость и публично признать тот непреложный факт, что живущий в Кроссене часовых дел мастер Наундорф является единственным законным претендентом на французский престол. Увы, страстные послания Петцольда остались без ответа. Европейские монархи не вняли его призывам и выказали полное равнодушие к судьбе своего несчастного собрата. Для них это было дело ясное. Ведь только в богом забытом Кроссене понятия не имели о том, что за последние двадцать лет года не проходило, чтобы где-нибудь не объявлялся очередной «Людовик XVII». Эту публику считали уже на десятки!

В Кроссене у Наундорфа появились горячие поклонники. Их не смущало даже то обстоятельство, что наследник Людовика XVI не знал ни одного языка, кроме немецкого. Очевидно, на этот счет у Наундорфа имелось какое-то объяснение, поскольку один из его приверженцев, директор местной гимназии, бесплатно стал давать ему уроки французского. К тому времени у Наундорфа родилось еще двое детей, ему шел уже пятый десяток, но он охотно засел за французскую грамматику. Петцольд его подбадривал. Надо, надо учиться родному языку. Как же иначе? Не то может выйти конфуз, ему же самому будет стыдно перед собственными подданными, когда наконец он явится на родину.

Петцольд не унимался. С просьбой о помощи он обращается к аккредитованным при прусском дворе послам королей Швеции, Дании, Саксонии, Баварии и пр. Петцольд бьет в набат, однако хитрые дипломаты зажимают уши и делают вид, будто ничего не слышат, или отделиваются пустыми отговорками. Лишь посланник Нидерландов без экивоков заявляет, что претензии очередного «Людовика XVII» — «сплошной вздор», причем не первой свежести.

Тем временем Наундорф тоже не сидел сложа руки: он составил свое подробное жизнеописание, известное под названием «Кроссенской исповеди». Это довольно объемистое сочинение, которое потребовало от автора

немалой усидчивости и серьезной подготовительной работы по сбору фактов, касающихся истории маленького французского принца¹. Но результат стоил трудов — из-под пера Наундорфа вышло что-то вроде захватывающего авантюрного романа в духе Александра Дюма.

Сюжет начинается с прибытия в Тампль, автор подробно рассказывает о смерти «отца» — Людовика XVI, о разлуке с «матерью», о сапожнике Симоне и его жене и т. д. Наконец, в одиночную камеру, где томится дофин, являются двое освободителей: они достают из-под кровати какой-то ящик, вынимают оттуда спящего мальчика и переносят на кровать, а дофина укладывают на его место. Очнувшись, он видит себя в опрятной комнате, за ним ухаживает прелестная девушка по имени Мария. Она и ее отец увозят принца в Италию, там они садятся на корабль и отплывают в Америку. Их также сопровождает некая женщина со своим мужем-часовщиком, который в Америке начинает обучать принца искусству часового мастера. Мальчик прилежно учится. Наконец, как водится, наступает день, когда мастер заявляет, что он больше ничему не может его научить. Вскоре учитель умирает, спустя некоторое время его верная жена следует за мужем. Дофин и Мария горько оплакивают этих простых честных людей. Они объединены общим горем, и над могилами часовщика и его супруги расцветает их роман. «Это была первая любовь, — пишет автор, — сладчайший из снов, рай земной, сад эдемский, доступный немногим из смертных!» Что может быть прекраснее!

Увы, счастье длилось так недолго! Внезапно в их дом врывается некий таинственный незнакомец в охотничьем костюме, которого они уже однажды видели в Италии — там он помог им сесть на корабль, отплывающий в Америку. Незнакомец страшно взволнован, он кричит, он требует, чтобы дофин, Мария и ее отец немедленно вышли из дома. Дофин едва успевает взять самое дорогое, что у него есть, — портреты родителей, Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В спешке они выбегают на улицу, еще ничего не понимая, и тут же гремит взрыв,

¹ Кстати, сюжет знаменитого романа Марка Твена «Принц и нищий» основан на легенде о «подмене», столь любимой многими самозванцами.

дом с грохотом взлетает на воздух. Но слава Богу, все целы. Сделав доброе дело, незнакомец куда-то исчезает, а дофин со своей возлюбленной и ее родителем садятся на корабль и покидают Америку. На берегу принцу грозит гибель от руки наемных убийц, но и на борту корабля тоже происходят ужасные вещи. Злодей-капитан подло убивает Марию и ее отца, дофина же под арестом везет во Францию и передает каким-то негодяям, которые с невероятной жестокостью колют и режут ему лицо. Они, разумеется, хотят сделать его непохожим на самого себя, чтобы никто не узнал в нем королевского сына. Но, к счастью, это им не удается: раны заживают, и к дофину возвращается его прежний облик.

Тут вновь появляется все тот же загадочный незнакомец в охотничьем костюме, его ангел-хранитель. Он увозит дофина в Германию, ко двору герцога Брауншвейгского. Тот немедленно признает в нем сына Людовика XVI и выделяет ему почетный эскорт. Но герцог в то время участвует в войне с Наполеоном, французские кавалеристы нападают на принца с его свитой. В схватке убит «человек в охотничьем костюме», сам принц ранен и взят в плен. Его отправляют на каторгу в Тулон. Спустя некоторое время он бежит, пробирается в Германию, по дороге встречает какого-то юношу. Сострадавая беглецу, тот отдает ему свой паспорт на имя Карла-Вильгельма Наундорфа. С этим паспортом дофин прибывает в Берлин и начинает зарабатывать себе на хлеб ремеслом часовщика, которое изучил в Америке.

Дальнейшее мы уже знаем: Шпандау, женитьба на Иоганне Эйнерт, Брауншвейг, ложное обвинение, тюрьма и, наконец, гостеприимный Кроссен.

Весной 1832 года в немецких газетах появляется объявление о том, что спасшийся от палачей Людовик XVII собственноручно описал свою жизнь, «полную страданий», и теперь ищет издателя, желая опубликовать это сочинение, дабы ему поверили. Заинтересованным лицам предлагалось обращаться в Кроссен, к советнику Петцольду, который является поверенным в делах Людовика XVII.

Издатели не спешили откликнуться на заманчивое предложение, но одно из таких объявлений в качестве курьеза перепечатала парижская газета «Конститусьоннель» в номере от 7 апреля 1832 года. Эта заметочка по-

палась на глаза адвокату Франсуа Альбуи, и он, в отличие от большинства, отнесся к ней вполне серьезно. Альбуи отправил письмо в Кроссен, приглашая «сына короля-мученика» поскорее вернуться на родину. Наундорф ответил, что возвращение во Францию потребует значительных затрат, а у него нет ни гроша. Тогда Альбуи, человек весьма скромного достатка, выслал ему на дорогу с трудом собранные 150 франков. Наундорф получил деньги, но не сразу тронулся в путь: ему помешала внезапная смерть Петцольда. Его верный помощник умер в марте 1832 года. В течение четырех лет он вел дела «Людовика XVII», который постепенно совсем забросил ремесло часовщика и жил на средства своего преданного сторонника. После смерти Петцольда «принц», похоже, растерялся, но затем понял, что отныне ему придется рассчитывать только на самого себя. Отказываться от своих претензий он не собирался. Оставив семье часть денег, присланных адвокатом Альбуи, Наундорф с дорожной палкой в руке, в единственном платье, с узелком, где лежало сменное белье, покинул Кроссен и пешком двинулся во Францию, чтобы отстаивать свое право если не на французский престол, к тому времени занятый королем Луи-Филиппом, то, по крайней мере, на титул наследного принца. Десять месяцев спустя, в мае 1833 года, он вошел в Париж.

4

Добравшись до Парижа, Наундорф отправил письмо Альбуи, который жил в провинции. Прошло несколько дней, прежде чем он приехал в столицу и разыскал голодного бездомного «принца». Тот с грехом пополам изъяснялся по-французски, но по «величественной осанке» Альбуи тут же признал в нем своего законного государя. Впрочем, для пушей уверенности он решил показать «сына» Людовика XVI кое-кому из тех, кто когда-то жил при королевском дворе и знал его еще ребенком.

Наиболее важной свидетельницей могла стать мадам де Рамбо, бывшая воспитательница дофина. Хотя ей теперь было почти семьдесят лет, а своего воспитанника она в последний раз видела сорок лет назад, когда маль-

чику шел седьмой год, ее признание было бы серьезным доводом в пользу подлинности «Людовика XVII».

Свидание состоялось в присутствии архивариуса Жоффруа, который оставил нам его описание.

Вначале мадам де Рамбо расспрашивала «дофина» о его детстве, о людях, входивших в число приставленных к нему лиц. Наундорф, по-видимому, хорошо подготовился к этой встрече и довольно четко отвечал на все вопросы. Затем мадам де Рамбо показала ему принесенный ею с собой портрет королевы Марии-Антуанетты. «Как только его пальцы коснулись рамки, — вспоминал архивариус Жоффруа, — он пришел в неопишемое волнение». Наундорф поднял на мадам де Рамбо увлажнившиеся глаза и проговорил: «У меня такое чувство, словно вы привели ко мне мою мать!» Тогда она достала детский костюмчик, который тоже принесла с собой, показала его Наундорфу и сказала, что сорок лет назад оставила этот костюмчик на память о нем. Узнает ли он его? Наундорф кивнул: да, конечно. Он взял костюм в руки и повторил, заметно волнуясь: да, он узнает его. Он должен был надеть его в Версаль, во время одного чудесного праздника, но так и не надел, потому что костюмчик оказался ему мал.

После этих слов, как пишет Жоффруа, мадам де Рамбо бросилась к ногам «принца». Она плакала слезами счастья и говорила: «Да! Это было в Версале, и вы не захотели его надеть!» Потом, обращаясь к присутствующим, она воскликнула: «Это он!»

«Радость обоих не поддается описанию», — замечает напоследок Жоффруа, сам до слез растроганный этой сценой.

Альбуи торжествовал: вслед за признанием мадам де Рамбо на ошеломленных парижан обрушился целый шквал подобных заявлений. Свидетели, подтверждавшие, что Наундорф — истинный дофин, пошли косяком. Это было похоже на снежную лавину.

Его признали бывший королевский гвардеец Сент-Имер, некогда охранявший апартаменты Людовика XVI, бывший привратник дворцовой часовни Марко, бывший министр де Жоли, бывший секретарь другого бывшего министра де Бремон и пр. Одному из них Наундорф рассказал о каких-то сооружениях в Версальском парке, которые были разрушены сразу же после казни

Людовика XVI в 1794 году. Другому сообщил о тайнике во дворце Тюильри, о котором будто бы знали только сам король, маленький дофин и еще двое-трое избранных. Очевидно, Наундорф хорошо изучил мемуарную литературу и в нужный момент умел блеснуть знанием подробностей той эпохи и той обстановки, что якобы окружала его в детстве. Кроме того, он обладал способностью почувствовать, что именно хочет услышать от него собеседник, и шел навстречу его ожиданиям или в чуть измененной форме повторял его же слова. Не стоит забывать и о том, что все те, кто видел дофина в детстве и теперь признали Наундорфа подлинным Людовиком XVII, были людьми весьма преклонного возраста. Кому-то из них уже изменяла память, кто-то обманывался искренне, а кто-то готов был обмануться или даже слегка покривить душой, чтобы на старости лет вновь очутиться в центре общественного внимания.

С каждым признанием Наундорф обретал все большую уверенность в себе. При его внешнем благообразии он быстро научился держаться по-королевски, величественно и вместе с тем доброжелательно, чем располагал визитеров в свою пользу. Его французский язык тоже стал гораздо лучше.

«Принц произвел на нас неизгладимое впечатление, — писала аббатиса одного из французских монастырей, — все в нем несло печать истинно королевского величия. И манерами, и поступью он напоминал своих предков...»

«Более честного лица я еще никогда не видел, — свидетельствует сын знаменитого писателя Жака Казотта, казненного во время якобинского террора. — У него благородная внешность и манеры. Речь его проста, но в каждое слово он вкладывает частицу той правды, что живет в глубине его души».

Между тем обладатель самого «честного лица» из всех, какие доводилось видеть Казотту, зажил в Париже просто сказочной для человека его происхождения жизнью. Из нищего бродяги, который ночевал между могильными плитами на кладбище Пер-Лашез, он превратился во всеевропейскую знаменитость. Добряк Альбуи, стоявший у истоков его головокружительной карьеры, получил отставку и вынужден был уехать из Парижа. У Наундорфа нашлись теперь куда более выгодные покровители. Они

сняли для «принца» роскошные апартаменты в Латинском квартале, дамы из числа его страстных поклонниц служили у него на побегушках. Каждый день приемную «Людовика XVII» заполняли толпы посетителей, среди которых немало было титулованных особ, людей с большими состояниями, громкими именами и обширными связями. Наундорф с ними не церемонился и за счастье лицезреть себя взимал определенную мзду. Иногда он брал деньгами, чаще — подарками в виде дорогих безделушек, произведений искусства, драгоценностей. Всем подношениям велся строжайший учет. Пожертвования текли рекой, но при этом Альбуи должен был уехать из Парижа из-за недостатка средств. Вероятно, Наундорф так и не удосужился вернуть ему те 150 франков, которые Альбуи по доброте сердечной выслал ему в Кроссен на дорогу до Франции.

Не довольствуясь ролью Людовика XVII, Наундорф стал выступать и в качестве духовидца. Он рассказывал, что еще в Кроссене перед ним предстал однажды ангел небесный, повелев ему поспешить во Францию, дабы спасти несчастную отчизну. Наундорф явно играл под Жанну д'Арк, которой нездешние голоса четыре столетия назад приказали сделать то же самое.

В Париже его посетил сам Иисус Христос, окруженный резвящимися в солнечных лучах херувимами, ангелы же являлись к нему толпами. Среди них — «ангел-покровитель Франции», горько упрекавший короля Луи-Филиппа за его неправильную внешнюю и внутреннюю политику. Поведение сторонников Наундорфа ангел, наоборот, всячески восхвалял и благословлял их на борьбу за правое дело, то есть за то, чтобы «принц» занял французский престол. Визиты небесных посланцев становились все более регулярными, и Наундорф исправно информировал своих приверженцев обо всем увиденном и услышанном.

В конце концов Луи-Филиппу надоел этот балаган. В 1836 году он распорядился арестовать «принца» и выпроводить его из Франции.

Само собой, Наундорф и не подумал возвращаться обратно в захудалый Кроссен. Хотя часть поступавших пожертвований он отсылал жене и детям, за три года ему удалось сколотить солидное состояние. Оно оценивалось приблизительно в 90—100 тысяч франков и по-

звояло ему безбедно прожить до конца своих дней в любой стране Европы. Наундорф выбрал Англию.

Его приверженцы и теперь не оставили изгнанного «принца» своими заботами. Их сердца и кошельки по-прежнему оставались открыты для него. Они наняли в Лондоне роскошный особняк, где Наундорф и поселился. Жена и пятеро детей прибыли к нему, дружная семья воссоединилась. Верная Иоганна, столько претерпевшая из-за мужа, могла отдохнуть от домашней работы: в лондонском особняке Наундорфов имелось достаточное количество прислуги, в том числе садовники, кучера, конюхи, лакеи. В Париже «принц» привык жить на широкую ногу и не собирался менять своих привычек.

К нему приезжало множество посетителей из Франции. Ангелы тоже быстро узнали его новый адрес и вновь зачастили к нему с визитами. Наконец на него снизошел Дух Святой, и под его диктовку Наундорф составил проект преобразования католической церкви. Проект был опубликован, и, хотя авторство принадлежало Святому Духу, а сам «принц» ограничился ролью переписчика, возмущенный ересью папа римский предал его анафеме.

Одновременно с планами переустройства церкви Наундорф занимался и вещами прямо противоположного свойства — экспериментировал с взрывчатыми веществами, реактивными снарядами, взрывателями и тому подобными дьявольскими штучками. В его лондонском особняке была оборудована целая лаборатория. Как мы уже упоминали, руки у «принца» были золотые, а склонность к изобретательству он проявлял с молодости. Изготовленные им часы славились разными хитроумными устройствами, да и в огнестрельном оружии Наундорф неплохо смыслил. Это был человек универсальных талантов и, надо отдать ему должное, личность явно незаурядная. Иначе он просто не сумел бы стать тем, кем стал.

Очень скоро опытами Наундорфа заинтересовались в военном министерстве Великобритании. Весной 1841 года в Вулвиче, под наблюдением особой комиссии высокопоставленных артиллерийских офицеров, состоялось испытание «сверхмощного реактивного снаряда», начиненного взрывчатой смесью совершенно нового состава. Наундорф назвал свое изобретение «огненным смерчем». Суть его состояла в том, что и снаряд, и пуля, начиненные

этой адской смесью, взрывались в тот момент, когда настигали цель. Для того времени это было колоссальное новшество, и англичане оценили его по достоинству. Тем более что испытания прошли как нельзя более успешно. «Мы были свидетелями ужасного действия этого грозного механизма, — писал приглашенный на испытания корреспондент «Морнин эдвертайзер», — и сами едва не стали жертвами его невероятной разрушительной силы».

Однако Наундорф не пожелал продать свое изобретение англичанам — извечным соперникам Франции. Впрочем, обидевшись на короля Луи-Филиппа, с французскими генералами он тоже не захотел иметь дела. Вскоре «принц» подписал контракт с голландцами, по которому получил 150 тысяч франков единовременно и должен был получать еще по 40 тысяч в год до конца жизни. Вместе со старшим сыном он из Лондона переехал в Дельфт и здесь изобрел разрывной снаряд, названный им «бомбой Бурбона». Между прочим, бельгийская армия использовала эту «бомбу» еще в 1914 году, в начале первой мировой войны.

Голландский генерал ван Мерс, будущий военный министр, как говорится, не мог надышаться на «принца»-изобретателя. Он навещал его ежедневно и подолгу просиживал у его постели, когда в 1845 году Наундорф тяжело заболел. Правительство Нидерландов направило к нему лучших врачей, но состояние больного стремительно ухудшалось. Он бредил, не узнавал собственных детей, но вновь и вновь повторял в бреду имя Людовика XVI и молил Бога, чтобы на небесах ему позволено было соединиться с покойными родителями. «Это продолжалось у него до последнего вздоха», — свидетельствуют находившиеся при нем врачи.

Наундорф умер 10 августа 1845 года. Похоронили его в Дельфте. На могильном камне была выбита следующая надпись:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ЛЮДОВИК XVII,
ГЕРЦОГ НОРМАНДСКИЙ,
КОРОЛЬ ФРАНЦИИ И НАВАРРЫ.
РОДИЛСЯ В ВЕРСАЛЕ
27 марта 1785 года.
СКОНЧАЛСЯ В ДЕЛЬФТЕ
10 августа 1845 года

Надпись была сделана по заказу семьи, получившей на это разрешение правительства Нидерландов. Та же самая формулировка присутствовала и в официальном свидетельстве о смерти.

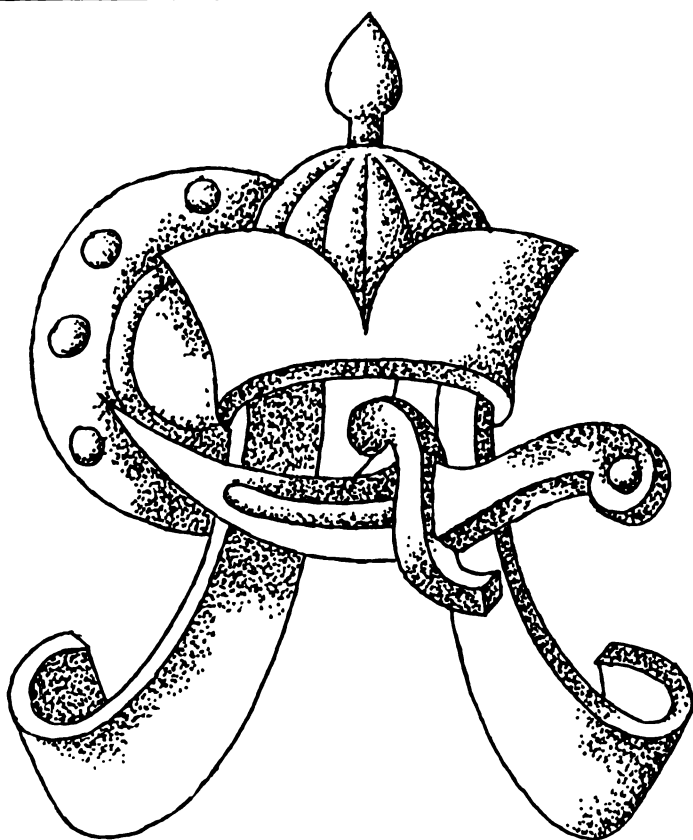
Так был ли Наундорф самозванцем?

Многие современники считали его подлинным дофином, сыном Людовика XVI, да и поныне существуют убежденные сторонники этой версии. В первую очередь они указывают на тот несомненный факт, что в жизни Наундорфа имеется некая тайна.

Действительно, мы так до сих пор и не знаем, где он родился, откуда пришел в Берлин в 1810 году, почему на суде скрывал свое прошлое. Есть и другие доводы в пользу его истинно королевского происхождения. Но все они разбиваются о такое, например, письмо, которое Наундорф из Парижа отправил жене в Кроссен:

«Все, что находится в коробочке № 162, — это тебе. Пусть золотые часы с цепочкой и ключиком из чистого золота говорят тебе, что я по-прежнему тебе верен, и верность моя непоколебима, как скала. В другой коробочке — серьги и колечко. Надень его, оно украсит твою натруженную руку... В следующей коробочке, во-первых, 250 золотых экю, а также семь золотых луидоров времен царствования моего почтенного родителя. Сохрани их, а если возникнет необходимость истратить, проси за каждый не менее 13 прусских талеров. Здесь луидор стоит 15 прусских талеров...»

Подобных писем — масса. Все они выдают в Наундорфе любящего и заботливого супруга, нежного отца семейства, добропорядочного немецкого бюргера, человека сентиментального, но при этом неизменно помнящего, что денежки любят счет, — словом, кого угодно, только не гордого потомка французских королей.



ЛАМА С МАУЗЕРОМ,
ИЛИ ВОЗРОЖДЕННЫЙ АМУРСАНА-ХАН

На Западе и в России самозванец должен был соблюдать, по крайней мере, два условия: быть приблизительно одного возраста с тем, за кого он себя выдает, и уметь относительно складно объяснить, почему смерть этого человека является мнимой.

Но на буддийском Востоке эти два непреложных, казалось бы, условия вовсе не были обязательны. При вере в переселение душ любой человек, пусть даже и умерший много лет назад, мог возродиться в любом из ныне живущих.

Тем не менее самозванцы случались и среди буддистов. Ими становились те, кто объявлял себя чьим-нибудь перерождением, преследуя при этом сугубо личные или политические цели.

В начале XX века такой фигурой стал легендарный Джа-лама, сумевший уверить монголов, что в нем воплотился их любимый национальный герой — князь Амурсана.

1

В 1755 году джунгарский князь Амурсана поднял восстание против китайцев, к тому времени подчинивших себе большую часть Монголии, нанес им несколько поражений, но затем был разбит, бежал на север, в Россию, и вскоре умер от оспы в Тобольске. Ближайший

соратник Амурсаны, Шидр-ван, попал в плен, его увезли в Пекин, где и удавили в тюрьме. Согласно легенде, через какое-то время у китайского императора родился сын, и родители с ужасом обнаружили красную полосу, идущую вокруг шеи новорожденного: это неоспоримо свидетельствовало, что в нем возродился задушенный Шидр-ван. Устрашившись, император повелел предать смерти собственного сына. Тело младенца по кусочкам выщипали сквозь дырку в монете-чохе, но прошел год, императрица вновь родила мальчика, и теперь кожа по всему его телу оказалась пестрой, покрытой следами прежней казни. Иными словами, история повторилась, Шидр-ван вторично возродился в наследнике яшмового престола, но на этот раз ребенок был убит с помощью лам-колдунов и больше уже не возрождался. Однако над Амурсаной, умершим в Тобольске, за пределами досягаемости придворных чародеев, соответствующие заклинания не были произнесены, его дух сохранил способность к новым перерождениям.

Чем тяжелее становилась для монголов власть Пекина, тем больше легенд окружало имя Амурсаны. Хотя реальный Амурсана поначалу сотрудничал с китайцами и маньчжурами, ища у них поддержки в борьбе за ханский престол, в мифах о нем все это было забыто. Помнили только, что он боролся с завоевателями, и свято верили, что когда-нибудь Амурсана вернется с севера во главе огромного войска и освободит народ от китайского владычества. Считалось, что со времени своей смерти в 1757 году он постоянно перерождается и живет в России — то на Волге, то на Урале или в Сибири, но настанет день, когда переполнится чаша народного терпения. Тогда он и придет на свою многострадальную родину, после чего монголы заживут «богато и счастливо, и никто не будет обижать друг друга». В общем, от Амурсаны ожидали многого, в том числе поголовного истребления всех живущих в Монголии китайцев.

Каждый год, когда русские скотопромышленники на зиму уезжали из Монголии в Сибирь, а весной возвращались обратно, монголы спрашивали у них, не слышно ли в России каких-нибудь известий об Амурсане. В самом деле, ему пора было уже и явиться, ибо к началу XX века положение Монголии под властью Пекина

стало катастрофическим. Нарастал поток китайских переселенцев, пастбища распахивались под посевы чумизы и гаоляна. Поборы пекинских чиновников перешли все мыслимые пределы. При торговых операциях обмануть простодушных кочевников не составляло труда, процветало ростовщичество. Практически все монгольское население оказалось в долговом рабстве у китайских фирм.

Казалось, потомки воинов Чингисхана, когда-то покорившие полмира, обречены на вырождение. Но внезапно все переменялось: в конце 1911 года, очнувшись от двухсотлетнего сна, Монголия провозглашает свою независимость, монгольский первосвященник Богдо-гэгэн VIII, «живой Будда», торжественно восходит на престол нового государства. Даже летосчисление монголы начинают вести со дня его коронации: страна вступает в Эру Многими Возведенного, то есть всенародно избранного монгольского монарха.

Но вскоре, опомнившись, Пекин начинает войну против мятежников. Изгнанные из столицы Монголии — Урги, китайские войска сосредоточиваются на западе страны, их опорной базой становится старинная крепость Кобдо. Постепенно к ее стенам стягиваются отряды монгольского ополчения, начинается долгая и трудная осада.

И вот тогда-то или чуть раньше по степи проносится слух: Амурсана вернулся! Радостное известие передают из улуса в улус, из кочевья в кочевье: да, он здесь, он пришел на помощь своему несчастному народу, и теперь окончательная победа уже не за горами.

В 1912 году русский скотопромышленник Бурдуков, живший неподалеку от Кобдо, приехал в ставку одного из местных князей, где впервые увидел возрожденного Амурсану. Это был «человек плотного атлетического сложения, лет 40—45, с круглым энергичным скуластым лицом, развитым лбом, сверкающими глазами, с чуть заметно поврежденным носом». Одет он был в бордовый халат, какие носят тибетские ламы, но из-под халата виднелся ворот русского военного мундира. Наряд весьма странный, как и то, что этот тибетский лама, словно забыв основополагающую буддийскую заповедь «Щади все живое», не расставался с маузером.

«Его речь и движения были необычайно быстрыми и уверенными, — вспоминал Бурдуков. — В юрте все время толпились любопытные, некоторые подходили к нему под благословение; он уверенно шлепал их по голове маленькой книжечкой, извлеченной из-за пазухи. Во всех его действиях чувствовался опытный агитатор, привлекающий на себя таинственность, неизбежно привлекающую наивных степняков».

Очень скоро он стал известен всей Монголии под именем Дамби-Джамцан-ламы, хотя чаще его называли просто Джа-ламой. Именоваться Амурсаной ему было вовсе не обязательно, ибо он является не им самим, а его перерождением, телесным вместилищем его неукротимого духа.

Впрочем, настоящего имени этого человека никто не знал, да и вся его предшествующая жизнь до сих пор покрыта мраком. По одним сведениям, он — астраханский калмык Амур Санаев, по другим — торгоут¹ Палден. Но обе версии его происхождения сходились в одном: родился Джа-лама в России. Рассказывали, будто мальчиком он попал в Монголию, стал послушником монастыря Долон-Нор, затем в числе наиболее способных был отправлен в Тибет, где много лет провел в знаменитой обители Дре-Пунья в Лхасе. Он бывал в Индии, основательно изучил буддийскую метафизику, но однажды, якобы в пылу богословского диспута не найдя нужных аргументов, пришел в ярость и с такой силой ударил своего оппонента по голове, что тот упал замертво. Джа-ламу немедленно арестовали, однако ему удалось бежать; всю зиму он прятался в горах; а весной двинулся на север и в конце концов добрался до Пекина. Будто бы благодаря знанию тибетского и монгольского языков ему посчастливилось пристроиться на службу в один из ямыней², где составляли календари для подвластных китайскому императору народов. Несколько лет Джа-лама прожил в Пекине, женился на китайке, но в один прекрасный момент вновь сменил халат императорского чиновника на платье бродячего монаха,

¹ Торгоуты — одно из племен Западной Монголии.

² Ямынь — государственное учреждение в Китае, Тибете и Монголии.

бросил жену и растворился в необозримых просторах Центральной Азии.

В 1890 году он объявился в Монголии, выдавая себя еще не за самого Амурсану, а за его внука по имени Тэмурсана. Монголы мгновенно ему поверили. Напрасно русские поселенцы пытались доказать им, что у Амурсаны, умершего в 1757 году, никак не может быть внука, которому в то время, то есть в 1890 году, было бы около 30 лет (примерно в этом возрасте был тогда Джа-лама). Монголы оставались совершенно глухи к такого рода аргументам. Математические подсчеты их нимало не убеждали, поскольку «Тэмурсана» говорил именно то, что они хотели от него услышать: призывал к восстанию против китайцев. Будто бы у него имелся даже какой-то сундучок с прокламациями. Китайский наместник отдал приказ об аресте смутьяна. Однако Джа-лама недолго просидел под стражей. Его выпустили, и он бесследно пропал на двадцать лет, чтобы вновь появиться в Монголии в 1912 году, в тот момент, когда будущее страны решалось под стенами Кобдо.

2

Очень скоро Джа-лама приобрел колоссальное влияние на монголов. Недоброжелатели считали его мангысом — злым духом, друзья — святым, но те и другие видели в нем если не сверхъестественное существо, то, во всяком случае, человека, тесно связанного с потусторонними силами.

Буквально в течение двух-трех месяцев его имя обросло самыми невероятными слухами, самыми фантастическими легендами. Ему приписывали неуязвимость, умение становиться невидимым для врагов, способность одновременно появляться в разных местах и прочие чудесные достоинства, которыми награждают своих любимцев народы, еще не разучившиеся творить мифы.

Вот, к примеру, одна из рассказываемых о нем историй.

Будто бы однажды, преследуемый несколькими всадниками, Джа-лама очутился на берегу озера Сур-Нор. Деваться ему было некуда: впереди расстилалась водная

гладь, сзади — погоня. Монголы из находившегося поблизости небольшого кочевья с замиранием сердца ждали, что сейчас Джа-лама будет схвачен и убит. Но внезапно случилось чудо: не доезжая до Джа-ламы, всадники вдруг свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать к нему, галопом бросились к другому концу озера. «Он там! — кричали они. — Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них, и всадники, разделившись, поскакали в разные стороны. Потом они опять съехались все вместе и с воинственными криками напали друг на друга, поражая один другого. При этом каждому казалось, что он убивает Джа-ламу, который тем временем спокойно стоял в нескольких шагах. Враги его не замечали, их безумная схватка продолжалась до тех пор, пока все они не пали мертвыми.

А польский литератор Оссендовский лично убедился, что Джа-лама обладает уникальным даром гипнотизировать окружающих. В его присутствии он подозвал к себе слугу-пастуха и, раздвинув отвороты тулупа у него на груди, с силой вонзил в нее нож. Пастух упал навзничь, обливаясь кровью. Затем его грудь была рассечена еще несколькими ударами ножа, так что стали видны дышащие легкие и бьющееся сердце. Но едва Джа-лама коснулся раны пальцем, как кровотечение остановилось, края раны мгновенно срослись, не оставив ни малейшего шрама. Теперь пастух спал со спокойным лицом, и лишь тулуп у него на груди оставался расстегнут. «Я понял, — пишет Оссендовский, — что стал жертвой внушения».

Возможно, сам он ничего подобного и не видел, но этот эпизод в его книге возник не на пустом месте: многие утверждали, что сила воздействия Джа-ламы на монголов была сродни гипнотической. Ослушаться его приказов не смел никто. Его не просто уважали и не просто боялись — перед ним трепетали в суеверном ужасе. Именно поэтому он в короткий срок сумел организовать и, по сути дела, возглавить пятитысячное монгольское ополчение, собравшееся под стенами Кобдо.

Взять эту крепость было непросто, особенно для монголов, которые давно отвыкли воевать, не признавали никакой дисциплины и, главное, способны были сражаться только в седле. К тому же большинство по-

просту не умело обращаться с огнестрельным оружием, так что на первых порах осажденные чувствовали себя уверенно, надеясь дожидаться подкреплений из соседнего Синьцзяна¹.

Кобдо был обнесен мощными каменными стенами высотой пять-шесть метров, с башнями. Хотя гарнизон крепости был невелик, теперь он сильно увеличился за счет сбежавшихся под защиту ее стен китайцев из окрестных поселений. Правда, не считая копий, алебард и луков со стрелами, на вооружении состояли только старинные фальконеты — допотопного образца гладкоствольные ружья с фитильным запалом, которые при стрельбе устанавливали на сошках. Малые фальконеты стреляли пулями калибром 20—30 мм, большие — до 50. При каждом из них состоял расчет из двух-трех человек, ибо в одиночку совладать с этим музейным оружием было невозможно. По сравнению с ними даже русские берданки, которыми вооружены были монголы, казались образцом технического совершенства.

Артиллерии не было ни у тех, ни у других. Какой-то китайский ремесленник, проявив чудеса изобретательности, смастерил деревянную, скрепленную железными обручами пушку. Выглядела она весьма устрашающе; китайцы возлагали на нее большие надежды, но, к радости монголов, это грозное орудие, торжественно установленное на одной из крепостных башен, разорвалось при первом же выстреле, убив самого изобретателя и нескольких его помощников.

Тем не менее монголы боялись приближаться к стенам крепости, осада шла вяло. Предложение о капитуляции было решительно отвергнуто китайским наместником-амбаном, и еще неизвестно, как бы обернулось дело, если бы всадникам Джа-ламы не удалось разгромить крупный отряд, двигавшийся из Синьцзяна на выручку осажденным. Это подняло его авторитет на недосягаемую для других монгольских военачальников высоту и одновременно заставило монголов поверить в свою силу.

Наконец, было перехвачено отправленное китайцами

¹ Синьцзян — китайская провинция к западу от Монголии, населенная главным образом казахами и уйгурами.

донесение о том, что в крепости осталось боеприпасов всего на 40 тысяч выстрелов. Лишь тогда монголы решились на штурм Кобдо.

Чтобы заставить осажденных израсходовать как можно больше зарядов, они пошли на хитрость. Ко дню штурма собрали в свой лагерь несколько десятков старых больных верблюдов, которыми не жаль было пожертвовать ради победы. Как только наступила ночь, этих верблюдов погнали к стенам крепости. К хвостам их прикрепили зажженные факелы. Пламя подгоняло вперед обезумевших от страха животных, и оно же вместе с верблужьим топотом и ревом создавало впечатление, что на приступ движется огромное войско. В темноте, видя перед собой только мечущиеся огни факелов, слыша воинственные крики немногих погонщиков, китайцы открыли по верблюдам ураганный огонь, впустую расходуя драгоценные боеприпасы. Когда они поняли свою ошибку, было уже поздно. Зарядов почти не осталось, и это облегчило монголам начавшийся на рассвете штурм Кобдо.

Рассказывали, будто перед атакой на городские укрепления Джа-лама решил укрепить мужество своих воинов и обратился к ним со словами: «Не бойтесь смерти! Она — освобождение от наших страданий на земле и путь к достижению вечного блаженства!» Затем он указал рукой на восток и спросил: «Видите ли вы ваших братьев, которые уже пали в бою за свободу Монголии?»

И монголы якобы закричали в ответ: «Да, мы их видим!»

Будто бы все они, зачарованные гипнотической силой Джа-ламы, увидели перед собой какой-то великолепный шатер, наполненный неземным светом, украшенный полотнищами из красного и желтого шелка. На мягких подушках восседали монголы, павшие в боях под Кобдо. Перед ними на столах стояли блюда с дымящимся мясом, чаши с чаем и кумысом; лежало печенье, сушеный сыр, изюм, орехи. Погибшие воины курили золоченые трубки и весело беседовали друг с другом.

Монголы якобы настолько были вдохновлены этим волшебным видением, что устремились на приступ с безрассудной отвагой и яростью, не страшась вражеских пуль, и неудержимой лавиной ворвались в город.

Вряд ли все обстояло именно так, но в тот день Кобдо был взят штурмом, разграблен и сожжен, защитники крепости перебиты или захвачены в плен. Китайскому владычеству в Монголии пришел конец, во многом благодаря организаторскому таланту возрожденного Амурсаны и тому влиянию, которое он имел на монголов.

3

Имя Джа-ламы внушало страх не одним китайцам. По всей степи от Синьцзяна до Великой Китайской стены оно произносилось шепотом, особенно с тех пор, как после взятия Кобдо он возродил чудовищный по своей жестокости обычай освящения знамен.

Этот древний, давно забытый монгольский обычай требовал иметь на знаменах особые магические иероглифы, написанные человеческой кровью. Считалось, что войску под такими знаменами гарантировано покровительство сверхъестественных сил. Наверное, полтора столетия назад подобные варварские церемонии совершал Амурсана, и теперь в присутствии тысяч зрителей Джа-лама решил сделать то же самое.

Это уже не вымысел и не легенда: кровавый ритуал был совершен не во времена Чингисхана или даже Амурсаны, а в августе 1912 года. Свидетелей тому — множество.

Во время штурма Кобдо монголы захватили тридцать пять китайских торговцев, которые пытались бежать, но были пойманы. Им-то и предстояло своей кровью освятить победоносные монгольские знамена.

Вечером их пригнали на берег реки Буянту-Гол, к одиноко стоявшему буддийскому храму, сложенному из белого камня. Возле храма зажгли громадный костер; ламы, созывая народ, затрубили в раковины и трубы из человеческих костей, ударили в обтянутые человеческой кожей маленькие барабанчики-дамары. Когда Джа-лама в монашеском одеянии громко начал читать молитву, толпу охватил священный трепет. В этот момент он был не только умершим в 1757 году джунгарским ханом, но и воплощением одного из самых грозных буддийских

божеств — Махакалы, беспощадного стража и хранителя «желтой религии».

Затем вывели связанных китайцев. Они должны были пасть на колени перед божеством, то есть Джа-ламой, и молить о пощаде, но это была всего лишь обязательная часть ритуала: рассчитывать на милосердие «Махакалы» им не приходилось. Никакие стенания и вопли его не смягчили, пленников погнали в долину, к тому месту, которое после молитв и гаданий указал сам Джа-лама. Другие ламы и толпы монголов двинулись вслед за ними.

Снова был зажжен костер, опять завывли трубы и раковины, загрохотали барабаны. Каждого пленника раздели донага, руки и ноги заломили за спину, голову откинули назад и за косицу привязали к стянутым вместе рукам и ногам — так, чтобы грудь жертвы торчала вперед. Наконец от группы лам, бормочущих молитвы и заклинания, отделился Джа-лама. В левой руке он держал короткий серпообразный жертвенный нож.

Разом все смолкло. Мертвая тишина воцарилась над заполненной тысячами людей ночной долиной. Потом ее разорвал пронзительный предсмертный крик.

Подняв нож, зажатый в левой руке, Джа-лама вонзил его в грудь жертвы, а правой мгновенно вырвал из-под ребер еще трепещущее сердце. Хлынувшую из него кровь тут же собрали и написали ею магический иероглиф на полотнище первого из приготовленных для освящения знамен. Сердце опустили в габалу — священный сосуд из опилок и оправленного в серебро человеческого черепа. Все это происходило под жуткую музыку храмовых инструментов, под зловещие песнопения лам и дикие вопли доведенной до экстаза толпы.

Страшную участь первой жертвы разделили еще пятеро китайцев. Их кровью расписали еще пять знамен, но тут к месту этой отвратительной церемонии прискакал князь Гинден-гун с многочисленным хорошо вооруженным конвоем. Он распорядился прекратить жертвоприношение, которое совершается «против законов и обычаев желтой религии».

Один из сподвижников Джа-ламы возразил ему: «Перерожденный Амурсана исполняет жертвоприношение по стародавнему обычаю, как его передают неписа-

ные тайные предания. Его приказ для нас — главный! Он поступает так, как должно поступать Махакале с врагами желтой религии!»

Толпа заревела в знак согласия с говорившим, но Гинден-гун выхватил браунинг и приказал освободить оставшихся в живых китайцев. Они были отняты у Джа-ламы, но в начавшейся схватке их спаситель поплатился жизнью: чья-то пуля попала ему в грудь. После этих событий у возрожденного Амурсаны наряду с пламенными приверженцами появились и заклятые враги.

Власть и влияние Джа-ламы основывались на мистическом страхе перед ним. Утверждали, что ему покровительствуют духи, что во время своих странствий он побывал в самой Шамбале — таинственной стране праведников и магов, расположенной в недрах земли где-то под Гималаями, а сам Джа-лама умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Порой — анекдотическим, с точки зрения европейцев, образом. Как-то, например, все тот же упомянутый выше Бурдуков по ошибке сфотографировал Джа-ламу на уже использованной пластине, на которой раньше жена сняла его самого. Два кадра совместились, и при проявлении снимка изображение Бурдукова очутилось на правом рукаве изображения Джа-ламы. Тот попросил напечатать для него эту бракованную фотографию, взял ее и показывал монголам как доказательство еще одного из сотворенных им чудес.

После того как Кобдо был взят, Джа-лама из нищего бродячего монаха превратился едва ли не в самого могущественного из князей Западной Монголии. У него было несколько сотен солдат, масса челяди. Около двух тысяч монгольских семей платили ему дань. В его ставке над десятками юрт возвышался поражающий воображение кочевников, невиданный по размерам и роскоши белый шатер-аил самого Джа-ламы. Он был настолько велик, что в разобранном виде эту исполинскую юрту перевозили на двадцати пяти верблюдах. Рядом выкопали искусственное озеро, в ставке поддерживалась исключительная, совершенно необычная для монголов чистота. В ее пределах запрещалось испражняться на землю, что для кочевников тоже было неслыханным нововведением.

Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал своих подданных за пристрастие к алкоголю. Лам, уличенных в пьянстве, он собственной волей лишал их сана и забирал к себе в солдаты. Весь его отряд был одет в русскую военную форму, сам Джа-лама под монашеской одеждой носил офицерский мундир. От людей он требовал поклонения, безусловной покорности, собственноручно пытал врагов, вырезал у них полосы кожи со спины.

О его жестокости в степи говорили не меньше, чем о его магических способностях. В ставке Джа-ламы людей забивали палками насмерть за малейшее непослушание. Рассказывали, что состоявшего при нем замечательного монгольского художника Цаган Жамбу он приказал ослепить, когда тот однажды выполнил работу для кого-то другого.

Тем временем в Кобдоском округе начались столкновения между монголами и алтайскими казахами, приходившими из китайского Синьцзяна. Последние совершали набеги на кочевья, угоняли скот, причем китайцы отказывались выдавать и наказывать грабителей. В постоянных стычках самое деятельное участие принимал отряд Джа-ламы, и один из его приближенных рассказал Бурдукову такой эпизод:

«После боя киргизы¹ разбежались, оставив несколько человек раненых. Один, очевидно, тяжело раненный, статный и красивый молодой киргиз сидел гордо, опершись спиной о камень, и спокойно смотрел на скачущих к нему монголов, раскрыв грудь от одежды. Первый из подъехавших всадников пронзил его копьем. Киргиз немного наклонился вперед, но не застонал. Джа-лама приказал другому сойти с коня и пронзить его саблей. Но и это не вызвало у него стоны. Джа-лама велел распластать киргизу грудь, вырвать сердце и поднести к его же глазам. Киргиз и тут не потерял угасающей воли, глаза отвел в сторону и, не взглянув на свое сердце, не издав ни звука, тихо свалился».

Но самое страшное произошло потом: Джа-лама распорядился целиком снять с мертвого кожу и засолить ее для сохранения.

Как узнал Бурдуков, при совершении некоторых об-

¹ Киргизами Бурдуков называет казахов.

рядов в буддийских храмах расстилается белое полотно, вырезанное в виде человеческой кожи: оно символизирует злого духа — мангыса. В старину, говорили ламы, для таких обрядов использовалась натуральная кожа настоящих мангысов, но теперь она имеется только в некоторых тибетских монастырях. Джа-лама как раз начал тогда возводить у себя в ставке величественный храм, и ему нужна была человеческая кожа для совершения столь близких его сердцу мрачных мистических обрядов. Почему кожа именно этого казаха? Да потому что беспримерная сила духа, которую тот проявил перед лицом смерти, выдавала в нем великого батыра, но батыра-мусульманина, врага «желтой религии». Иными словами — мангыса. Значит, его кожа годилась для богослужений в будущем храме.

Однако Джа-ламе так и не довелось использовать ее по назначению.

В то время Россия пыталась утвердить свое влияние в Монголии, не без ее помощи освободившейся из-под власти Пекина. Русских дипломатов не могло не тревожить растущее могущество Джа-ламы, ибо он не скрывал своих настроений. Передавали его слова, сказанные офицеру одной из расквартированных в Кобдо казачьих частей: «Вы, русские, что? Камыш! Подожду, и вас не останется здесь, как нет и китайцев».

Правительство Богдо-гэгэна в Урге тоже было обеспокоено тем, что Джа-лама не выполняет его распоряжений и ведет себя как независимый правитель. Содранная с убитого казаха кожа стала еще одним доводом в пользу того, что необходимо как можно быстрее покончить с этим опасным фанатиком. По негласной договоренности с Ургой русский министр иностранных дел Сазонов принял решение арестовать Джа-ламу и выслать его в Россию.

В феврале 1914 года полусотня казаков неожиданно ворвалась в ставку возрожденного Амурсаны. Его телохранители открыли огонь, завязалась перестрелка, но он все-таки был схвачен и доставлен в Кобдо. Руководивший операцией казачий офицер прихватил с собой и человеческую кожу, найденную в юрте Джа-ламы. Эта кожа должна была доказать его изуверство, но что с ней

делать дальше, никто не знал, и куда она потом девалась, неизвестно.

Джа-ламу увезли в Томск и заключили в тюрьму. Там он пробыл около года, затем его перевели в Астрахань, а оттуда отправили на поселение в Якутию.

Между тем в Монголии почти сразу же начали появляться самозванцы. Они уже выдавали себя не за Амурсану, как сам Джа-лама, а за него самого, будто бы бежавшего из тюрьмы. Один из них, как часто бывает в подобных случаях, был признан какими-то приближенными Джа-ламы, хотя внешне ничуть на него не походил. Но самозванец нашел оригинальный выход из положения. Он, по словам российского консула, «объяснял перемену в лице и фигуре жестокими истязаниями, которые якобы претерпел от русских».

Но монголы были уверены, что оскорбление божества, каковым в их глазах являлся Джа-лама, даром никому пройти не может. Даже начавшуюся вскоре первую мировую войну связывали с его арестом и местью покровительствующих ему духов. «Сами русские виноваты, — рассуждали кочевники. — Как вывезли к себе Джа-ламу, так и началась у них война, и она не прекратится, пока его не отпустят».

Но шли годы, Джа-ламу не отпускали. Постепенно о нем стали забывать. Казалось, Амурсана исполнил свое предназначение и теперь исчез уже навсегда.

Однако вскоре выяснилось, что изгнанные им китайцы возвращаются. В 1918 году, воспользовавшись революцией и гражданской войной в России, Пекин вновь двинул свои войска в Монголию. Одновременно с ними появился и Джа-лама.

4

После февральской революции Джа-лама был амнистирован и вернулся в места своей недавней славы. Постаревший, измученный тюрьмами и ссылкой, на этот раз он уже не сумел добиться прежнего влияния. Слишком много воды утекло за время его отсутствия, все громче звучали имена новых героев. События развивались так стремительно, что ему трудно было в них ори-

ентироваться. Он еще только собирал отряд для борьбы с китайцами, как внезапно все переменялось: в Монголию хлынули остатки разгромленных в Сибири белых армий. На востоке страны взошла кровавая звезда барона Унгерна фон Штернберга, который со своей Азиатской дивизией штурмом взял Ургу, затем в нескольких сражениях разгромил китайских генералов. Их армии были рассеяны и бежали в Китай, но и сам барон вскоре был разбит красными. Завязтые атеисты из Коминтерна решили в собственных интересах использовать легенду об Амурсане. Они объявили, что лишь теперь настало время исполнения древнего пророчества, и на роль возрожденного джунгарского хана пригласили своего артиста — некоего калмыка из Астрахани, известного под именем Хас-Батор. Как и полагалось по легенде, он явился в Монголию из России с «большим войском», но, разумеется, это войско ни в коей степени ему не подчинялось и сам он был только игрушкой в руках красных командиров.

Летом 1921 года над Ургой взвился красный флаг: при поддержке Москвы к власти пришло революционное правительство во главе с Сухэ-Батором. Отныне Джа-ламе стало окончательно ясно, что в этой Монголии ему нет места. Над ним начали сгущаться тучи, и тогда, взяв с собой несколько десятков вооруженных всадников и около 300 подвластных ему семей, он ушел далеко на юг, в пустыню Гоби. Здесь, в горах Мацзюньшаня, Джа-лама решил основать собственное государство. Он начал грабить караваны, нападать на кочевья и даже на буддийские монастыри, откуда вывозил в свой лагерь все ценное. Пленников убивали или обращали в рабов. Прошел год, и их руками Джа-лама воздвиг неприступную крепость в самом сердце Южной, или Черной, Гоби. Крепость получила название Тенпей-Бейшин и стала столицей его разбойничьей деспотии.

Пленные тибетские торговцы и ламы, китайские чиновники и поселенцы, монгольские монахи и пастухи, казахские и дунганские скотоводы — все они должны были месить глину, лепить кирпичи, таскать камни, строить дома и оборонительные сооружения в центре труднодоступной пустыни. Они умирали сотнями, но крепость была построена необычайно быстро и произ-

водила сильнейшее впечатление на всех, кому довелось ее увидеть. Окруженная необозримыми бескрайними равнинами и каменистыми холмами, эта цитадель была обнесена двойным поясом кирпичных стен с высокими боевыми и сторожевыми башнями. Внутри находились казармы, храмы, складские помещения, конюшни и, наконец, двухэтажный дворец самого Джа-ламы с большой парадной залой. Вокруг крепости, на соседних холмах и скалах, тоже располагались отдельные сторожевые вышки с жилыми покоем; в каждой из них размещался небольшой отряд для охраны подступов к Тенпей-Бейшину, а вокруг, под стенами крепости, стояли сотни юрт, где обитали подданные Джа-ламы. Отсюда он совершал свои грабительские походы и сюда же возвращался с добычей. Вся Центральная Азия трепетала при одном звуке его имени, тем более что монголы, тибетцы и китайцы по-прежнему видели в нем не то божество, не то могущественного чародея, которому покровительствуют обитатели Священной Шамбалы. Что касается его собственных подданных, Джа-лама правил ими, как настоящий восточный тиран. Ужасные пытки и мучительная казнь ожидали всякого, кто пытался бежать от него или выказывал хоть малейшее непослушание.

Окруженный пустыней, горами, крепостными стенами и защищавшими его не менее надежно, чем стены, зловещими легендами, хозяин Гоби, как стали называть теперь возрожденного Амурсану, чувствовал себя в полной безопасности. Никто из его многочисленных врагов не только не решался штурмовать построенный им замок, но не смел даже приблизиться к нему на сколько-нибудь близкое расстояние.

Ходили слухи, будто Джа-лама вынашивает далеко идущие политические планы. Поговаривали, что он собирается расширить свои владения, включить в них часть территории Монголии, Тибета и китайского Туркестана, а затем объявить себя монархом-каганом, но этим замыслам не суждено было осуществиться.

В 24-й день 8-й Луны 12 года Эры Многими Возведенного, то есть 7 октября 1922 года, монгольское правительство направило секретное распоряжение командованию тех частей народно-революционной армии, которые были расквартированы на севере Гоби. В этом

распоряжении предписывалось как можно скорее провести операцию по захвату Джа-ламы, затем предать его суду и казнить.

Отдать такой приказ было легко, выполнить — трудно, ибо солдаты монгольской революционной армии испытывали перед владыкой Тенпей-Бейшина не меньший страх, чем все остальные кочевники. Вести их на штурм его замка не имело смысла: они разбежались бы раньше, чем увидели бы стены крепости.

В итоге решили применить хитрость. Было написано подложное письмо от имени одного из влиятельных лам Западной Монголии, в котором тот приглашал Джа-ламу на переговоры, и двое командиров — Нанзад-Батор и Дугор-бейсэ, сопровождаемые четырьмя солдатами, отправились в Тенпей-Бейшин с этим письмом. Все шестеро были одеты в монашеское платье и выдавали себя за странствующих лам.

Джа-лама встретил их настороженно, приставил к ним охранников, но затем его подозрения понемногу рассеялись. Он был падок на лесть, а Дугор-бейсэ весьма красноречиво рассказывал о том, как невыносимо трудно живет народу под властью нынешнего правительства, как сам он всегда мечтал вырваться из красной Монголии, чтобы лицезреть «великого Амурсану», единственную надежду всех монголов, и т. д.

Успокоившись, Джа-лама отослал телохранителей, чтобы поговорить с прибывшими «ламами» наедине. Тогда Нанзад-Батор в упор выстрелил в него из спрятанного под халатом револьвера. Страшный хозяин Гоби упал мертвым, тем временем Дугор-бейсэ с двумя своими солдатами захватил оружейный склад. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а поскольку все имевшееся в крепости оружие хранилось в этом арсенале и по мере надобности выдавалось лично Джа-ламой, вся операция на том и кончилась. Сопротивления никто не оказал, если не считать любимой собаки Джа-ламы, которая одна лишь бросилась ему на помощь и была пристрелена.

Победители немедленно расстреляли пятерых самых близких убитому людей; остальных его подданных под дулами винтовок согнали на митинг, где они, как позднее докладывал руководитель операции, «не то чтобы

изъявили покорность, но были очень рады освобождению от деспота-изверга».

Вероятно, так оно и было.

На площади в центре крепости разложили большой костер, и в нем сгорело тело возрожденного Амурсаны, легендарного героя Кобдо, который превратил себя в грозного хозяина Гоби. Его сердце съел Нанзад-Батор, чтобы к нему перешли отвага и сила убитого. Командир народно-революционной армии, он тем не менее считал это своим законным правом.

Голову Джа-ламы приказано было доставить в столицу, и ее отрубили прежде, чем сжечь тело. Нанзад-Батор и Дугор-бейсэ увезли голову с собой, предварительно прокоптив ее и натерев солью, дабы предохранить от тления.

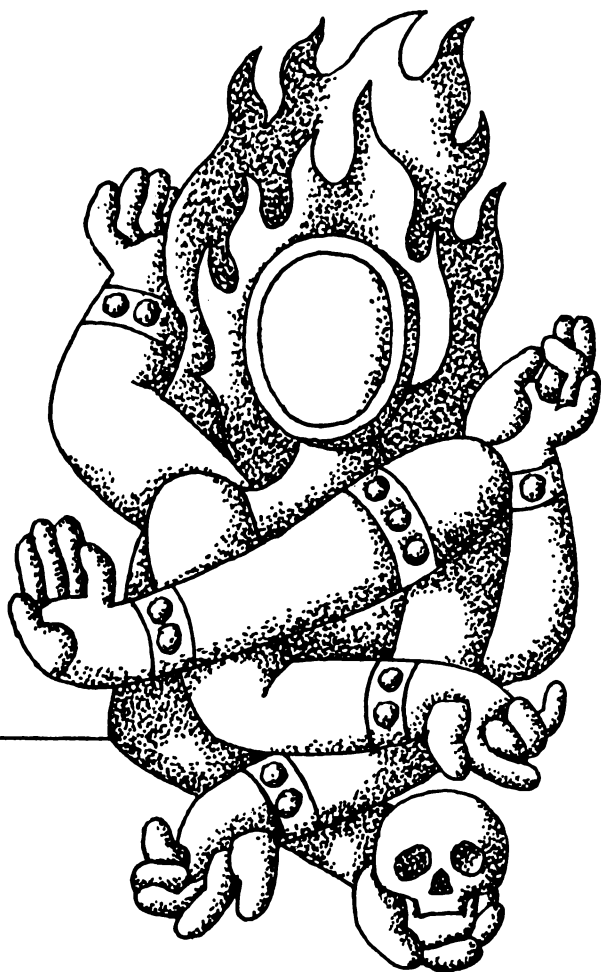
Насаженная на пику, она была выставлена на базарной площади, где ее могли видеть тысячи людей. Правительство хотело наглядно продемонстрировать всей Монголии, что на этот раз Джа-лама окончательно ушел из мира живых и уже не возродится. Иначе неизбежно возникли бы слухи о его чудесном спасении, а как их следствие — и самозванцы.

Но кочевники все равно шептались у костров, что Джа-лама жив, что его быстрый, как стрела, вороной конь исчез из конюшни в Тенпей-Бейшине и его великолепного седла не было среди той добычи, которую Нанзад-Батор и Дугор-бейсэ привезли в Ургу.

Почерневшая, с оскаленным ртом, вызывавшая ужас, голова две недели, насаженная на пику, торчала на базаре, отпугивая продавцов и покупателей, затем ее сняли и поместили в громадную бутыль с формалином. Бутыль переходила из рук в руки, из одной правительственной канцелярии в другую, пока непонятным образом не затерялась.

Это было последнее из сотворенных Джа-ламой чудес.

Позднее выяснилось, что в 1925 году советский монголовед Казакевич нелегально вывез голову Джа-ламы в Россию. Ныне она числится экспонатом № 3394 Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.



ШЕСТИРУКИЙ БОГ И ЕГО «СЫНОВЬЯ»

Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек — Роман Федорович Унгерн-Штернберг, или просто Унгерн. Казненный в 1921 году, он еще при жизни стал героем бесчисленных легенд, а после смерти породил нескольких самозванцев, выдававших себя сначала за него самого, потом — за его никогда не существовавших сыновей. Последние появляются до сих пор.

1

Вот как выглядит родословная Унгерна в его собственном изложении:

«Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия: в нем погиб Ральф Унгерн, мальчик одиннадцати лет. В XII веке, когда орден меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников — славян, эстов, литовцев, латышей, там находился и мой прямой предок. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике

и аскетизму. Генрих Унгерн-Штернберг по прозвищу Топор был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей на Балтике. Барон Петр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей торговлей на Балтийском море. В начале XVIII века был известен Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это Братом Сатаны. Морским разбойником был и мой дед: он собирал дань с английских купцов в Индийском океане...»

Кое-что здесь — правда, многое — семейная легенда, но, во всяком случае, все эти рыцари, пираты и мистики могли бы по праву гордиться своим достойным их мрачной славы потомком, родившимся в Австрии в 1886 году. Он прожил фантастическую жизнь и стал самым знаменитым из всего древнего рода Унгерн-Штернбергов.

Впрочем, началась эта жизнь вполне заурядно: ревельская гимназия, военное училище в Петербурге, служба в казачьих частях на Дальнем Востоке, фронты первой мировой. После революции Унгерн оказался в Забайкалье, у атамана Семенова, от которого получил генеральский чин и должность командира Азиатской дивизии, состоявшей главным образом из монголов и бурят. В конечном счете это и определило его судьбу.

Осенью 1920 года Унгерн со своей дивизией ушел на юг, в Монголию, незадолго перед тем захваченную китайскими войсками, и объявил себя защитником буддизма, врагом Пекина и борцом за освобождение монголов от чужеземного владычества. Причем это были не просто слова. Спустя три месяца Унгерн штурмом взял монгольскую столицу, выбив из нее пятнадцатитысячный китайский гарнизон, чуть ли не вдесятеро превосходивший по численности его голодное и оборванное войско, и восстановил на престоле низложенного китайцами монарха и первосвященника — Богдо-гэгэна VIII, «живого Будду». За это он был удостоен титула «Возродивший государство великий батор», а также стал цин-ваном — князем первой степени — и ханом. Отныне Унгерн получил право на те же символы власти, что и прямые потомки Чингисхана: мог носить желтый халат-дэли и желтые сапоги, иметь того же священного цвета поводья на

лошади, передвигаться, восседая в зеленом палантине, и вдевать в шапку трехочковое павлинье перо.

Он, впрочем, и раньше носил монгольский халат, только не желтый, а вишневый, поверх которого надевал португую, генеральские погоны и Георгиевский крест. Многие даже сомневались в его психической нормальности, ибо он мечтал возродить империю Чингисхана и полагал, что монголам суждена великая миссия — огнем и мечом стереть с лица земли прогнившую западную цивилизацию, а затем распространить «желтую религию» от Тихого океана до берегов Португалии.

Китайские генералы в Монголии преследовали лам, запретили совершать богослужения в столичных монастырях, а Унгерн считал себя буддистом, молился в буддийских храмах, жертвовал монастырям крупные суммы денег. Не случайно ламы провозгласили его, как и Джа-ламу, воплощением Махакалы. Ничего странного тут нет: эстляндский барон, сын доктора философии Лейпцигского университета, по своей чудовищной свирепости не уступал возрожденному Амурсане. Если Джа-лама практиковал человеческие жертвоприношения, вырывая сердца у пленных китайцев, то Унгерн вешал и расстреливал их сотнями. По его распоряжению вырезали всех живших в Урге евреев; его палачи насмерть забивали людей палками, а сам он в приступе ярости мог приказывать живьем сжечь человека на костре. Все это заставляло монголов видеть в нем истинного Махакалу.

Гневное шестирукое божество, хранитель «желтой религии», устрашающий и беспощадный, Махакала изображался в диадеме из пяти черепов, с ожерельем из отрубленных голов на шее, с палицей из человеческих костей в одной руке, с чашей из черепа — в другой. Он сражается с теми, кто причиняет зло ламам и мешает им совершать богослужения. Разве не так же вел себя Унгерн? Он ведь воевал не с кем-нибудь, а с китайцами, которые закрыли столичные храмы и посадили под арест низложенного «живого Будду».

Побеждая врагов буддизма, Махакала ест их мясо и пьет их кровь. Его челядь — бесноватые кладбищенские демоны и демониссы, «жадные до крови и мяса», «покрытые пеплом погребальных костров» и «пятнами трупного жира». Именно такими видели монголы унгер-

новских палачей, снимавших скальпы со своих жертв и забивавших им в уши раскаленные шомпола.

Монголы называли Унгерна Богом Войны, но в той войне, которую он начал с большевиками, ему не повезло. При попытке вторгнуться в красное Забайкалье он был разбит, пытался через Гоби уйти в Тибет, к Далай-ламе XIII, но в Азиатской дивизии вспыхнул мятеж; Унгерн пробовал подавить его с помощью монголов, однако был ими арестован и связан.

Вот как рассказывает об этом унгерновский офицер Алешин:

«Монголы не посмели убить Цаган-Бурхана, своего Бога Войны. К тому же они твердо верили, что не в силах этого сделать: он не может быть убит. Разве они не получили только что верное тому доказательство? Не только русские казаки, но и целый полк бурят дал по барону несколько залпов, и каков результат? Их пули не причинили вреда Цаган-Бурхану. Теперь несколько сотен монгольских всадников, простершись на земле, обсуждали ситуацию. Наконец к измученному барону выслали храбрейших. Приблизившись к Богу Войны, они вежливо связали его и оставили там, где он лежал. Затем все монголы галопом помчались в разные стороны, чтобы дух Цаган-Бурхана не знал, кого преследовать... О чем думал барон в ту одинокую ночь? Страшная боль от впивающихся в тело веревок вместе с голодом, жаждой и холодом оживили, может быть, в его воспаленном мозгу воспоминания о тех, кого он сам заставлял так страдать. Смерть таилась во тьме, ибо окрестные леса кишели волками. Может быть, он вспоминал свору собственных волков, которых держал в Даурии и на растерзание которым бросал иных своих пленников? Извиваясь в муках, он должен был пережить несколько смертей, пока не взошло солнце. Но вслед за утром наступил день, палящие лучи солнца безжалостно жгли его голову и язвили тело невероятной жаждой. Я представляю, как вновь и вновь он впадал в бред, и тогда ему мерещилось, будто его живьем сжигают в стог сена, как он сам приказывал поступать с другими людьми... Между тем небольшая группа красных разведчиков двигалась по долине. Вдалеке они увидели лежащего на земле человека. Он слабо стонал и ворочал головой из стороны в сторону,

пытаясь избавиться от муравьев, облепивших ему лицо и поедавших его заживо. Красные подъехали ближе. Один из них спросил: «Ты кто?» Барон пришел в себя и своим громоподобным голосом ответил: «Я — барон Унгерн!» При этих словах разведчики так резко дернули поводья, что их кони поднялись на дыбы...»

Этот рассказ — тоже одна из легенд о «безумном бароне». В действительности монголы захватили его в плен, а затем сами были захвачены группой красных кавалеристов. Унгерна увезли в Иркутск, оттуда — в Ново-николаевск¹, там судили, приговорили к смертной казни и расстреляли 15 сентября 1921 года. Но в его смерть не поверили ни монголы, ни русские эмигранты.

2

Проходит несколько недель после казни Унгерна, и в монгольской степи объявляется расстрелянный барон. Его видят то в одном улусе, то в другом. Обычно под вечер, в сумерках, в полном одиночестве он медленно проезжает верхом возле юрт, не обращая внимания на потрясенных кочевников, иногда направляет своего черного коня к кострам, где греются пастухи, в ужасе падающие ниц при его появлении, присаживается к огню, потом вновь садится в седло и молча пропадает в ночи. Слух о воскресшем Боге Войны немедленно облетает всю Монголию, достигает столицы. Очевидцы, среди которых многие недавно служили в войсках Унгерна, утверждают, что это, несомненно, сам барон, в точности такой, как прежде.

Спустя какое-то время в Урге происходит несколько загадочных убийств. Они следуют одно за другим, с промежутком в два-три дня. Все убитые — монголы, все так или иначе участвовали в пленении Унгерна, и все гибнут одинаковой смертью: ночью их закалывают кинжалом, причем всякий раз на рукояти остается записка: «Предателю от ожившей жертвы». Комиссар Монголо-Советской дивизии Моисей Коленковский смеется над суеверным страхом своих подчиненных. В воскресающих мертвецов он, разумеется, не верит и пытается

¹ Ныне Новосибирск.

найти убийц, но однажды утром находят его самого мертвым в постели. На рукояти оставленного в теле кинжала вошедшие находят записку все с теми же роковыми словами. Коленковский — последняя жертва. Мсть свершилась, отныне воскресший барон исчезает уже навсегда. Позднее выясняется, что роль Унгерна сыграл один из оставшихся в живых офицеров Азиатской дивизии. Тем самым он вызвал у монголов мистический страх, парализовал их волю к сопротивлению, и в этой атмосфере его товарищи покончили с предателями, которые пали якобы от руки ожившего Бога Войны.

Это, конечно, тоже легенда, но возникла она не на пустом месте. Слухи о том, что Унгерн жив, начали распространяться сразу после его казни. Условно их можно разделить на две группы.

Первая. Красные не сумели захватить барона в плен, такого рода сообщения — пропагандистская «утка». На самом деле он спасся. Судебный процесс над ним был искусной мистификацией, перед военным трибуналом в Новониколаевске предстал не Унгерн, а человек, более или менее удачно сыгравший роль барона.

Вторая. Судили настоящего Унгерна, однако расстрелян он не был: после суда ему удалось бежать.

Как только в советской печати был опубликован подробный отчет о процессе над бароном, в одной из харбинских газет появилась заметка под выразительным названием: «Унгерн или двойник?» Автор, скрывшийся за псевдонимом П. Кр-сэ, лично знал Унгерна, и многое в этом отчете вызвало у него подозрения, что большевики разыграли спектакль, что в качестве подсудимого выступал другой человек.

Почему, например, описывается, что Унгерн высокого роста, с большими «казацкими» усами, с бородкой? «Ладно, — замечает П. Кр-сэ, — борода могла отрасти, но усы так быстро не растут, у него были интеллигентные усы. И он был среднего роста!»

Почему на процессе Унгерна представили каким-то новым Чингисханом? «Что за чушь о создании Монгольской империи?»¹

¹ Русские эмигранты не знали о планах Унгерна возродить империю Чингисхана.

Наконец, почему барона судили в Новониколаевске? Почему не в Иркутске, не в Чите? Очевидно, потому что там его многие хорошо знают в лицо.

В итоге П. Кр-сэ приходит к выводу, что суд был фарсом, умелой инсценировкой, Унгерн благополучно ушел на запад Монголии, а перед трибуналом поставили загримированного под него актера или двойника. Ведь двойничество, пишет П. Кр-сэ, не столь уж редкое явление природы, всем харбинцам известен один железнодорожный служащий, который является буквально копией Николая II. Тем более не стоило труда найти человека, похожего на Унгерна. Ведь внешне он представлял собой «обычный интеллигентский тип, каких тысячи».

Впрочем, эта версия рухнула, как только до Маньчжурии добрались уцелевшие в боях солдаты и офицеры Азиатской дивизии: они подтвердили сообщения советских газет о пленении барона. Но слухи о его побеге проверке не поддавались и оказались куда более живучими.

Рассказывали, будто сразу после вынесения ему смертного приговора Унгерн симулировал психическую невменяемость, да так натурально, что приговор решили привести в исполнение чуть позже. Такую форму поведения подсказали ему члены подпольной белогвардейской организации в Новониколаевске, которые вступили с ним в связь. Унгерн последовал их совету. Его поместили в тюремную больницу, откуда он той же ночью бежал с помощью члена этой организации, фельдшера Смольянинова (конкретная фамилия лишний раз убеждала в подлинности всей истории). Чтобы избежать наказания, перепуганное тюремное начальство скрыло факт побега. Вместо барона расстреляли очередного смертника, а самого Унгерна поймать так и не смогли.

Но прошло еще немало лет, прежде чем из тумана этой легенды выплыла фигура реального самозванца. Самое любопытное, что объявился он не в Монголии, не в Китае, где жили сотни тысяч беженцев из Советской России, а на другом конце земного шара, в Южной Америке. Точнее — в Бразилии.

Почему именно там?

Потому что к началу 30-х годов в Южной Америке обосновалось множество русских эмигрантов. Почти все

они переселились туда из Китая, а в Харбине, Шанхае, Хайларе об Унгерне вспоминали чаще, чем где бы то ни было. Для меньшинства он был извергом и палачом, для большинства — героем и рыцарем, в одиночку бросившим вызов большевикам на границах Монголии. Не проходило, наверное, месяца, чтобы в какой-нибудь из харбинских газет не публиковались воспоминания о бароне. Память о нем эмигранты принесли с собой в Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. На этой-то памяти и паразитировал самозванец.

Он рассказывал, будто ему, «барону Унгерну», поспособствовал бежать из тюрьмы не какой-то там «фельдшер Смольянинов», а сам легендарный красный полководец Василий Блюхер. Он организовал побег, затем помог беглецу перебраться в Америку. Разумеется, все это было сделано в глубокой тайне. Что заставило Блюхера так поступить? Ну, во-первых, уважение, которое он, профессиональный военный, испытывал к своему храброму и талантливому противнику. Во-вторых, Блюхер знал, что III Интернационал собирается устроить коммунистическую революцию в Китае, что ему скоро придется там воевать, и хотел использовать военный опыт Унгерна, неоднократно побеждавшего китайских генералов.

Вероятно, настойчивыми попытками Блюхера вытребовать его к себе в Китай, где бы они вместе воевали против Чжан Цзолина, самозванец и объяснял тот странный факт, что он почти десять лет не давал знать о себе и никому не открывал свое «настоящее имя». Ему, мол, приходилось скрываться от разыскивавших его агентов Блюхера, грозившего ему смертью в случае отказа помогать китайским революционерам.

Выдавая себя за Унгерна, самозванец мог завязать отношения с влиятельными людьми, мог собирать пожертвования не только с нищих русских эмигрантов, но и с куда более состоятельных членов немецкой колонии. В Бразилии и Аргентине проживало много немцев, а Унгерн к тому времени стал одним из любимейших героев национальной пропаганды. Им интересовался глава Германской академии Карл Хаусхофер и, возможно, сам Гитлер. Пьеса о нем годами не сходила со сцен немецких театров.

Как известно, всегда находятся люди, по тем или иным соображениям признающие в самозванце того человека, за которого он себя выдает и с которым сами они будто бы когда-то были знакомы. В Бразилии такой свидетельницей стала португалка Бьянка Тристао. Во время гражданской войны в России судьба забросила ее в Харбин, там она не раз видела Унгерна, поскольку служила медицинской сестрой в госпитале Азиатской дивизии, и теперь, в Бразилии, немедленно узнала его. К своим воспоминаниям об этой встрече Тристао даже приложила фотографию: на ней мужчина, отдаленно похожий на Унгерна, сидит под пальмой и ласкает ручную пуму.

Слухи о том, что барон жив, из Бразилии дошли до Харбина, оттуда просочились в Сибирь и в Монголию. Впрочем, монголы никогда не забывали о своем Боге Войны.

«Кто путешествовал по Центральной Азии, — тогда же, в начале 30-х годов, писал американский журналист Александр Грайнер, — тот мог слышать заунывную песню, которую поют у костров погонщики и пастухи. Она — о том, как один храбрый воин освободил монголов, был предан русскими, взят в плен и увезен в Россию, но когда-нибудь он еще вернется и восстановит великую империю Чингисхана».

В это же время в Сибири и в Маньчжурии были уверены, что Унгерн создал могущественную тайную организацию под названием «Сыны России» и ждет лишь удобного момента, чтобы поднять всеобщее восстание против большевиков.

Но, ясное дело, самозванец вовсе не собирался ни возрождать империю Чингисхана, ни вступать в борьбу с Кремлем. Он предпочел мир и покой под бразильскими пальмами. Неизвестно, чем закончилось его предприятие и что с ним случилось потом, но вскоре ему на смену пришел первый из «сыновей» барона.

3

В середине 30-х годов в Париже появился некий молодой человек, утверждавший, что он не кто иной, как сын барона Унгерна. Причем его явление было обстав-

лено вполне в духе легенд о бароне-мистике: юношу сопровождал какой-то загадочный латыш в костюме буддийского монаха, с четками на запястье и наголо обритой головой. Эта странная пара посещала дома русских эмигрантов и редакции эмигрантских изданий. Не миновала она, видимо, и редакцию «Последних новостей» — самой известной из русских газет за рубежом. Ее главный редактор Павел Иванович Милюков, бывший лидер партии кадетов, на протяжении многих лет интересовался Унгерном и собирал в своем архиве все мало-мальски значимые публикации о нем. Об этом его увлечении знали в эмигрантских кругах, так что «сыну» барона был прямой путь к редактору «Последних новостей».

Но, похоже, Милюков, хорошо изучивший биографию Унгерна, сразу понял, что его дурачат. Он должен был знать, что у барона никогда не было детей. Во всяком случае, этот молодой человек и сопровождавший его латыш-«буддист» не имели во Франции большого успеха и в поисках более доверчивой публики довольно быстро отбыли из Парижа не то в Германию, не то в Прибалтику. Там их следы и затерялись.

Тут надо заметить, что и первый «сын» Унгерна, и второй, появившийся позднее в Маньчжурии, были китайцами. Как, впрочем, и третий, действующий в наши дни.

Почему китайцами? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в 1919 год.

В то время в харбинском Политехническом институте преподавал некто Баранов, крупный знаток восточных языков. Унгерн брал у него уроки китайского. В доме Баранова он познакомился с молодой китайкой, которая оказалась не кем-нибудь, а маньчжурской принцессой из династии Цин. Правда, последний император из этой династии лишился престола семь лет назад, в 1912 году, да и отпрыски ее боковых линий исчислялись десятками, тем не менее его новая знакомая была самая настоящая принцесса. После революции она со всей семьей переселилась из Пекина в Маньчжурию, под защиту сторонника свергнутой династии генерала Чжан Цзолина.

Принцесса, как все ее родственники, с детства гово-

рила по-китайски, а маньчжурского не знала вовсе. Теперь она решила выучить язык своих предков с помощью того же Баранова, где встретила Унгерна и немедленно в него влюбилась. Надо полагать, барону это весьма льстило. Тем более что он был убежденный монархист. Они вдвоем гуляли по городу, заходили в рестораны, бывали в кинематографе. Несмотря на свое царственное происхождение, принцесса была девушкой современной и образованной. С Унгерном они говорили на английском или на французском, поскольку русский она знала плохо, а он китайский — еще хуже. Рассказывают, что бедная принцесса была влюблена в него без памяти. Но вот отвечал ли он ей взаимностью? Вряд ли. Она представляла для него несомненный интерес, но интерес прежде всего политический — как представительница величайшей династии Востока.

Словом, Унгерн решил, что не лишним будет иметь такую жену, и на тридцать четвертом году жизни вступил в свой первый и последний брак.

До этого он никогда не был женат, да и вообще не проявлял интереса к женщинам. Более того, не любил их. По свидетельству хорошо знавшего его мемуариста, Унгерн «почти не знал женщин» и «при внешних рыцарственных манерах» с неприязнью относился к представительницам слабого пола как таковым. Утверждали даже, что если за какого-нибудь провинившегося солдата или офицера Азиатской дивизии ходатайствовала женщина, то барон увеличивал ему меру взыскания. Недаром он мечтал создать из своих соратников орден военных буддистов, чьи члены давали бы обет безбрачия.

Став его супругой, принцесса отнюдь не стала исключением из правила. Вместе они прожили всего месяц, потом лишь изредка встречались, а через год после свадьбы, готовясь к походу в Монголию, Унгерн отправил к жене одного из своих адъютантов. Тот вручил давно покинутой принцессе официальное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайским обычаям, согласно которым мужу достаточно известить жену о своем решении с ней развестись.

Детей у них не было. Однако слава Унгерна как героя борьбы с большевиками и кровь Цинов в жилах его несчастной супруги сулили немалые дивиденды

тому, кто сумел бы выдать себя за отпрыска этого диковинного брачного союза.

Поэтому через несколько лет после их первого «сына», о котором мы уже сказали, возник и второй. Он действовал в конце 30-х годов в Маньчжурии, к тому времени превращенной японцами в полностью зависимое от Токио марионеточное государство Маньчжоу-Го. Когда-то японцы поддерживали Унгерна, и его «сын» рассчитывал привлечь к себе их благосклонное внимание. Удалось ему это или нет, мы не знаем. Знаем только, что такой человек был.

Наконец, совсем недавно выплыл из небытия третий по счету «сын» эстляндского барона и маньчжурской принцессы. Обосновался он в Гонконге. Похоже, его неожиданное появление связано с тем, что в последние годы в России и на Западе вновь стали много писать о пресловутых «сокровищах Унгерна», которые тот якобы зарыл не то в Китае, не то в Монголии, не то в Забайкалье и которыми в разное время интересовались китайские генералы, русские эмигранты, советские чекисты, агенты фашистской Германии.

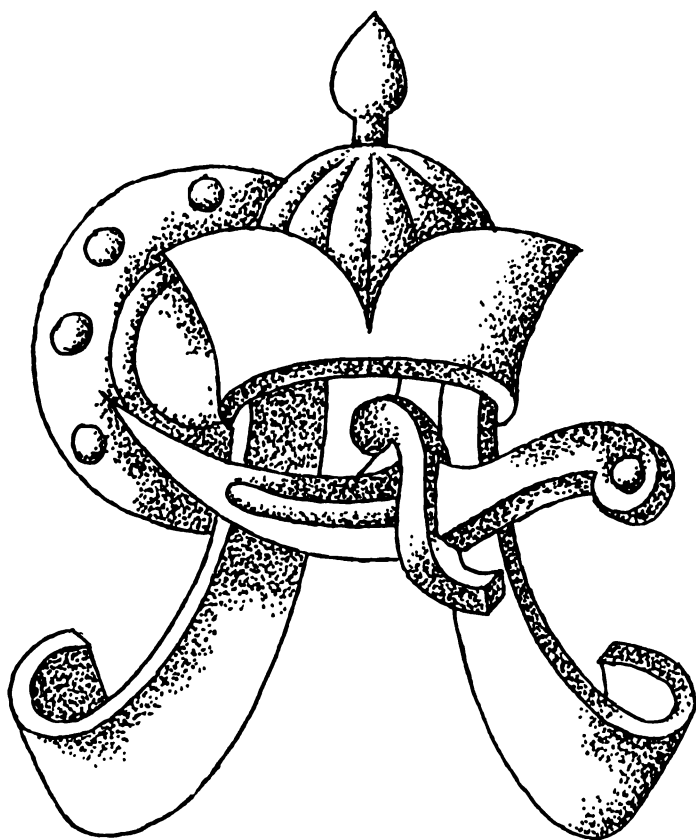
Владивостокская газета «Утро России» в номере от 15 октября 1994 года поместила следующую информацию:

«В Гонконге объявился «сын» барона Унгерна — это пожилой человек со слегка европейскими чертами лица, говорящий по-китайски и по-русски. Он раздает интервью, делится подробностями личной жизни «папы» и между делом намекает, что знает тайну золотого клада, зарытого Унгерном «где-то в Сибири» (довольно точные координаты, как можно заметить). Не исключено, что скоро найдутся спонсоры, и в Сибири начнет работать археологическая или какая-то другая экспедиция из Гонконга».

У самозванцев отличное чутье: они всегда появляются там, где кто-то из сильных мира сего может проявить к ним интерес. Само собой, небескорыстный.

И невольно напрашивается мысль: может быть, тот юноша в Париже, тот молодой китаец в Маньчжурии конца 30-х годов и этот неведомо откуда взявшийся в Гонконге старик «со слегка европейскими чертами лица» — один и тот же человек?

Кто знает.



ПРИЗРАКИ РОМАНОВЫХ I:
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

Ужасная и в течение десятилетий окутанная тайной гибель царской семьи в Екатеринбурге не могла не породить множество самых фантастических слухов и легенд, а как их следствие — и самозванцев, с большим или меньшим успехом паразитировавших на трагедии последних Романовых. Но и сами эти люди стали последними в ряду многократно воскресающих монархов, принцев и царевичей, в той бесконечной веренице царственных призраков, которая уходит в глубь тысячелетий.

Новых, по всей вероятности, уже не будет. История самозванцев, сумевших войти в историю, завершается на лже-Романовых.

1

В начале 50-х годов нашего столетия на севере Пермской области было арестовано несколько человек — жителей одного из богом забытых сел, затерянного в уральской тайге. Дело вели следователи из органов МГБ, поскольку арестованные обвинялись не в чем-нибудь, а в контрреволюционной пропаганде. В чем же состояло их преступление, подпадавшее под грозную 58-ю статью тогдашнего Уголовного кодекса?

Оказывается, эти старики, обычные советские кол-

хозники, тайно хранили у себя портрет младшего брата Николая II, великого князя Михаила Александровича Романова. Портрет, по-видимому, был перерисован с фотографии в каком-нибудь старом иллюстрированном журнале, но выполнен в иконописной традиции. По сути дела, он и был иконой. Арестованные поклонялись ему точно так же, как если бы это был образ божества или святого. Однако, что самое странное, врагами советской власти они себя не считали и наивно уверяли, будто молятся не земному великому князю из династии Романовых, а небесному «князю великому».

Ушлые следователи выяснили, что краугольным камнем их веры является Священное писание, точнее, ветхозаветная Книга пророка Даниила, глава 12, стих 1. Вот как он звучит:

«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге».

В какой книге?

Следствие так и не получило вразумительного ответа на этот вопрос. Но как бы то ни было, колхозники из Пермской области, имевшие несчастье привлечь к себе внимание органов госбезопасности, принадлежали не к подпольной монархической организации, а к секте «михайловцев». Библейское пророчество Даниила они связывали с фигурой Михаила Александровича Романова и верили в него как в грядущего спасителя. Предполагалось, что он явится во «время тяжкое», а поскольку в России после 1917 года «тяжкими» были все времена, то его пришествие ожидалось со дня на день в течение многих лет.

Но впервые о пророчестве Даниила вспомнили еще в 1918 году, после того как Михаил Александрович таинственным образом исчез.

Когда Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата, тот не захотел быть императором. Из великого князя он превратился в «гражданина Романова», а позднее, отказавшись от собственной фамилии, взял

фамилию жены и стал Михаилом Брасовым. Тем не менее большевики выслали его из Петрограда в Пермь¹. Там он проживал в гостинице, пользуясь относительной свободой: бывал в театре, ездил на привезенном с собой «роллс-ройсе», сам сидя за рулем. Аресту он не подвергался, в ночь на 13 июня 1918 года его прямо из гостиницы тайно вывезли за город и застрелили. Однако официально было объявлено, будто ему удалось бежать из Перми. Для отвода глаз начали расследование, даже спустя полгода в местной ЧК еще расстреливали людей «за соучастие в побеге Михаила Романова». Организаторы этого убийства могли быть довольны: в чудесное спасение великого князя охотно поверили все, кому хотелось в это верить. В газетах начали появляться корреспонденции типа следующей:

«Лица, сегодня прибывшие в Петроград из Архангельска, утверждают, что несколько дней назад бывший великий князь Михаил Александрович прибыл в окрестности города и сейчас же в сопровождении группы офицеров выехал в неизвестном направлении, как предполагают — на Мурман».

Отнюдь не все такого рода сообщения были инспирированы большевиками, которые хотели отвести от себя подозрения в убийстве Михаила Александровича. Легенда уже отделилась от тех, кто ее создал. Труп великого князя был облит керосином и сожжен, но по слухам, попадавшим на страницы газет самого разного толка, его видели живым то в Риге, то в Гельсингфорсе, то на британском военном корабле, то в шанхайском доме заводчика Путилова. Всюду, особенно на востоке России, верили, что он спасся, и надеялись на его скорое возвращение. Тут очень кстати пришлось пророчество Даниила о «Михаиле, князе великом», которое уже однажды сбылось в 1613 году, когда Смутное время завершилось избранием на царство Михаила Федоровича. Теперь казалось, что новая Смута («время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди») должна

¹ Именно поэтому секта «михайловцев» возникла не где-нибудь, а в Пермской области.

закончиться воцарением его потомка и тезки. Министры Колчака на банкетах пили здоровье Михаила Александровича, его имя золотом вышито было на знамени барона Унгерна, который из Монголии посылал своих агентов в Китай, на поиски пропавшего великого князя.

Но проходили месяцы и годы, он не возвращался. Вера в то, что реальный Михаил Александрович вот-вот даст знать о себе, начала слабеть и постепенно угасла совсем, когда в газеты стали просачиваться сведения о его убийстве. Но эта вера была сродни религиозной и полностью умереть не могла. В медвежьих углах Сибири и на севере Прикамья она превратилась в учение «михайловцев» о том, что Михаил Александрович явится уже не как человек, а как небесный посланец, грозный судия для одних, спаситель для других.

И вот что любопытно: ни популярная легенда о его спасении, ни надежды, которые с ним связывались, не привели к появлению самозванцев. Изредка возникали его самозванные эмиссары, распространялись листовки, написанные от его имени, но сам он не появился ни разу. Призрак великого князя, в течение нескольких лет бродивший по миру от Архангельска до Шанхая, не сумел облечься в плоть.

Почему?

Слишком много ждали от этого человека, слишком трудной казалась эта роль. Сыграть ее так никто и не решился.

Зато роли младших членов царской семьи были гораздо проще, исполнителей нашлось множество.

2

В один из сентябрьских дней 1919 года, когда армии Колчака уже стремительно откатывались на восток, на перроне омского вокзала был выстроен почетный караул, на солнце блестели трубы оркестра. Здесь же стояла группа духовенства в парадном облачении, официальные лица из городской думы. Поодаль теснились просто зрители.

Наконец поплыли мимо вагоны замедляющего ход состава, поезд остановился. На перрон выпрыгнул какой-то офицер, за ним — несколько человек в штатском. Тот, кому они почтительно помогли спуститься по вагонным ступенькам, оказался худеньким темноволосым подростком, одетым в военную форму без знаков различия.

Его-то и ожидали встречающие.

Солдаты взяли «на караул», дирижер взмахнул рукой. Музыканты грянули не «Коль славен Господь в Сионе» — мелодию Бортнянского, которую раньше наигрывали куранты на Спасской башне и которая при Колчаке стала временным гимном России, а «Боже, царя храни». Руководил встречей генерал Иванов-Ринов, бывший военный министр Омского правительства. Он представился подростку, затем, после окончания церемонии, вместе с ним сел в автомобиль, стоявший на привокзальной площади. Для высокого гостя и сопровождающих его лиц уже была приготовлена квартира в центре города. В тот же день стало известно, что в Омск прибыл чудом спасшийся от большевиков наследник российского престола, его императорское высочество цесаревич Алексей Николаевич, единственный сын Николая II.

Откуда его привезли в Омск?

Откуда-то с Алтая, вероятнее всего — из Барнаула.

Каким образом он уцелел?

Ему удалось незаметно выбраться из вагона, когда поезд, в котором их перевозили, стоял на одной из станций.

Где именно это произошло?

Где-то на Урале, между Екатеринбургом и Пермью, точно он сказать не может. Какие-то добрые люди помогли ему спрятаться, потом он стал пробираться на восток и, лишь оказавшись глубоко в тылу белых, на Алтае, решил открыть свое настоящее имя.

А теперь вопрос к тем, кто организовал торжественную встречу на омском вокзале: почему они ему поверили? Ведь к тому времени уже было известно, что сам государь, его жена и дети погибли в Екатеринбурге.

Да, следственная комиссия во главе с генералом Дитерихсом пришла именно к такому выводу. Однако существовала и другая версия. Согласно ей, в Екатеринбурге убили только самого Николая II и лиц, состоявших при царской семье; остальные, то есть императрица с детьми, были вывезены сначала в Пермь, затем — в Вятскую губернию, в район Глазова, где их расстреляли, а трупы сожгли. Имелись и показания свидетелей, подтверждавших эту версию.

В марте 1919 года в занятой белыми Перми была арестована и допрошена Наталья Мутных, сестра секретаря Уральского областного совета. Она показала:

«Мне случайно стало известно, что семья б[ывшего] государя Николая II, его супруга и 4 дочери, из города Екатеринбурга были перевезены в Пермь и секретно, ночью, поселены в подвале дома Березина, где была мастерская... Я заинтересовалась содержанием семьи б[ывшего] государя в Перми и, воспользовавшись тем, что мой брат Владимир Мутных должен был идти на дежурство, упростила его взять меня с собой и показать их мне...»

В темном подвале, «при слабом освещении сальной свечи», Наталья Мутных «различила б[ывшую] государыню Александру Федоровну и ее четырех дочерей», которые были «в ужасном состоянии». Тем не менее она их «хорошо узнала».

Неизвестно, кого на самом деле видела в этом подвале Наталья Мутных и видела ли кого-нибудь вообще. Возможно, она все выдумала, рассчитывая, что такого рода показания сделают ее важной свидетельницей и сохранят ей жизнь. Иначе как сестру видного большевика, не чуждую занятиям брата, ее могли и расстрелять. Но заметим: в показаниях этой женщины фигурируют только императрица и великие княжны. О цесаревиче — ни слова. Похоже, Наталья Мутных не упомянула о нем сознательно, ибо слышала разговоры о том, будто ему удалось бежать.

Во время гражданской войны подобных случаев было немало, а слухов о чем-то чудесном спасении — еще больше. «Арабские ночи» Шахрезады покажутся скуч-

ным тягучим рассказом по сравнению с теми историями, которые теперь циркулируют по Сибири», — писал современник. Почетное место среди этих историй занимали легенды о казненных большевиками Романовых, которым на самом деле якобы удалось избежать гибели. Англичанин Джон Уорд, в 1918 году побывавший в Омске, рассказывал про одного своего знакомого офицера: «Услышав в ресторане, что великий князь Дмитрий Павлович жив и скрывается в Сибири под видом крестьянина, он впал в такое же экстатическое состояние, как пастухи при виде Вифлеемской звезды».

Можно себе представить, как обрадовался этот офицер, узнав, что цесаревич Алексей сумел ускользнуть от своих палачей. Поверить в это было тем проще, что именно на него и на великую княжну Анастасию молва чаще всего указывала как на спасшихся детей государя.

Само собой, время от времени на бескрайних сибирских просторах объявлялись малолетние бродяжки, выдававшие себя за гонимого царевича. Россия не была бы Россией, если бы им никто не верил. Они рассказывали какой-нибудь сердобольной крестьянке горестную историю пережитых ими несчастий и на этой ниве собирали свой урожай: подавание, скромный ужин, ночлег в теплой избе. Некоторых арестовывали белые или красные; другие, более удачливые, продолжали скитаться вдоль трактов и железных дорог, побираясь именем царственного сверстника. На большее они не претендовали. Но тот, кого с Алтая привезли в Омск, был птицей иного полета.

Как выяснилось позже, его настоящее имя было тоже Алексей, фамилия — Пуцятю. Мы не знаем, где он родился и провел детство, кто были его родители, но, судя по всему, этот мальчик вырос в интеллигентной семье. Он получил хорошее для своих лет образование, говорил по-французски, умел держаться в обществе. В июле 1919 года цесаревичу Алексею исполнилось бы пятнадцать лет; очевидно, Алеша Пуцятю был приблизительно того же возраста.

По всей вероятности, его родители, подобно многим в то время, бежали в Сибирь, спасаясь от большевиков.

По дороге они или погибли, или попали в тюрьму, или просто потеряли сына. И то, и другое, и третье было тогда делом обычным. Во всяком случае, Алеша остался один как перст, рассчитывать ему было не на кого, и в минуту отчаяния у него родилась мысль выдать себя за цесаревича Алексея. Что натолкнуло его на эту мысль, можно лишь гадать. То ли давно ему известное сходство их внешности, то ли случайно услышанный разговор о том, что его тезка, оказывается, бежал от тюремщиков и где-то скрывается. Если так, почему бы ему не объявиться на Алтае? Пятнадцатилетний Алеша Пуццо был неплохим психологом и прекрасно умел приспосабливаться к людям и обстоятельствам. Он не только сочинил вполне правдоподобную историю своих злоключений, но и безошибочно выбрал тех, кому она пришлась по вкусу.

Впрочем, по другой версии, сам он никакой инициативы не проявлял; какие-то авантюристы обратили внимание, что мальчик чрезвычайно похож на цесаревича, и уговорили его сыграть эту роль.

Но одно бесспорно: организаторами интриги выступили люди отнюдь не наивные и не бескорыстные. Их цель состояла в том, чтобы взять от своей близости к «цесаревичу» все, что можно, и вовремя дать деру. Эти люди, надо отдать им должное, повели дело так ловко, что скоро весьма влиятельные персоны затребовали Алешу в Омск. Там, естественно, тоже нашлись желающие поучаствовать в этой игре, среди них — генерал Иванов-Ринов, известный своими монархическими симпатиями. Между прочим, генерал он был не простой, а жандармский и, надо полагать, знал толк в подобных забавах. Благодаря ему Алеша, с подобающими почестями встреченный на вокзале, въехал в Омск под колокольный звон, как Лжедмитрий I триста лет назад въезжал в Путивль. Похоже, самозванец нужен был Иванову-Ринову как средство объединить правую оппозицию верховному правителю России, адмиралу Колчаку.

Сам Александр Васильевич Колчак ни малейшего интереса к «цесаревичу» не проявил и вообще старался

держаться подальше от этой сомнительной затеи. Тем не менее в поклонниках недостатка не было. Некоторое время Алеша и его приближенные жили припеваючи, не особенно задумываясь о будущем и наслаждаясь теми радостями, которые им могло дать настоящее, — приемом посетителей, торжественными молебнами, банкетами, выездами в театр, а главное — сбором пожертвований. Но как ни натаскивали Алешу на его роль, какие ни вкладывали в него сведения о его же собственном детстве, проведенном в кругу императорской семьи, рано или поздно в нем должны были признать мошенника. На долгую дистанцию у него все равно не хватило бы дыхания. Несколько раз, по-видимому, он оплошал так серьезно, что Иванов-Ринов счел за лучшее лишить его своей опеки. Над Алешей начали сгущаться тучи; наконец он был посажен под арест. Правда, впредь до выяснения всех обстоятельств дела «цесаревича» содержали на привилегированном положении, с удобствами и без особых строгостей.

От окончательного разоблачения и связанных с этим неприятностей его спасли красные. Фронт неумолимо приближался. Через два месяца после того, как он прибыл в Омск, в город вошли части 5-й армии Восточного фронта борьбы с мировой контрреволюцией. Однако Алеша в общей суматохе не был забыт: его успели эвакуировать на восток. В начале 1920 года он оказался в Чите, у атамана Семенова.

Атаман уже не раз имел дело с самозванцами разного масштаба. Хотя детей Николая II в Забайкалье раньше и не было, зато был, например, китаец-парикмахер из Маньчжурии, который на первых порах довольно успешно выдавал себя за побочного сына японской императрицы. Был какой-то молодой еврей, сумевший убедить забайкальских казаков, что он — родной сын генерала Крымова, под чьим началом они сражались на фронтах первой мировой. Этого «генеральского сына», разоблачив, жестоко высекли, так что и с «цесаревичем» Семенов церемониться не стал. Он просто взял да и посадил его в тюрьму на общих основаниях, как самого обычного арестанта.

В читинской тюрьме Алеша просидел до осени, когда Читу заняли партизаны и части Народно-революционной армии ДВР¹. Семенов на аэроплане улетел в Китай, туда же с боями отступили остатки белых армий. Победители, как всегда бывает при смене режимов, распахнули двери тюрем; в числе прочих вышел на свободу и Алеша Пуцято. Причем в этой ситуации он не преминул воспользоваться выгодами своего положения. Ему, как видно, удалось убедить новых хозяев Читы в том, что он — политический заключенный, жертва белого террора, и сидел в тюрьме как борец с семеновским режимом. Очевидно, и на этот раз Алеша сочинил легенду не менее правдоподобную, чем та, которую он излагал на Алтае и в Омске. Но, разумеется, прямо противоположную по идейному содержанию. Ему вновь поверили, а опыт извлекать пользу из чужого сочувствия у него уже имелся.

В итоге с ним произошло воистину чудесное превращение: «цесаревич» получил соответствующие рекомендации и стал членом РКП(б), то есть Российской Коммунистической партии большевиков. Новые покровители выхлопотали ему и теплое местечко в штабе Народно-революционной армии. Вскоре как человек, «прошедший школу тюрем и подпольной борьбы», он был переведен на службу в Военпур — Военно-политическое управление при правительстве ДВР. По молодости лет Алеша начал здесь службу делопроизводителем, но в качестве проверенного революционера имел доступ к секретным документам. Будучи членом партии, со временем он мог бы сделать карьеру на военнополитическом поприще, но помешала роковая случайность.

Осенью 1921 года в Военпуре проводилась традиционная для того времени «партийная чистка». Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы отсеять из рядов РКП(б) всех тех, чьи взгляды не вполне совпадали с генеральной линией ЦК, а классовая принадлежность

¹ Созданная в 1920 году «буферная» Дальневосточная республика.

препятствовала их гармоническому слиянию. На этом-то отделении ангцев от козлий Алеша и погорел.

Само собой, его взгляды полностью совпадали с линией ЦК. Но когда он предстал перед грозной комиссией кристальных большевиков, произошло непредвиденное: кто-то из сидевших по ту сторону стола, покрытого красным сукном, опознал в юном политработнике недавнего соседа по тюремной камере. Видимо, Алеша был тогда известен товарищам по несчастью как страдалец совсем не за ту идею, за которую страдали они сами.

Члены высокой комиссии были потрясены. Как? Бывший «цесаревич»? И где? В Военпуре! Увы, крыть было нечем.

В общем, чистку он не прошел. Ему пришлось расстаться и с партийным билетом, и с военпуровской должностью. Но кончились ли на этом его несчастья?

Очень сомнительно, чтобы после всего случившегося Алешу оставили в покое. Скандальное разоблачение наделало много шума, и, хотя участники событий свято блюли партийную дисциплину и пытались сохранить дело в тайне, слухов об этой анекдотической истории ходило немало. Скорее всего, бедного «цесаревича» арестовали и выслали куда-нибудь с глаз долой. Для смертного приговора он был слишком юн, да и политические нравы в Забайкалье до ликвидации Дальневосточной республики отличались относительной либеральностью.

О дальнейшей судьбе Алеши Пуцято нам, к сожалению, ничего не известно.

3

В качестве курьеза расскажем еще об одном претенденте на роль цесаревича Алексея. Причем таком, который сам об этом думать не думал, пока в 1992 году у него в доме не появился рижанин Анатолий Грянник.

По мнению Грянника, Николай II и вся его семья не погибли в Екатеринбурге, а зачем-то были вывезены чекистами на Кавказ, в Сухуми. Там они под чужими име-

нами, соблюдая строжайшую конспирацию, бывшую условием сохранения им жизни, благополучно дожили до наших дней. Ни один человек, не считая, разумеется, сотрудников КГБ, понятия не имел, кто они в действительности такие, но проникательный Грянник сумел проникнуть в их тщательно сберегаемую тайну. Об этом удивительном открытии он и поведал миру в своей книге «Завещание Николая II» (Рига, 1993).

Каким-то загадочным образом ему, в частности, удалось установить, что некий Иван Владимирович Павлов, проживавший в Сухуми и умерший в 1993 году, это на самом деле не кто иной, как цесаревич Алексей.

Доказательства?

Пожалуйста: «Внешне цесаревич Алексей и Иван Владимирович похожи — конечно, с учетом разницы в возрасте; у них один и тот же антропологический тип головы, сходны черты лица, цвет глаз и волос. Сходны и психологические портреты: тип характера — сангвиники, доброжелательны, оба спокойны, терпеливы, восприимчивы, интеллигентны, у них прекрасная память, в том числе и на недоброе. Оба хорошо воспитаны, любят природу и животных, чувствительны к боли».

Конечно, это все общие слова, поэтому далее Грянник проводит более конкретное сопоставление.

Цесаревич Алексей. «Известно, что он рос добрым отзывчивым мальчиком».

И. В. Павлов. «Знавшие его люди говорят, что он не отказывал в помощи, особенно пожилым людям».

Цесаревич Алексей. «Каждый день по утрам в Царском Селе дети принимали холодную ванну. Цесаревич любил купаться в пруду».

И. В. Павлов. «Любил воду и Иван Владимирович. В марте месяце он на улице обтирался холодной водой. Его близкие рассказывали, что он купался в речке до глубокой осени».

Цесаревич Алексей. «О любви наследника к животным хорошо известно; со спаниелем Джоем он не расставался даже в Ипатьевском доме».

И. В. Павлов. «У Павловых имеется собачка». Кроме

того, Иван Владимирович рассказал, что раньше «у него был ослик, на котором он ездил в горы».

Цесаревич Алексей. Был велосипедистом: «Однажды в семь лет он оказался в центре смотра дворцовой охраны, проезжая на тайно взятом велосипеде через плац».

И. В. Павлов. Есть фотография, где он «стоит с велосипедом».

Цесаревич Алексей. «О нелюбви цесаревича к евреям упоминает в своих воспоминаниях А. Симанович».

И. В. Павлов. «Иван Владимирович не доверял евреям».

И т. д.

Что и говорить, доказательства приведены исчерпывающие! После столь неотразимых аргументов нечего и сомневаться: конечно же этот И. В. Павлов из Сухуми и есть доживший до глубокой старости цесаревич Алексей. Только вот беда, сам Павлов упорно отрицал тот факт, что он — цесаревич. Почему он открещивался от своего царственного происхождения? Да потому, объясняет Грянник, что его запугали люди из «органов».

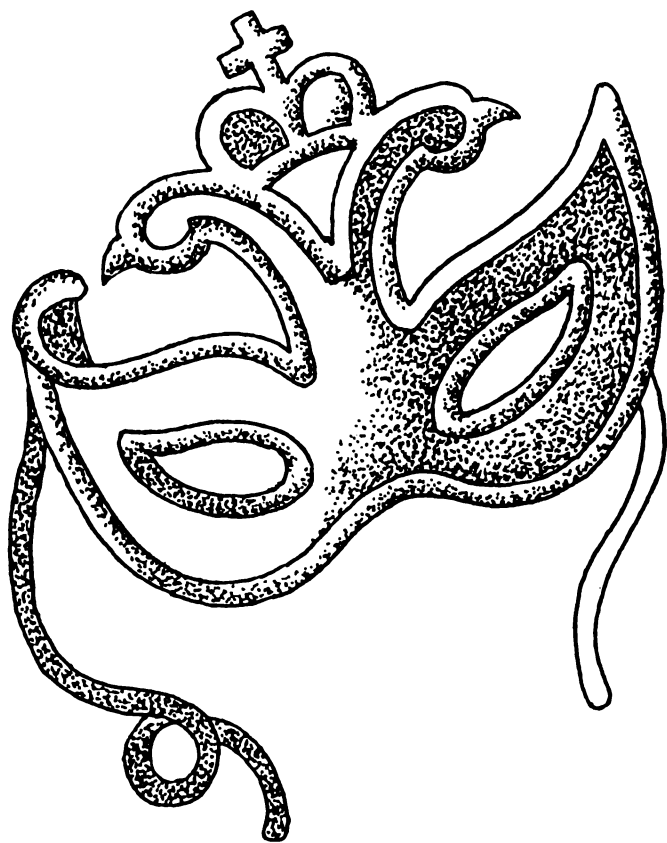
«Разговаривая с Павловым, — пишет Грянник, — я одновременно сравнивал его с цесаревичем Алексеем в фас и правый профиль и не нашел существенных различий между ними, после чего и сказал об этом Ивану Владимировичу, но он и слушать не хотел».

Поразительная скрытность! Надо же, до чего довели человека проклятые чекисты! Впрочем, его можно понять. Ведь вот какой случай произошел с «цесаревичем»: «Однажды Иван Владимирович отогнал палочкой налетевшего на него соседского петуха. Соседка, увидев, как обошлись с ее петухом, рассказала мужу, который, схватив Ивана Владимировича за бороду, отомстил. Павловы жаловались потом в милицию, но власти не наказали обидчика». Тот остался безнаказанным, поскольку был «согледатаем»: окна его дома выходили во двор Павловых, и «лучшего места для наблюдения за всем, что там происходит, за посетителями не найти». Естественно, милиция не посмела и пальцем тронуть хозяина петуха, который был осведомителем КГБ и следил за «цесаревичем».

После этого случая «сын» Николай II тем более предпочитал держать язык за зубами. Несмотря на все усилия, Гряннику так и не удалось его «расколоть». Наученный горьким опытом, И. В. Павлов продолжал настаивать на том, что он — И. В. Павлов, и ни в какую не желал признавать себя цесаревичем.

Ну а если бы пожелал? Если бы, в конце концов, соблазнился возможностью сыграть в предложенную ему увлекательную игру? Если бы поддался на уговоры?

Тогда бы мы имели еще одного самозванца, которые нередко именно так и создавались на протяжении тысячелетий — стараниями тех, кто по той или иной причине был в этом заинтересован.



ПРИЗРАКИ РОМАНОВЫХ II: АНАСТАСИЯ

Как это ни печально, младшая из дочерей Николая II, вместе с отцом, матерью, братом и тремя сестрами погибшая в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, после своей смерти стала героиней одного из самых громких скандалов XX столетия. Эта запутанная история до сих пор во многом остается неясной и оттого — еще более волнующей.

1

28 февраля 1920 года в одной из берлинских газет появилось такое сообщение:

«Неизвестная девушка произвела попытку самоубийства. Вчера в 9 ч. вечера девушка в возрасте около 20 лет бросилась в Ландвер-канал с Бендлерского моста, намереваясь покончить с собой. Она была спасена сержантом полиции и доставлена в Елизаветинскую больницу на Лютцовштрассе. При ней не найдено ни документов, ни каких бы то ни было вещей, и она отказалась объяснить что-либо как о самой себе, так и о причинах, заставивших ее решиться на самоубийство».

Крохотная замечочка, банальный случай. В послевоенной Европе, особенно в побежденной Германии, свирепствует эпидемия самоубийств. Никто еще не подозревает, что это завязка удивительной истории, кото-

рая скоро станет мировой сенсацией, добычей сотен журналистов, а затем с газетных полос перейдет на страницы книг, на театральные подмостки и съемочные площадки Голливуда.

Итак, полицейский сержант храбро кидается в ледяную воду Ландвер-канала (не забудем, дело происходит в феврале!), спасает неизвестную и сначала везет ее в полицию. Там ей дают теплое одеяло, чашку горячего чая, потом приступают к составлению обычного в таких случаях протокола. Но не тут-то было! Девушка пребывает в глубоком шоке и не отвечает ни на какие вопросы. Тогда ее доставляют в больницу, где повторяется та же история. Она упорно молчит. Может быть, она не понимает, о чем ее спрашивают? Может быть, она иностранка? В Берлине в то время жили десятки тысяч русских и польских эмигрантов, поэтому с ней пытаются говорить по-русски, по-польски. Никакого результата. Наконец она говорит: «Прошу вас, ни о чем не спрашивайте!»

Это была единственная фраза, которую слышали от нее врачи за шесть недель ее пребывания в больнице на Лютцовштрассе. Страшно изможденная, с выбитыми передними зубами, с остановившимся безжизненным взглядом, несчастная имела вид не вполне нормального человека. Через полтора месяца, так ничего и не добившись, ее отправили в Дальдорф под Берлином, в психиатрическую лечебницу. Сильнейшее нервное расстройство, потеря памяти — таков был диагноз. Фотографии неизвестной девушки были разосланы по всей Германии, однако ее так никто и не опознал.

Вопрос о том, когда именно она смогла (или захотела) говорить, тогда еще не интересовал ни великих князей и княгинь, ни дипломатов, ни журналистов. Так что трудно сказать, сколько в точности прошло времени, прежде чем к больной вернулся дар речи, и на каком языке произнесла она первые свои слова. Впоследствии она изъяснялась исключительно по-немецки, но с сильным иностранным акцентом. Впрочем, по утверждению одной из сиделок, больная понимала вопросы, обращенные к ней по-русски, хотя и не могла говорить на

этом языке. Отсюда позднее делали вывод, что ее родным языком был какой-то славянский, скорее всего — польский.

Постепенно девушка начала разговаривать с сиделками, но по-прежнему не желала ни назвать свое имя, ни хоть что-нибудь рассказать о себе. Ее терзал беспричинный страх. Ей казалось, что доктора потому пристают с расспросами, что хотят выпытать ее тайну и отправить в Советскую Россию. Завидев человека в белом халате, она пряталась под ковер. Чувствовалось, что она пережила нечто ужасное, что какие-то трагические и кошмарные события предшествовали ее попытке покончить счеты с жизнью. На теле у нее обнаружили несколько шрамов от глубоких, в том числе и пулевых, ранений. Особенно большой шрам имелся на голове, под волосами. Можно было предположить, что эта рана и явилась причиной изменений в ее психике, потери памяти и т. д.

Так прошло полтора года. Наконец в один прекрасный день дальдорфская пациентка внезапно заявила врачам, что она — не кто иная, как великая княжна Анастасия Николаевна, младшая дочь русского царя Николая II, расстрелянного большевиками.

Как отнеслись доктора к этому сенсационному заявлению? Надо полагать, без особого интереса. В психиатрической лечебнице трудно было удивить кого-либо подобными откровениями. Во всяком случае, никому и в голову не пришло выяснить у больной, каким образом ей удалось уцелеть, как она попала в Берлин. Медики отлично понимали, что такие расспросы могут лишь навредить здоровью больной, заставив ее сконцентрироваться на этой маниакальной идее. Да и вряд ли она тогда была способна изложить связную и более или менее правдоподобную историю своего спасения.

Но откуда взялась у нее сама идея?

Осенью 1922 года, когда больная заявила о своем царственном происхождении, в той же дальдорфской лечебнице находилась одна русская немка, портниха высочайшего класса, которая раньше жила в Царском Селе и обшивала великосветских дам. После революции она

оказалась в Берлине, вращалась в русских эмигрантских кругах. Эта женщина была влюблена во все аристократическое, во все, что напоминало о былом блеске и величии императорского двора. Она, разумеется, знала о зверском убийстве Николая II и всей царской семьи, но наверняка через клиенток до нее доходили и слухи о том, будто младшей из дочерей государя удалось избежать гибели. Когда-то давно эта женщина несколько раз видела Анастасию в Царском Селе, и, возможно, она первая заметила, что неизвестная девушка в соседней палате похожа на младшую из великих княжон. Не исключено, что своими подозрениями и расспросами она и навела ее на мысль принять на себя это имя. Впрочем, тайна сия велика есть, и едва ли она когда-нибудь будет раскрыта.

Одно несомненно: портниха первой поверила признанию больной девушки. Это была женщина добрая, сентиментальная, но в то же время, видимо, не вполне здоровая психически. Не зря же ее поместили в психиатрическую лечебницу! Закончив курс лечения, она посетила кое-кого из своих аристократических клиенток и принесла им благоую весть о спасенной из Ландвер-канала бедной «царевне».

Ее рассказ произвел колоссальное впечатление, в Дальдорф потянулись члены русской колонии из титулованных семей. Однако тамошняя пациентка по-прежнему всего боялась и не желала разговаривать ни с кем из посетителей. Правда, некоторым удавалось увидеть ее издали, и они уверяли, что сходство действительно есть. Но мнение этих людей не могло быть решающим, ибо ни один из них не был близко знаком с Анастасией Николаевной.

2

Естественно, возникает вопрос: почему Анастасия? Почему именно ее молва объявила спасшейся из рук палачей? Почему не Ольгу, не Марию, не Татьяну?

Да потому, наверное, что она была младшей из четы-

рех сестер, а судьба, как известно из сказок, всегда благоволит к младшим царским и не только царским детям. Легенда о чудесном спасении «меньшой царевны» — та же сказка, и строилась она по тем же законам. Младшая, — значит, самая чистая, самая невинная. Кому же еще и спастись, если не ей?

Жертвами подобных легенд становились порой сами же большевики — из числа тех, кто не знал об екатеринбургском расстреле. Например, пермский доктор Уткин сообщил колчаковскому следователю Кирсте, что был вызван для оказания медицинской помощи младшей дочери Николая II и собственными глазами видел ее в конце сентября 1918 года, то есть спустя два с лишним месяца после гибели всей царской семьи. Вот его показания:

«Войдя в помещение, занятое больной, я увидел следующее: на диване лежала в полусознании молодая особа, хорошо упитанная темная шатенка со стриженными волосами... На вопрос, поставленный мною больной: «Кто вы такая?» — больная дрожащим голосом и волнуясь тихо сказала: «Я дочь государя, Анастасия». После сказанных слов больная потеряла сознание...»

Эта девушка была поймана красноармейцами на каком-то железнодорожном разъезде за Камой, сильно избита и, видимо, назвалась именем великой княжны в надежде тем самым спасти себе жизнь. Недаром, когда Уткину показали несколько групповых снимков, где среди прочих лиц была сфотографирована Анастасия Николаевна, и предложили опознать девушку, которую он лечил, доктор с этой задачей не справился: он ошибся в четырех случаях из пяти.

Однако из этой и подобных ей историй можно было при желании сделать вывод, что если Анастасию ловили, значит, ей удалось бежать. То есть бежала-то она, а вот поймали не ее.

Такие выводы делали и в России, и в эмиграции. Тем более что за границей время от времени объявлялись «спасители» великой княжны. В разные годы на эти лавры претендовали бывший австрийский военно-

пленный Франтишек Свобода, якобы охранявший царскую семью, и бывший екатеринбургский портной Генрих Клейбенцель, живший якобы напротив Ипатьевского дома. Хотя оба они выступили на сцену позднее, но наверняка у них были предшественники на этом поприще.

Когда же мать Николая II, жившая в Копенгагене вдовствующая императрица Мария Федоровна, не желая принимать ничью сторону в разгоревшейся распре между претендентами на вакантный российский престол, объявила, что не верит в смерть сына, его жены и детей, и запретила близким ей людям служить по ним панихиды, это истолковали в том смысле, что Мария Федоровна знает нечто такое, чего простым смертным знать пока не положено. Тут же вновь поползли слухи о спасении если не всей царской семьи, то, по крайней мере, кого-то из ее членов. Само собой, в первую очередь называлось имя Анастасии. Поговаривали, будто она поселилась в Берлине, но опасается во всеуслышание объявить о себе не то из боязни советских шпионов, не то из каких-то внутрисемейных интриг, связанных с вопросом о престолонаследии. Иным даже мерещилось, будто они видели ее в уличной толпе.

Эмигрантский журналист передает рассказ одного русского берлинца, бывшего флигель-адъютанта при императорском дворе: «Иду я, знаете ли, по Унтер дер Линден¹, от «Адлона» к «Бристолю». Вижу, навстречу идет пожилая дама, по виду англичанка, с молодой барышней. Я оглядел их, так как дамы показались мне знакомыми. И они, кажется, пристально на меня взглянули. Прошли... И тут меня осенило. Господи, да ведь это, вероятно, Анастасия! Я быстро повернул назад. Хотел убедиться, так ли это. Но дамы, заметив мое намерение, поспешно сели в близко стоявшее такси и уехали. Такая досада!»

Вот в этой-то атмосфере слухов, неясных ожиданий, иллюзий и надежд вдруг, как бомба, разрывается сооб-

¹ Центральная улица в Берлине.

шение о загадочной пациентке дальдорфской лечебницы. Таинственность и сходство. Без роду без племени, без биографии, без паспорта. Как тут было не взволноваться!

3

Вскоре некий бывший гвардейский ротмистр с женой, принадлежавшие к русскому аристократическому обществу Берлина, забирают «великую княжну» из Дальдорфа и увозят к себе домой. В больнице у нее не было имени, теперь она получает имя Ани, как в домашнем кругу называли Анастасию Николаевну.

Супруги окружают Ани трогательной заботой, покупают ей туалеты и шляпки. Быть прилично одетой — это очень важно для бедной девушки, однако для дочери государя явно недостаточно. Ведь она совершенно разучилась держать себя так, как подобает особе ее круга. Более того — напрочь разучилась говорить по-французски и по-английски. Между тем она в совершенстве владела этими языками! Русский язык она хотя и понимает, но изъясняться на нем тоже не в состоянии. Потеря памяти — таков официальный диагноз. Ничего удивительного после того, что ей пришлось пережить. Что делать? Надо начинать все сначала, восстанавливать забытое. Ани стали учить языкам, хорошим манерам — в общем, всему, что должна знать и уметь великая княжна. Заодно в нее ненавязчиво вкладывали воспоминания о ее собственном детстве, о родителях, сестрах и близких людях, о Зимнем дворце, Петергофе, Царском Селе, Ливадии и императорской яхте «Штандарт», на которой она частенько плавала, будучи еще девочкой. Разумеется, ротмистр и его жена действовали не вполне бескорыстно. Помимо человеколюбия и монархических чувств ими руководил и практический расчет. Люди небогатые, они надеялись, что с их помощью Ани в конце концов получит всеобщее признание, и связывали с этим надежды на собственное будущее.

Месяцы, проведенные в их семье, должны были

стать для пациентки Дальдорфа периодом «линьки» — временем, когда нужно забиться в темный угол и терпеливо ждать, пока сойдет старая кожа, а новая и нежная окрепнет настолько, что сможет выдержать натиск враждебных стихий. Поэтому сам тот факт, что Ани находится у них в доме, ротмистр и его жена окружили глубокой тайной, которая была известна лишь нескольким интимным друзьям.

В это же время и, очевидно, не без помощи любезных хозяев у Ани сложилась история ее приключений, объясняющая, каким образом ей удалось уцелеть, как она попала в Берлин. Эту историю «великая княжна» пронесла сквозь всю свою жизнь, меняя лишь частности.

Спустя тридцать лет вышла ее книга «Я — Анастасия», написанная по-английски. О событиях той страшной ночи на 17 июля 1918 года, когда в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге погибла вся ее семья, рассказано в ней довольно коротко: «Как только мы все очутились в этой комнате, солдаты начали стрелять в нас из револьверов. Юровский тоже был там, он стоял в центре комнаты и стрелял в папá. Я помню лишь, что стояла позади Ольги, пытаюсь укрыться за ее плечом, и я знаю, я видела, как она, папá и Алексей были убиты. После этого я ничего не помню, я потеряла сознание».

Очнулась она в каком-то доме. Возле нее находились двое молодых людей, девушка и пожилая женщина. Впоследствии выяснилось, что это семья Чайковских: два брата — Александр и Сергей, их сестра Вероника и мать всех троих — Мария. Между собой они говорили по-польски. Оказалось, что Александр Чайковский служил в охране Ипатьевского дома¹. Случайно заметив, что одна из расстрелянных царских дочерей подает признаки жизни, он украдкой вынес ее из подвала и увез к себе домой. Она, Ани, была тяжело ранена в голову, тем не менее Чайковские решили не ждать ее выздоровления и пробираться на запад. Красные искали пропав-

¹ Человек с такой фамилией никогда не значился в списках караульной команды Ипатьевского дома.

шую великую княжну по всему городу, оставаться в Екатеринбурге было опасно. Раненую положили на телегу и тронулись в путь.

Вот как описано это путешествие в книге «Я — Анастасия»:

«Я не могла без содрогания возвращаться мыслями к той ночи, когда папá, и мама, и все остальные были убиты; их стоны и теперь звучат у меня в ушах. Я знаю, я страстно молилась, но меня окружала ночь.

И все время, пока мы странствовали, вокруг меня была ночь, и я не понимала, на каком свете нахожусь. Я пребывала в полубессознательном состоянии, я чувствовала лишь тряскую телегу подо мной. Голова у меня болела невыносимо; она была покрыта влажной тряпкой, и волосы слиплись от крови. Должно быть, я была в лихорадке. Моим единственным желанием было, чтобы хоть ненадолго прекратилась эта ужасная тряска, от которой у меня раскалывалась голова. Должно быть, я кричала тогда от боли и отчаяния. Я слышала голоса людей, которые за мной ухаживали, но не знала, кто они, и не в силах была спросить их об этом. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Может быть, недели, а может быть, месяцы. Мы проезжали по безлюдной местности и останавливались на отдых в лесах; мы двигались по разным дорогам...»

Лишь спустя много времени ей становится лучше. Наконец-то она узнает имена своих спасителей, историю своего спасения. Между тем они движутся дальше, пересекают границу и оказываются в Румынии, в Бухаресте.

Надо сказать, история довольно странная. Во-первых, непонятно, почему Чайковские решили везти спасенную великую княжну на запад, через территории, занятые красными. Ведь авангарды Колчака были тогда уже совсем недалеко от Екатеринбурга, несравненно проще было отсидеться до их прихода или двигаться им навстречу, на восток. Во-вторых, кажется подозрительно, что Ани не могла вспомнить ни одного населенного пункта, через который они проезжали в течение своего многомесячного путешествия. Не могли же они от

Урала до Румынии двигаться исключительно дремучими лесами! Складывается впечатление, что между Екатеринбургом и Бухарестом простирается какая-то дикая пустыня, где нет ни городов, ни сел, вообще ничего живого. Конечно, Ани «пребывала в полубессознательном состоянии», «в лихорадке». Но неужели высокая температура держалась у нее на протяжении полугода с лишним? В таком случае она попросту должна была умереть.

Но вернемся к рассказанной Ани истории.

Итак, она прибывает в Бухарест и здесь выходит замуж за своего главного спасителя — Александра Чайковского. Они венчаются в церкви. Почему она, царская дочь, решилась на столь неравный брак? Из-за ребенка. У нее, оказывается, должен был родиться ребенок, поскольку Чайковский, полюбив спасенную им девушку, еще в дороге вынудил ее отдаться ему. Она не хочет, чтобы ребенок считался незаконнорожденным, поэтому идет под венец с его отцом. Рождается мальчик, он получает имя Алексей. Однако в Бухаресте на Ани обрушиваются новые несчастья: ребенок вскоре умирает, Александра Чайковского убивают на улице какие-то неизвестные люди — вероятно, большевистские агенты. Недавно потерявшая родителей, сестер и брата, теперь — мужа и сына, Ани стоит на грани самоубийства. В конце концов, продав последние оставшиеся у нее драгоценности, она отправляется в Берлин — в надежде на помощь своих родственников по матери, герцогини Гессенской, в частности. Ее сопровождает брат покойного мужа, Сергей Чайковский, но в Берлине он загадочным образом исчезает. Ани остается одна — без денег, без документов. Одетая в лохмотья, больная, изнуренная, не оправившаяся после родов, страдающая ужасными головными болями, Ани совсем не похожа на себя прежнюю. Добиться встречи с родственниками, в том числе с родными сестрами ее матери, императрицы Александры Федоровны, ей не удастся, привратники гонят ее прочь. В приступе отчаяния она бросается в воду... Остальное мы знаем.

Эта история была сочинена в то время, когда Ани жила в доме бывшего ротмистра и его жены. Именно

тогда был заполнен пробел хронологический — между 17 июля 1918 года и 27 февраля 1920 года — и географический — между Екатеринбург и Берлином. Отныне спасенная из Ландвер-канала девушка имела не только имя, но и биографию.

«Кто же был ее автором? — задавался вопросом эмигрантский журналист Литовцев, который в 1928 году одним из первых попытался расследовать эту запутанную историю. — Сама ли Ани или кто-нибудь из ее камарильи? Была ли ее биография просто-напросто ей внушена, или же хитроватая девица, смутно поняв, что привело ее в этот уютный дом, что нужно для того, чтобы в нем укрепиться, пошла навстречу спросу и талантливо предложила необходимую историю? В точности это неизвестно. Вероятнее, что именно Ани, обладавшая богатым воображением неврастенички, сама придумала свою биография, черта за чертой. И кто знает: может быть, в конце концов, сама в нее поверила...»

4

Ротмистр с женой не жалели ни времени, ни денег на то, чтобы гадкий утенок поскорее превратился в прекрасного лебедя. Однако дело подвигалось плохо. Языки Ани не давались, хорошие манеры — тоже. Гораздо больше ее интересовали платья и шляпки. В дополнение ко всему она под всевозможными предлогами пыталась улизнуть из дому, что ей, естественно, разрешали крайне неохотно. Бывало, Ани где-то пропадала целыми днями, являясь лишь под вечер. К тому же однажды в ее отсутствие пришел какой-то сомнительного вида господин, пожелавший видеть Ани и говорить с ней, но не назвавший своего имени. Хозяева начали подозревать, что их воспитанница поддерживает тайные связи с тем миром, из которого она вырвалась два года назад, чтобы броситься в ледяную воду Ландвер-канала. В то же время попытка привлечь к Ани внимание некоторых лиц, близких вдовствующей императрице Марии Федоровне, не увенчалась успехом. Зато подозрительный гос-

подин явился опять и вел себя очень странно. Терпение хозяев начало иссякать, они уже рады были бы сбыть с рук изрядно поднадоевшую им «великую княжну» и при первой возможности с удовольствием уступили Ани своим знакомым — барону и баронессе фон Клейст, которые поселили ее у себя.

Новые покровители постарались оградить Ани от всяких нежелательных контактов с внешним миром. На прогулках ее сопровождала специально приставленная к ней надзирательница, но одновременно под видом вечеринок в дом были приглашены влиятельные члены русской аристократической колонии в Берлине. Большинство из гостей до революции принадлежало к высшему петербургскому обществу, многие лично были знакомы с великими князьями. Мнения гостей, выступивших в роли экспертов, резко разделились: одни утверждали, что воспитанница фон Клейстов — вылитая Анастасия Николаевна, другие — что между ними нет ни малейшего сходства.

Образование и воспитание Ани продолжалось по-прежнему без большого успеха. По-русски она говорила едва-едва, с английским и французским дело обшлось еще хуже. Ее манеры также оставляли желать лучшего. Неважно было и со здоровьем. Ани страдала анемией, временами рассудок ее мутился (или она симулировала нервные припадки). На нее нападал столбняк, она никого не узнавала, не отвечала на вопросы, часами молчала или бормотала что-нибудь вроде следующего: «Ужасно... Смерть... Грязь... Кровь... Почему мое платье все в крови? Все в крови... Всюду кровь...»

При этом она обладала на редкость скверным характером: была груба, упряма, капризна, вздорна, не терпела никаких возражений, во всем пыталась настоять на своем и устраивала скандалы по малейшему поводу. Она была подвержена резкой смене настроений: от слез переходила к бурному веселью и наоборот. Если же кто-то не признавал в ней великую княжну, Ани в ответ закатывала дикие истерики. Словом, девица была не подарок.

Фон Клейст связывал с ней приблизительно те же

планы, что и ротмистр, но взялся за дело гораздо энергичнее. Он хотел добиться официального признания Ани в качестве дочери и единственной законной наследницы Николая II, однако встретил мощное противодействие со стороны другого претендента на императорский титул — великого князя Кирилла Владимировича. Живая Анастасия была совершенно не в его интересах, и через своих сторонников, влиятельных немецких аристократов, фон Клейсту ясно дали понять, что в Германии его затея не встретит поддержки: самозванка будет подвергнута строжайшему обследованию и, вне всякого сомнения, разоблачена.

После этого барон и баронесса фон Клейст куда менее терпимо стали относиться к выходкам своей воспитанницы. В результате Ани от них не то сбежала, не то хозяева сами указали ей на дверь.

К тому времени у нее уже были кое-какие знакомства в эмигрантской среде. В течение нескольких недель она переходила из одной семьи в другую, нигде надолго не задерживалась, что было естественно при ее характере. Наконец весной 1923 года судьбой Ани заинтересовался берлинский полицейский комиссар Грюнберг. Он подошел к проблеме как профессиональный следователь: побеседовал с персоналом дальдорфской лечебницы, опросил всех русских знакомых Ани и записал их показания. Он же первым положил на бумагу и легенду о ее спасении, которая до него существовала лишь в устном варианте, причем не в единственном. В качестве полицейского комиссара Грюнберг сумел сделать и то, чего не смогли добиться ни ротмистр с женой, ни супруги фон Клейст: он устроил свидание Ани с ее «теткой» по матери, герцогиней Гессенской.

Вот как описывает он эту знаменательную встречу, состоявшуюся в его имении под Берлином:

«Мы уже садились за обед, когда приехала высокая гостья. Ани не было в доме, она была на прогулке. Герцогиня села с нами за стол и просила ничего не говорить Ани, представив ее просто как их знакомую, соседку по имению. Вскоре Ани пришла. Весьма недружелюбно взглянув на незнакомую даму, она села на свое

место и по обыкновению молчала. Напрасно герцогиня старалась вызвать ее на разговор; Ани отвечала ей нехотя или совсем не отвечала. Потом она внезапно вскочила и со словами «Я знаю, кто эта дама... Я не хочу говорить с нею!» убежала в свою комнату. Тогда герцогиня со словами «Ани, что с тобой? Ты ведь меня узнаешь?» встала из-за стола и вместе со всеми нами пошла за Ани. У дверей комнаты она попросила оставить ее одну и вошла к Ани, закрыв за собой дверь. Что за разговор произошел между ними, я не знаю, но через десять минут герцогиня вышла из комнаты, очень взволнованная, и сказала: «Возмутительно! Дерзкая девчонка!.. Никакого, даже малейшего сходства с Анастасией у нее нет... Ни голова, ни уши... Это совсем не она!»

Бедный честный Грюнберг! Он был разочарован и огорчен, но совесть не позволила ему просто взять и выставить самозванку на улицу. Вдобавок здоровье Ани с каждым днем ухудшалось. Домашнее лечение не помогало, и Грюнберг отвез девушку в Берлин, где ее поместили в городскую больницу. Здесь она провела несколько месяцев. Казалось, все кончено, все от нее отвернулось, но осенью 1923 года ей вновь улыбнулось счастье: у Ани появляются новые благодетели, люди со средствами и, что важнее, со связями. Во главе этой группы стоял бывший профессиональный дипломат Сергей Боткин, в прошлом — русский резидент при баварском дворе. Отныне закончилась эпоха «старателей-одиночек», за разработку золотой жилы, каковой была Ани, взялась целая артель опытейших специалистов. Предприятие сулило колоссальные выгоды, ведь стоило лишь добиться официального подтверждения того факта, что Ани и есть великая княжна Анастасия Николаевна, как в ее распоряжении оказались бы так называемые «царские» вклады во многих банках Европы, Америки и Японии. Это были громадные суммы!

Прежде всего Боткин вовлек в свое предприятие барона Цалле, посла Дании в Берлине. Почему именно его? Да потому что вдовствующая императрица Мария Федоровна, бабушка Анастасии, происходила из датского королевского дома. Сама она, правда, и слышать не

желала о своей «внучке», не говоря уж о том, чтобы по-видаться с ней, однако другие копенгагенские родственники Романовых оказались не столь принципиальны. Они не исключали возможности того, что спасенная из Ландвер-канала девушка приходится им близкой родственной. В общем, когда из обычной городской больницы Ани перевели в отдельную палату фешенебельного Момзен-санаториума, Цалле добился, чтобы все расходы на ее содержание и лечение взяло на себя правительство Дании, точнее, датское посольство в Берлине.

В Момзен-санаториуме у Ани появилась персональная сиделка, причем не простая. Обязанности по уходу за ней добровольно приняла известная в Германии детская писательница, художница, организатор художественных выставок и салонов, госпожа Ратлеф-Кельман. Разумеется, ею двигало не только чувство сострадания к несчастной больной девушке и не солидное вознаграждение за счет датской казны. Как и большинство прочих участников интриги, эта дама надеялась или занять высокое положение при русском императорском дворе, если в России будет восстановлена монархия, или хотя бы получить свою долю причитающихся наследникам престола заграничных денег.

Госпожа Ратлеф-Кельман не просто поправляла больной подушки и подносила лекарства. У нее была масса других забот. Во-первых, она продолжила дело, начатое ротмистром, его женой и супругами фон Клейст: учила Ани языкам, преподавала ей элементарные сведения по географии и русской литературе, рассказывала о деяниях ее царственных предков. Ведь «великая княжна» все забыла! Во-вторых, бдительная сиделка не допускала к Ани тех лиц, которые вызывали подозрения у Боткина по причине их скептического отношения к его питомице. В-третьих, госпожа Ратлеф-Кельман объясняла Ани, как нужно вести себя с тем или иным посетителем, в каких случаях можно ответить на вопрос, в каких — сослаться на усталость, головную боль и т. д.

Для обследования больной были приглашены светила медицинской науки, среди них — бывший москов-

ский профессор Руднев, популярный в эмигрантской аристократической среде.

Между прочим, десятилетием раньше, в 1914 году, он однажды мельком видел Анастасию Николаевну. Вот его воспоминания об этом эпизоде:

«В день объявления Его Императорским Величеством Николаем II войны Германии я находился в Москве и как раз утром этого дня, около 10 часов, шел с профессором Павловым от Ильинских ворот мимо Кремлевского дворца. Вдруг, когда мы проходили возле самого дворца, в нас брошены были сверху из окна два бумажных шарика. «Кто это бросает?» — обратился я к профессору Павлову. Тот сказал мне: «Перейдем на другую сторону и увидим». Перейдя на другую сторону, мы увидели убегающих от окна двух молодых барышень в белых платьях. На мой вопрос «Кто эти дамы?» профессор Павлов, знавший хорошо императорскую семью, ответил: «Это Их Императорские Высочества великие княжны Анастасия и Татьяна Николаевны».

Далее Руднев пишет:

«Вспомнив этот эпизод из моей жизни, *который я никому не рассказывал*, я спросил мою пациентку: «Скажите, что вы делали утром в Москве в 1914 году, когда ваш батюшка объявил народу о войне?» Больная подумала и быстро ответила: «Мы шалили с сестрой и бросали из окна бумажки».

А вот ехидный комментарий современника событий:

«Бумажные шарики профессора Руднева произвели в русских кругах, приверженных Ани, колоссальное впечатление. Эти шарики перебрасывались из салона в салон, из сердца в сердце. Правда, зловредные скептики дивились: как это так?! Забыла все, решительно все. Детство, Сибирь, как пули вынимали, с кем встречалась, имена лиц, названия городов, русские имена существительные, английские деепричастия, французские глаголы — и помнит шарики! И как помнит! На первый вопрос, что она делала в Москве в утро объявления войны, пациентка из целого ряда действий, которые она совершала в это историческое утро, выуживает как раз

ту шалость, которая запомнилась профессору Рудневу... Но действительно ли он никогда, так-таки никогда и никому об этих курьезных шариках не рассказывал? Нет, профессор Руднев запомнил: он о шариках рассказывал. О них знали в Берлине. Нет оснований полагать, что этот анекдот не был известен лицам, близким к Ани. Например, госпоже Ратлеф-Кельман...»

5

Другая история того же типа приключилась с бароном Остен-Сакеном, ближайшим помощником Боткина и пламенным сторонником Ани.

В докладе барону Цалле он писал:

«Придя в Момзен-санаториум, я сообщил о цели своего визита и вскоре был принят госпожой Ратлеф, которая, осведомившись, кто я, сказала, что я могу видеть великую княжну, и ввела меня в комнату, где находилась Ее Высочество. Разговаривая по-немецки с госпожой Ратлеф и наблюдая великую княжну, я попросил разрешения закурить и вынул свою трубку. Эта трубка была куплена мною в Киеве, еще во время войны, и была, как говорили мои знакомые, близко стоявшие к Императору Николаю II, копией трубки, из которой курил Государь. Сходство это, как говорили, было полное, так что многие думали, что это трубка Его Величества... Когда я закурил трубку, то госпожа Ратлеф, обращаясь к великой княжне, сказала: «Видишь, какая оригинальная трубочка для папирос?» Великая княжна несколько раз внимательно взглянула, но ничего не сказала. Вскоре, считая свой визит законченным, я покинул санаториум.

На другой день, около 10 часов, меня вызывает по телефону госпожа Ратлеф и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что это за трубочка была у вас вчера? После того как вы ушли, княжна стала очень нервна, не раз плакала и спрашивала у меня, откуда у господина эта трубочка? Я спрашивала ее, чего эта трубка так ее волнует, но она мне ничего не отвечала. И вот я решила

справиться у вас и попросить вас прийти еще раз и показать вашу трубочку».

На следующий день, придя в санаториум, я был тотчас принят госпожой Ратлеф и введен в комнату. Я уже намеренно вынул и хотел закурить свою трубку, но великая княжна попросила у меня разрешения взглянуть на нее. Я передал ей трубку и спросил, почему она ее так интересуется.

«Ах, как же! — воскликнула великая княжна. — Ведь из такой точно трубочки курил в последнее время папа... Я ее так помню!.. И сестры эту трубочку знали... Вы об этом можете всем рассказать!»

Свой рассказ барон Остен-Сакен завершает словами: «Все вышеизложенное я готов подтвердить под присягой».

Но никто из противников Ани и не думал подозревать его во лжи. Разумеется, именно так все и было. Вспомним, однако, слова госпожи Ратлеф-Кельман, обращенные к ее подопечной: «Видишь, какая оригинальная трубочка для папирос?» Наверняка она знала о сходстве этой трубочки с той, которую когда-то курил Николай II, поскольку сам Остен-Сакен неоднократно об этом рассказывал их общим знакомым. Не случайно же при первом его визите Ани на «трубочку» никак не прореагировала! Зато к следующему свиданию она была уже подготовлена своей сиделкой и добросовестно повторила затверженный урок.

В 1924—1925 годах Боткин развивает бурную деятельность. В Момзен-санаториум, где Ани по-прежнему содержится на датские деньги, со всех концов Европы стекаются те, кто когда-то знал Анастасию Николаевну. Мнения вновь расходятся.

Пьер Жильяр, бывший воспитатель цесаревича Алексея, сначала признает в пациентке Момзен-санаториума Анастасию Николаевну, но затем решительно отказывается от своего признания. Нет, это не она! В ней нет никаких черт фамильного сходства: ни линии губ, ни характерного строения ушей Гессенского дома, которое у Анастасии было выражено особенно ярко. Ее манеры и акцент свидетельствуют, что эта особа никогда не быва-

ла при дворе. Она не проявила не только знания интимных сторон жизни царской семьи, но и самого поверхностного знания двора, доступного бывавшим при дворе лицам... Почему же Жильяр вначале признал в ней великую княжну? Он попросту покривил душой, уступив давлению некоторых весьма влиятельных особ.

Вокруг Ани завязывается сложная интрига с участием многих представителей дома Романовых. Разобраться во всех ее хитросплетениях чрезвычайно трудно, однако все они так или иначе связаны с борьбой ряда претендентов на титул «императора всероссийского» и с соперничеством различных монархических группировок русской эмиграции, поддерживающих ту или иную кандидатуру на роль «короля в изгнании».

Великая княгиня Ольга Александровна, тетка Анастасии по отцу, после посещения Момзен-санаториума признает в Ани свою племянницу, но тетки по матери решительно отказывают ей в признании. Бабушка по отцу также против. Резко враждебно по отношению к «самозванке» настроены старшие великие князья — Николай Николаевич и Кирилл Владимирович. Зато младшие — Дмитрий Павлович, Андрей и Борис Владимировичи — сочувственно относятся к мнению Ольги Александровны и склонны скорее проголосовать «за», чем «против» (именно эта группа соответствующим образом подготовила Жильяра к визиту в Момзен-санаториум).

Неутомимый Боткин уже сумел выхлопотать для Ани немецкий паспорт на имя Анастасии Николаевны — правда, увы, не Романовой, а Чайковской. Ведь такова фамилия ее мужа, с которым она будто бы обвенчалась в Бухаресте. Однако вот незадача: ни в одной из бухарестских церквей не обнаружено записи ни об их венчании, ни о крещении родившегося у них ребенка.

Но сторонников Ани это ничуть не разочаровывает. Мало ли! Румыния — это вам не Германия, где документация содержится в образцовом порядке. Да и где гарантии, что проверены все бухарестские церкви? Что ни одна не забыта? То-то же!

Тем временем все новые лица, причем весьма авто-

ритетные, делают свои заключения относительно пациентки Момзен-санаториума.

Алексей Волков, бывший камердинер императрицы Александры Федоровны:

«Я нашел в Чайковской очень мало сходства с великой княжной Анастасией Николаевной, о чем тут же заявил барону Цалле и хотел тотчас же уехать. Барон просил меня остаться на некоторое время... При последующих моих посещениях Чайковской присутствовали госпожа Ратлеф и барон Цалле. При этих свиданиях я также не мог найти сходства, да и сам не был признан Чайковской».

Николай Саблин, бывший офицер императорской яхты «Штандарт»:

«Можете отрубить мне голову, но я не вижу в ней ни малейшего сходства с Анастасией Николаевной!»

Татьяна Боткина, дочь лейб-медика Е. С. Боткина, расстрелянного в Екатеринбурге вместе с царской семьей:

«Если бы вы на минуту смогли вообразить себя на моем месте, то есть на месте человека, который признал Анастасию Николаевну не по фотографиям, не по одному свиданию, а также по разговорам, которые, кроме нее, никто не мог знать...»

Последнее свидетельство более чем сомнительно. Если внимательно прочесть «Воспоминания о царской семье» Татьяны Боткиной (по мужу — Мельник), становится ясно, что никакой особой близости между его автором и царскими дочерьми никогда не было, их встречи носили мимолетный характер. Похоже, что решающую роль в этом признании сыграли родственные узы, связывающие Татьяну Боткину с главным опекуном Ани.

Вскоре из Америки приезжает младший брат Татьяны, журналист Глеб Боткин, и тоже активно включается в семейное предприятие. Но не дремлют и активисты враждебного лагеря. Они вводят в бой «тяжелую артиллерию» в лице герцога Эрнста-Людвига Гессенского: отныне его кошелек открыт для всякого рода экспертиз, чья цель — уличить Ани в самозванстве.

Дальше — больше.

В 1926 году, когда Ани, выйдя из Момзен-санаториума, гостит в Баварии сначала у Татьяны Боткиной, затем — у герцога Лейхтенбергского в его имении под Мюнхеном, в Берлине разгорается грандиозный скандал. В руки противников Ани попадает целый ряд совершенно секретных документов из противоположного стана. Это неблагоприятные для «великой княжны» заключения экспертов, доклад о проверке записей в бухарестских церквах, письменные распоряжения Боткина о том, чтобы не допускать к Ани некоторых лиц, в прошлом хорошо знавших Анастасию Николаевну, но скептически настроенных по отношению к пациентке Момзен-санаториума, и т. д. Все это раньше было скрыто от широкой общественности, а теперь выходит наружу и становится достоянием прессы. Скандалные разоблачения следуют одно за другим.

Наконец, враги Ани наносят последний удар. В апреле 1927 года одна из берлинских газет публикует сенсационное сообщение о том, что подопечная Боткиных — самозванка, ее настоящее имя Ганна Шанцковская. Она — полька, в прошлом работница какой-то фабрики; по фотографии, помещенной в газете, ее признала некая дама, у которой сестра Ганны служила горничной. Одно время Ганна тоже жила в доме этой дамы, потом куда-то исчезла, ее считали потерянной, но в один прекрасный день она объявилась, сказав, что очень хорошо устроилась и надолго уезжает за границу.

Дама со своим открытием обратилась в полицию, ей устроили очную ставку с Ани. Та закатила истерику, кричала: «Я не хочу видеть эту женщину! Уберите ее прочь!» Дама подтвердила свои слова: да, это Ганна Шанцковская, сестра ее горничной. Противники Ани торжествовали: финита ля комедия! Однако они рано праздновали победу.

Казалось бы, удар неотразим, но сторонники «великой княжны» делают ответный выпад. Они заявляют, что эта дама лжет, что ее подкупили. Есть ли какие-то основания для столь грозных обвинений? Да, есть. Причем достаточно веские. Людям из группы Боткина уда-

лось выяснить, что журналист, предавший гласности всю эту историю, в дополнение к гонорару получил еще и 20 тысяч марок от герцога Эрнста-Людвига Гессенского. Естественно, тень подозрения ложится теперь и на даму-свидетельницу, которая, кажется, уже и сама не уверена, что правильно опознала в Ани сестру своей бывшей горничной. Что же касается истерики при встрече с этой дамой, тут, заявляют друзья Ани, нет ничего необычного: она нередко подобным образом реагирует на людей, почему-либо вызывающих ее неприязнь.

Так как же все-таки обстояло на самом деле? Кто такая Ани? Ганна Шанцковская или нет?

Вопрос этот, увы, темен, и однозначного ответа на него дать нельзя.

Одно несомненно: Ани была кем угодно, только не великой княжной Анастасией Николаевной.

6

В 1928 году княгиня Ксения Георгиевна, дочь великого князя Георгия Михайловича, приглашает Ани к себе в Нью-Йорк, и Глеб Боткин от греха подальше увозит ее в Америку. В нью-йоркском отеле он зарегистрировал свою питомицу под именем Анны Андерсон. Имя привилось, под ним Ани и прожила следующие сорок лет своей долгой жизни — пока не вышла замуж.

В Америке предприимчивый Глеб Боткин создает акционерное общество под названием «Русская великая княжна Анастасия Николаевна» и сам занимает пост его бессменного председателя. От ставит дело на широкую ногу, ведет его с американским размахом и не без успеха. Акционеров прельщают солидными дивидендами, которые будут выплачены после того, как госпожа Андерсон, то есть Ани, получит официальное признание в качестве дочери Николая II и соответственно его единственной законной наследницы.

Многие клюют на эту удочку. Наследство-то действительно громадное! Только в экономике Соединенных Штатов насчитывалось до 120 миллионов долларов вло-

жений, сделанных правительством последнего русского императора (средства вкладывались в недвижимость, железные дороги, золотые прииски и др.). Если царственное происхождение госпожи Андерсон будет подтверждено, она может рассчитывать на определенную долю прибыли с этих и им подобных вложений в других странах. Кроме того, в Английском банке еще до революции были открыты счета на имя каждого из детей Николая II; только на счете самой Анастасии Николаевны — несколько миллионов фунтов стерлингов, и эти деньги принадлежат не русскому правительству, а ей лично.

Словом, было за что побороться.

И Глеб Боткин вступает в борьбу. В 1933 году он вместе с Ани уезжает в Германию, где затевает скандальный, с участием множества титулованных свидетелей, судебный процесс о признании Анны Андерсон великой княжной Анастасией Николаевной. Все это сопровождается шумной газетной кампанией всеевропейского характера.

Проиграв один процесс, акционерное общество «Русская великая княжна Анастасия Николаевна» во главе с Глебом Боткиным немедленно начинает другой, и лишь начавшаяся вторая мировая война временно ставит точку в этих бесконечных юридических сражениях. Боткин и Ани возвращаются в Америку, где копят силы для будущих битв.

После войны все начинается сначала и с тем же результатом. Последний из затеянных Боткиным судебных процессов Ани проиграла в 1961 году, в Гамбурге. Затем, в связи с появлением новых свидетелей (число их за все эти годы просто не поддается учету), дело было пересмотрено в том же Гамбургском суде в 1967 году. Прежний приговор остался в силе. Последовала очередная апелляция, и спустя еще три года Верховный суд ФРГ в Карлсруэ вынес окончательный вердикт, отказавшись признать тот факт, что Анна Андерсон и великая княжна Анастасия Николаевна Романова — одно и то же лицо.

Впрочем, к тому времени Ани носила уже фамилию

не Андерсон, а Манаган. В 1968 году, когда ей было 67 лет (если считать датой ее рождения 1901 год, когда родилась настоящая Анастасия¹), она вышла замуж за сорокадевятилетнего Джона Е. Манагана, друга Боткина, бывшего профессора истории и политологии в университете штата Виргиния. Жена была старше его на 18 лет, но Джон Манаган считал, что ему выпала большая честь быть мужем русской великой княжны, к тому же — мировой знаменитости. Он окружил жену заботой, взял на себя ведение всех ее дел, переписку, переговоры с бесчисленными посетителями и т. д.

Супруги поселились в Виргинии, в городке Шарлоттсвиле. Ани, по всей видимости, была вполне довольна жизнью. Соседи рассказывали, что она держала множество кошек и собак и любила ездить обедать в дорогие рестораны.

Журналисты из разных стран мира не оставляли ее своим вниманием. Она раздавала интервью, выступала по телевидению. Причем частенько рассказывала совсем не то, о чем написано было в ее же собственной книге «Я — Анастасия», вышедшей в 50-х годах. Например, когда однажды телевизионный ведущий попросил ее подробнее рассказать о расстреле царской семьи в Екатеринбурге, она загадочно ответила: «В Екатеринбурге все было совершенно не так, как о том говорят. Но если я расскажу, как это было, меня сочтут сумасшедшей».

И добавила: «Если я скажу это, меня сразу убьют».

В общем, такого рода экстравагантными заявлениями Ани умело поддерживала интерес к собственной персоне.

До конца жизни она оставалась на виду, однако ни ей самой, ни членам акционерного общества «Русская великая княжна Анастасия Николаевна» так и не удалось получить ни копейки из тех «царских» вкладов, что хранились во многих европейских банках.

Один из интервьюеров как-то спросил ее, не собирается ли она начать новый судебный процесс.

¹ И 72 года, если она была Ганной Шанцковской, родившейся в 1896 году.

«Нет, — ответила Ани, — я слишком стара для всей этой грязи. Я слишком больна для постоянных расспросов. Даже маленькие дети спрашивают меня: «Анастасия, когда ты получишь обратно свои драгоценности?» Я никогда их не получу. У меня просто нет желания этим заниматься, и мне уже никогда не носить моих драгоценностей».

Она умерла 12 февраля 1984 года, так и не рассказав, что же такое случилось в Екатеринбурге с Николаем II и всей царской семьей.

Тело ее кремировали, а урну с пеплом захоронили на кладбище Шарлоттсвиля, штат Виргиния. Осталась лишь прядь волос.

7

Кроме этой, самой знаменитой «Анастасии», время от времени появлялись и другие.

Вот, например, что рассказывает Серго Берия в своей книге «Мой отец — Лаврентий Берия»:

«Произошло это через несколько лет после войны. К тому времени я уже был офицером, окончил Военную академию и служил в Москве. У военных свободного времени не так много, но когда удавалось, охотно посещал театры. Зная мою страсть, мама как-то предложила: «Серго, сегодня идем в театр. В Большом — «Иван Сушанин».

«Мама, — говорю, — я ведь не Иосиф Виссарионович. Это он может «Сусанина» по сорок раз слушать...»

«Пойдем, Серго, — уговаривает мама. — Покажу тебе очень интересного человека».

Места у нас оказались в шестом или седьмом ряду, довольно близко к ложе, где сидела незнакомая женщина.

«Это ради нее я тебя уговаривала», — говорит мама.

Смотрю: сидящая уже женщина в темной одежде, с очень выразительным лицом. Весь спектакль она проплакала.

«А знаешь, кто она?» — спрашивает мама.

«Понятия не имею», — отвечаю.

«Дочь Николая Второго. Великая княгиня¹ Анастасия».

Я, конечно, опешил. Знал ведь, что всю царскую семью еще в восемнадцатом на Урале расстреляли...»

Вернувшись после спектакля домой, Серго Берия узнал следующую историю:

«Уже после войны к моему отцу обратился один офицер. То ли капитан, то ли майор. То, что он рассказывал, на первый взгляд выглядело довольно странно. Во время войны он был тяжело ранен на территории Польши. Подобрали его монахины какого-то православного монастыря, выходили. Там, в монастыре, наш офицер знакомится с настоятельницей, и у них складываются доверительные отношения. Настоятельница, как он рассказывал, было интересно общаться с русским. Позднее, предварительно взяв с него слово о молчании, она призналась ему: «Я — дочь Николая Второго. Анастасия...» Не знаю, что побудило того офицера, вернувшись на Родину после войны, рассказать о ней моему отцу, но такое обращение — факт...»

Дальше, если верить Серго Берия, история принимает совершенно фантастический оборот. Лаврентий Берия доложил обо всем Сталину, тот усомнился: «Может, самозванка? Проверьте». Берия проверил, не прибегая, видимо, к своим обычным методам, и доложил Сталину, что нет, не самозванка. По всей вероятности, он понял, что Сталин хотел бы услышать именно такой ответ. После этого настоятельницу монастыря пригласили приехать в СССР. Две недели она и сообщивший о ней офицер жили в Москве в специально выделенном для нее особняке. Она побывала в Ленинграде, посещала музеи, театры. Во время одного из таких посещений ее и видел Серго Берия.

«Деталей проверки и тому подобное я не знаю, — пишет он, — но слышал от отца, что ей было предложено полное государственное обеспечение. Анастасия Николаевна поблагодарила за приглашение остаться в

¹ Так в тексте.

СССР, но отказалась. Сказала, что дала обет Господу и должна возвращаться в монастырь. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать. Знаю только, что она возвратилась тогда же в Польшу...»

Самое любопытное, что, вероятно, в общих чертах так все и было. Едва ли, разумеется, тот офицер добровольно рассказал Берии о своей встрече с «великой княжной», но в остальном история выглядит вполне правдоподобно. Проницательный Лаврентий Павлович не мог не знать о тогдашних настроениях Сталина, тяготившего к русской монархической идее, и, похоже, в угоду ему устроил этот трогательный спектакль с паломничеством «царской дочери» в страну победившего социализма.

Возможно, он связывал с ней и какие-то другие, более практические планы пропагандистского характера. Какие именно? Ну, например, ее могли признать Анастасией, чтобы затем она отреклась от своих прав на престол в пользу Сталина, если бы тот пожелал из Генерального секретаря ЦК ВКП(б) стать императором все-российским.

Гипотеза, конечно, фантазмагорическая, тем не менее подобная идея уже имела место в истории. Полутора столетиями раньше всемогущий министр французской полиции Фуше (чем не Берия!) вынашивал такие планы в отношении самозванца Эрваго, выдававшего себя за Людовика XVII: ему предстояло отречься от престола в пользу Наполеона Бонапарта.

Уж кто-кто, а Берия, само собой, отлично знал, что его протеже — самозванка, но скрыл это от всех, в том числе от собственной жены и сына.

Как все самозванцы, эта женщина имела и «легенду», объясняющую, каким образом ей удалось избежать гибели в подвале Ипатьевского дома. По ее словам, своим спасением она обязана была доктору Боткину и его дочери, которую отец отправил на смерть вместо Анастасии.

«Девушка погибла ради того, чтобы не засохла последняя веточка императорского дома, — не без пафоса

пишет Серго Берия. — Доктор Боткин, идя на такую жертву, спасал Россию. Вернее, пытался спасти».

Пафос понятен, однако, как говаривал шеф Лаврентия Павловича, факты — упрямая вещь. А факты таковы: Татьяна Боткина, дочь расстрелянного вместе с царской семьей лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина, дожила до глубокой старости и умерла во Франции в 1985 году, на год пережив Анну Андерсон-Манаган, в которой она когда-то признала великую княжну Анастасию Николаевну.

А вскоре после их смерти выплыл еще один, совершенно курьезный призрак младшей из дочерей Николая II.

В конце 80-х годов, в эпоху «ликвидации белых пятен нашей истории», азартные перестроечные журналисты напали на некоего Евгения Парханова. Он рассказал, что однажды в 1952 году, когда его из лагеря перевели в печально знаменитую Казанскую психиатрическую больницу для политзаключенных, к нему подошли двое местных старожилов и спросили: «Вы русский и православный ли?» — «Да, и даже крещеный», — отвечал Парханов. Тогда эти двое сообщили ему, что здесь же, в женском отделении больницы, содержится дочь Николая II, «принцесса Анастасия Николаевна», после чего попросили уделить ей часть полученной Пархановым посылки. Он вспоминал: «Они отрезали заточенной алюминиевой ложкой кусок пирога, колбасы, взяли конфет, коржиков, завернули все в бумагу и ушли».

На следующий день, рассказывал Парханов, он наблюдал, как к калитке женского отделения подошли четверо мужчин во главе с приходившим к нему накануне стариком. Далее события развивались следующим образом: «Ровно в 10 часов со ступенек сошла Анастасия, почтительно поддерживаемая под локти двумя фрейлинами. Она была в траурном наряде с густой вуалью и длинным шлейфом, который несли за ней две молоденькие девочки, а третья шла сзади, замыкая процессию. Они остановились в пяти метрах от калитки, ведущей в мужскую половину... Мужчины, не доходя до Анастасии метра два, встали на одно колено. Она со

свитой приблизилась к ним, они поздравили ее с праздником, передали подарки...»

По словам Парханова, праздник был двойной: «300-летие дома Романовых», а также «тезоименитство царской семьи».

Все это абсолютная чушь!

Как известно, 300-летний юбилей Романовых отмечался в 1913 году, а уж никак не в 1952-м. Что же касается «тезоименитства царской семьи», то такого праздника сроду не бывало. Тезоименитство — это высочайшие именины, а коллективных именин быть не может.

Хороша также сцена появления «принцессы» со свитой на крыльце женского отделения. Если у пациентов советского «желтого дома» имелись какие-то представления о придворном церемониале, то они должны были быть именно такими.

В общем, перед нами выбор из трех вариантов:

1. Отклонениями в психике страдал сам рассказчик.
2. Сумасшедшей была эта женщина в наряде «с длинный шлейфом», а также ее «фрейлины» и прочие участники церемонии.
3. Спектакль затеян был с единственной целью: выманить у наивного Парханова и других, ему подобных, колбасу, коржики и др.

Но если отбросить последний вариант как маловероятный, можно сделать вывод о том, что даже в страшную Казанскую «психушку» и даже в годы сталинского террора люди порой попадали по прямому назначению.

Совсем недавно в Югославии скончалась «дочь» Анастасии, то есть «внучка» Николая II, а в январе 1997 года в одной из подмосковных церквей состоялась церемония «венчания на царство» некоего Николая III, имеющего, как он заявляет, законные права на российский престол.

Не вдаваясь в подробности родословной этого «самозванца», приведем его ироническую «автобиографию», которую поместила «Независимая газета» в номере от 6 февраля 1997 года:

«Родились Мы в 1918 году в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, от батюшки Нашего, Государя Императора Николая II, и матушки, Императрицы Александры Федоровны. Родились тайно, так что и сам ГубЧeka не пронюхал о беременности. Перед тем как г-н Юровский надругался над Нашей семьей, предусмотрительная служанка выложила Нас в виде малозаметного свертка за окно.

В ту революционную пору города и веси великой России представляли собой зрелище препечальное, по площадям и скверам в поисках поживы ходили голодные звери. Некая волчица унюхала Нас и унесла в тайгу на ужин своим волчатам. Но потом пожалела и вскормила своим молоком. Так и жили Мы в лесу на свежем воздухе, а тамошний раскольник научил Нас русской речи и истории. Накануне 70-летия Великого Октября голос предков погнал Нас в город. Аккурат в тот ночной момент, когда Мы тайком поминали наших августейших родителей в подвале Ипатьевского дома, перекрытия дрогнули и осыпались, погребая Нас под развалинами. Так тогдашний секретарь Свердловского обкома Ельцин, чуя будущую гибель, пытался искоренить навсегда род Романовых. Поврежденные физически, но не душевно, Мы к утру выбрались на волю...»

История вскормленного волчицей «цесаревича» — это конечно же шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. В принципе эта история не слишком отличается от тех, которые испокон веку рассказывали о себе самозванцы в разные времена и в разных странах. Верили им раньше, верят и теперь, ибо человечество не так уж сильно изменилось за последние две с половиной тысячи лет, с тех пор как появились древнейшие из известных нам самозванцев — лже-Бардия в Персии и лже-Навуходоносор в Вавилоне.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Маг на троне Ахеменидов	5
Раб Андриск — последний царь Македонии	19
Император-актер и актеры в роли императора	31
Жанна д'Арк восстает из пепла	41
Воскресший принц Ричард	55
Возвращение исчезнувшего короля	75
Григорий Отрепьев — тень царевича	89
Тень тени	131
«Дети» царя Дмитрия	153
Тимофей Акундинов — «царевич»-астролог	165
Саббатай Цви — царь израильский	195
Третий Петр	209
Господарь Черной Горы	233
Персидская невеста, она же «внучка» Петра Великого	259
Дофин-солдат и дофин-часовщик	291
Лама с маузером, или Возрожденный Амурсана-хан	315
Шестирукий бог и его «сыновья»	335
Призраки Романовых I: великий князь Михаил Александрович и цесаревич Алексей	349
Призраки Романовых II: Анастасия	365

Научно-популярное издание

Леонид Абрамович Юзефович

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ САМОЗВАНЦЫ

Редактор *Л. Б. Ястребов*

Художественный редактор *В. В. Покатов*

Технический редактор *Н. В. Сидорова*

Корректор *И. О. Селуянова*

Сдано в набор 21.02.98. Подписано в печать 21.04.98.

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,0.

Тираж 3000 экз. Заказ № 3795.

«Олимп».

Изд. лиц. ЛР № 070190 от 25.10.96.

123007, Москва, а/я 92

Издательство «Современник».

ЛР № 010006. 28.10.96.

123007, Москва, Хорошевское ш., 62.

Факс: 941-35-44.

Тел.: 941-36-69 (приобретение тиража),

941-29-31 (киоск)

Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



Издательство «СОВРЕМЕННОК»

серия книг

ПОД ГРИФОМ
«СЕКРЕТНО»



АРИНИН В.

**Нераскрытые тайны
Пушкина**

ВЕЛИДОВ А.

Похождения террориста

Одиссея Якова Блюмкина

КУЗНЕЦОВ В.

Тайна гибели

Есенина

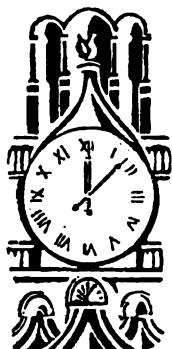
СОПРЯКОВ В.

Восток — дело тонкое

Исповедь разведчика



Эти книги можно получить по почте:
111116, г. Москва, а/я 30, издательство «Современник»,
код №14 . Оплата при получении книг.
Заявки присылать обязательно на открытках.



Серия
«ЖЕСТОКИЙ ВЕК»

Георгий АГАБЕКОВ
СЕКРЕТНЫЙ ТЕРРОР:

Записки разведчика

Нина АЛЕКСЕЕВА
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Александр БАРМИН
СОКОЛЫ ТРОЦКОГО

Григорий БЕСЕДОВСКИЙ
НА ПУТИ К ТЕРМИДОРУ

Дмитрий БЫСТРОЛЕТОВ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ:

Книга о жестоком, трудном и великолепном времени

Зоя ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ПОД ПСЕВДОНИМОМ ИРИНА:

Записки разведчицы

Сергей КРАСИКОВ
ВОЗЛЕ ВОЖДЕЙ

Вальтер КРИВИЦКИЙ
Я БЫЛ АГЕНТОМ СТАЛИНА

Владимир ОРЛОВ
ДВОЙНОЙ АГЕНТ:

Записки русского контрразведчика

Владимир ПЯТНИЦКИЙ
ЗАГОВОР ПРОТИВ СТАЛИНА

Эти книги можно получить по почте:

111116, г. Москва, а/я 30,

издательство «Современник», код №14.

Оплата при получении книг. Заявки присылать обязательно на открытках.



ISBN 5-270-01279-0



9 785270 012793